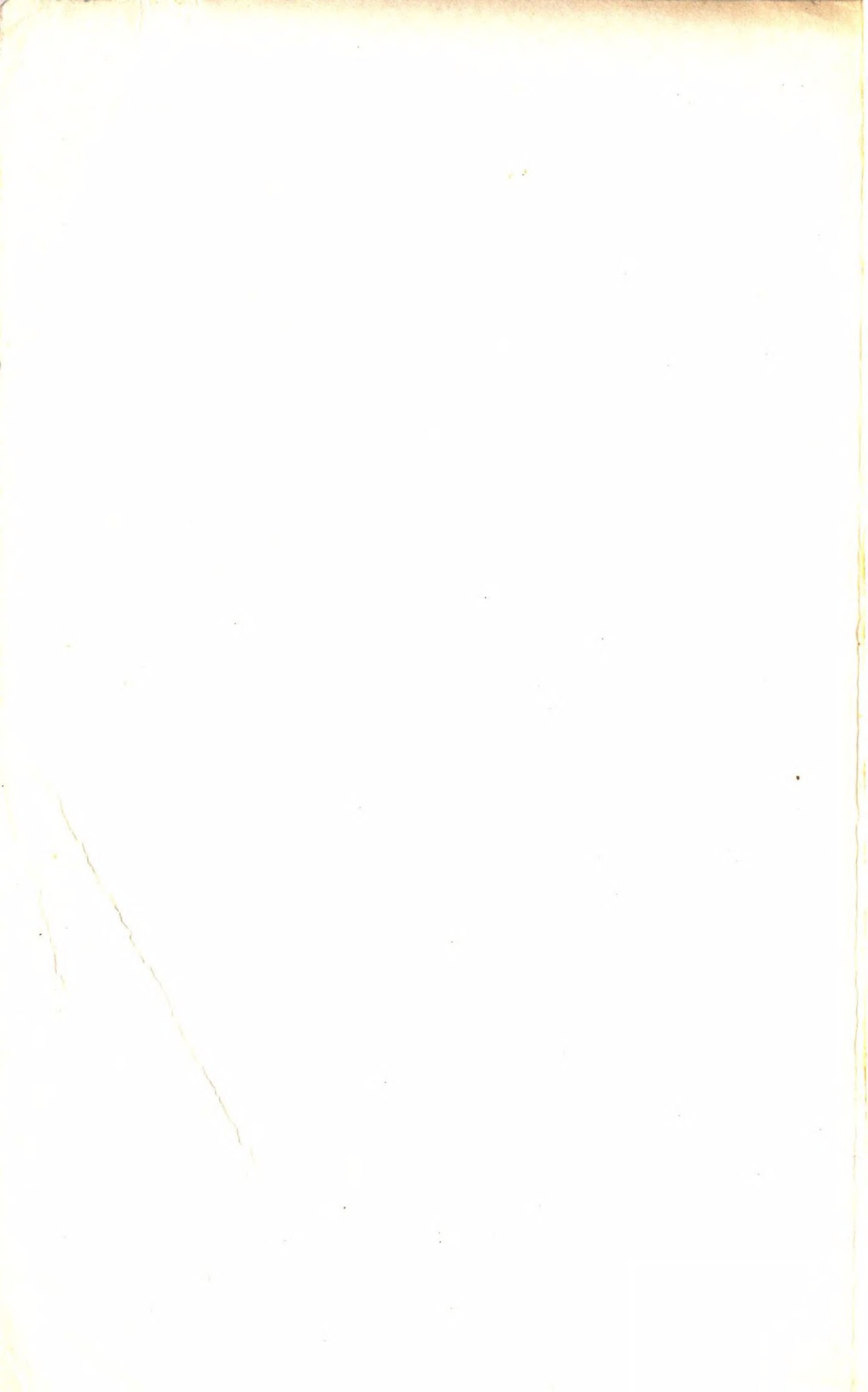




ВЕЧЕРА НА КАРПОВКЕ



М. С. ЖУКОВА

ВЕЧЕРА НА КАРПОВКЕ



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Р1
Ж86

Составление и послесловие
Р. В. Иезуитовой

Рецензент
кандидат педагогических наук
Я. Л. Левкович

Художник
М. З. Шлосберг

Ж $\frac{4702010100-261}{М-105(03)86}$ 91–86

ВЕЧЕРА НА КАРПОВКЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

> Дедушка, сядь к нам, голубчик!
> Сядь, расскажи нам, как помнишь, когда
> сестра Маргарита
> Чуть не заснула.
>
> *Жуковский*

Северная природа в прошлом 1836 году, столько страшном в предсказаниях, как бы соображаясь с угрозами предвещателей, была скупа на ясные дни. Непрестанные бури, дожди, солнышко ленивое, редко выглядывавшее из-за туманных покровов своих, темные ночи и безвкусные поздние плоды — вот все, однако ж, чем окончились опасения, с которыми многие ожидали его. Впрочем, несмотря на дурное лето, окрестности Петербурга не были пусты; острова, дачи, деревни — все было наполнено переселенцами из столицы, все кипело жизнию и многолюдством, и стук экипажей не умолкал на Каменноостровском проспекте. Не раз милые обитательницы красивых, полувоздушных дач, просыпаясь утром с различными планами и надеждами в голове и увидя сквозь кисейные завесы окон свинцовое небо и березы, склоняющиеся под усилиями дождя, закутывались снова в одеяла и подушки, браня и климат, и Петербург, и целый свет.— Хорошая надежда для горничных и мужей подобное пробуждение! Должно признаться, что погода имеет большое влияние на домашнее, особенно на супружеское счастие.

Но иногда, после ненастного, несносного утра, солнышко, как своенравная красавица, являлось под вечер во всем блеске лучей своих, и тогда всеобщее движение оживляло острова. Коляски, кареты, кабриолеты летели по мостовым, толпы гуляющих пестрели по садам, балконы обращались в гостиные, целые семейства спешили с самоварами, кучею детей и нянюшек на Крестовский или в гос-

теприимный сад графини Л....., располагались на скате холма или под густыми липами на самом берегу с холодным ужином, мороженым, чаем. Там встречались и добрая семья немецкого ремесленника, и веселое общество молодых чиновников; и русский купец с женою и детьми всех возрастов, и двое молодых художников, толкующих о предстоящей выставке, и щегольская мантилья светской красавицы, и красивое канзу горничной девушки. Я любила эту разнообразную картину и часто пользовалась ею, проводя почти все вечера у одной из наилучших знакомых моих, занимавшей дачу на берегу Карповки. Наталья Дмитриевна Шемилова, женщина лет под шестьдесят, небольшого роста, с ясными голубыми глазами, бледная и белая, как старушки на картинах Грёза, всегда в белом тюлевом чепчике, из-под которого виднеются сребристые волосы, в батистовом воротничке, блиставшем белизною и опрятностью,— кокетством старости,— всегда веселая и приветливая, казалась мне одною из тех немногих женщин, которые, сойдя со сцены большого света, где блистали в молодости, уносят с собою в уединение приятность обращения светских дам, кучу воспоминаний и ум, предохраненный добродушием от той едкости суждений, которая часто у этих ветеранов гостиных бывает следствием скуки, сожалений об утраченной молодости или обманутого самолюбия. Переселясь на дачу по совету доктора, она мало пользовалась так называемым деревенским воздухом, как по причине дурного времени, так и по слабости своего здоровья, и жила в небольшом кругу друзей, собиравшихся к ней всякий вечер. Когда тишина полудня и теплота воздуха вызывали из комнат ленивейших из любителей диванов, она выходила, опираясь на руку Любиньки, семнадцатилетней племянницы своей, в небольшой садик, окруженный перед окнами цветущими кустарниками и кудрявыми липами, садилась на скамью и любовалась светлою речкою, которой волны сверкали сквозь сетку листьев, пестрыми толпами гуляющих и шумными играми детей, резвящихся подле решетки садика. Когда же холодный ветер или сырость удерживали больную в покоях, Любинька разводила сама огонь в камине; доктор, ворча против любителей нововведений, несродных нашему климату, как говорил он, отодвигал подальше от камина большие обитые темно-зеленым сафьяном кресла, в которые усаживал свою больную. Подле нее за пяльцами садилась Любинька, девушка с полными розовыми щечками, на которых непрестанно играли две красивые ямочки; с растянутыми, не-

сколько калмыцкими глазками, придававшими особенное выражение добродушия ее личику; словом, с одною из тех детских физиономий, которых смешанные и неопределенные черты заставляют вас улыбаться своею неправильностию и привлекают выражением младенческого добродушия. Она была последним залогом дружбы, вверенным Наталье Дмитриевне умершею рано сестрою, страстно любимою.

Обыкновенное общество Шемиловой составляли: доктор, старичок веселый, почти квадратный, вспыльчивый до бешенства с больными, выходившими из повиновения, и добрый до слабости с здоровыми и друзьями. Веселый, открытый взор его показывал в нем человека, которого страсти и обязанности редко бывали во вражде и который в часы отдыха любил побеседовать, потолковать с друзьями. Давно уже он был врачом и поверенным душевных и телесных болезней Натальи Дмитриевны, которая любила его как ближнего родного. Привязанность старых людей не бывает столь горяча, как в молодости, когда воображение составляет главное основание почти всех связей; и потому молодые люди почитают обыкновенно чувствования свои гораздо сильнейшими, чем они суть на самом деле, и удивляются, когда небольшая размолвка, недоразумение, разлука изглаживают самые следы их; между тем как старость, которой чувствования основаны большею частию на привычке, любит, не постигая сама всей силы своей привязанности. Она, так сказать, срастается с жизнию ее, как повилика, которая сплетается корнями с другим растением и так обвивает их своими гибкими плетями, что, желая разделить их, должно оба вырвать с корнем. И не раз видали, что пожилые люди, соединенные дружбою, которой силы сами не подозревали, не переживали друг друга: с одним умирала половина жизни другого. Такого рода была привязанность Натальи Дмитриевны к доктору. Видеть его каждый вечер против себя, по другую сторону стола, в больших креслах, сложа одну ногу на другую и подпирая палкою с серебряным набалдашником подбородок, было для нее необходимостию. В восемь часов она уже начинала прислушиваться к стуку колес на улице. Слух ее, еще довольно хороший, привык отличать от других карету доктора, которая постоянно в течение пятнадцати лет останавливалась около этого времени у ее подъезда. Самовар уже кипит на столе: доктора всегда ожидают к чаю.— Любинька, посмотри, который час?— говорит Наталья Дмитриевна и через пять минут становится уже беспокойною.—

Верно, есть какой-нибудь очень трудный больной, как ты думаешь, Любинька? Или уж не болен ли сам Иван Карлович? — Она не вслушивается более в разговоры других, взоры ее обращены к дверям. — Не послать ли спросить, Любинька? — Любинька улыбается и не трогается с места. Наконец кто-то подъехал. В передней слышится знакомый голос. Иван Карлович входит, и Наталья Дмитриевна, оживая, складывает вязанье в корзинку и взором спрашивает у доктора отчета в его замедлении. Она не уснет покойно, если, отходя в свою спальню, не услышит привычного: «Спите же с богом!»

Другой не менее любимый ею посетитель был Проновский, мужчина лет сорока пяти с приятною наружностию и достатком, позволявшим ему вести независимую жизнь в столице; холостой, не знаю, вследствие ли особенных правил или по какому-нибудь случаю, он никогда не говорил о том. Это был один из тех людей, которые редко мыслят вслух, еще реже говорят о себе самих, уклоняются шуткою от решения важного вопроса или довольствуются изложением чужих мнений со всем, что можно сказать pro et contra*, сохраняя полную доверенность свою для немногих друзей. Впрочем, он жил как практический философ, которому везде и все хорошо.

Часто также бывал за вечерним чаем Натальи Дмитриевны сосед ее по деревням Горский, приехавший в столицу по делам. Он много путешествовал по России и в чужих краях, любил родину с жаром юности, неохотно верил дурному и в случае очевидности прикрывал его, как мать погрешности сына, надеждою исправления. Он имел друзей, потому что верил возможности иметь их, и не был взыскателен. Третий из обыкновенных собеседников наших был племянник Проновского, артиллерийский офицер с едва прорезавшимися усиками, черными глазками и смиренною улыбкою. Старушка наша называла его своим Дон-Жуаником, не знаю почему. Горский говаривал, что привычка оценивать людей дает пожилым людям взгляд, который безошибочно почти определяет характеры по немногим данным так, что это кажется в них каким-то инстинктом, который редко обманывает их. Вельский, так звали офицера, всегда садился возле пялец Любиньки и даже, кажется, учился шить; впрочем, я мало занималась ими. Не стану упоминать о прочих гостях вечернего нашего кружка; он был невелик, но искренность и привязанность к хозяйке господствовали в нем.

* за и против *(лат.)*.

Иногда друзья Натальи Дмитриевны знакомили ее с новою литературою и читали ей попеременно повести Бальзака, Жаненя, Масона и других новейших писателей. Особенно любила она русские повести, и новые сочинения Марлинского, Белкина, Безымянного и других писателей наших возвещались с торжеством в ее гостиной. Однажды в пасмурный вечер по окончании чтения, между тем, как Любинька разливала чай и Вельской прислуживал ей, Наталья Дмитриевна, против обыкновения, не сказала ни слова, ни в похвалу, ни в порицание читанной повести, и задумчиво смотрела на перебирающийся в камине огонек, между тем как другие толковали о направлении нынешней литературы.

— Вы ничего не говорите, Наталья Дмитриевна,— сказал доктор,— вашего мнения недостает нам.

— Я думала, мой любезный Иван Карлович, что, судя по множеству новых имен, непрестанно встречающихся во французской литературе, можно бы было предположить, что французы почитают для себя обязанностию, при малейших средствах, заплатить, хотя однажды, дань любопытству публики, отдавая на суждения ее плоды трудов своих, забавы досугов или воспоминания, собранные в путешествиях и в разных случаях жизни. Почему нет этого у нас?

— Можно бы многое сказать на это,— отвечал доктор, смотря в камин и играя толстою палкою с серебряным набалдашником.— Многие ссылаются на холодность публики к русским сочинениям.

— Однако все хорошие приняты с удовольствием.

— Но кто может быть уверен, что опыты его понравятся?

— Послушайте. Если всякий захочет, чтоб первое сочинение его было образцовым, то писателей будет немного. Ломоносов начал, подражая Тредьяковскому, Богданович — мадригалами и поэмою «Сугубое блаженство», теперь забытою; творец «Российской истории» — «Бедною Лизою». Нельзя надеяться первым опытом поставить имя свое наряду с именами знаменитых талантов. Пусть пишут; труд пролагает дорогу к цели. Нет, у нас мало любят занимается словесностью. Иным недостает средств, другим доброй воли. Откуда читали вы повесть, г-н Горский?

— Из «Les cent et un»*.

---

* «Ста и одного» *(фр.)*.

— Ну, посмотрите, сколько и здесь новых писателей! Не все же начали образцовым, но, как знать, чем будут многие из них? Небольшой успех возбуждает талант; бездейственность убивает его. Кто из нас не уверен в этом? Нет, грустно думать, что у нас как бы пренебрегают словесностию; пишут так немногие и так неохотно, между тем как русский язык богат и русский быт не лишен поэзии. Я уверена, что каждый из нас, если только захочет порыться в памяти, то найдет в ней многое слышанное, виденное; происшествия, в которых был сам действующим лицом или зрителем — словом, что-нибудь, могущее приятно занять праздную лень полубольного или досуг деревенского жителя. Не правда ли, мой любезный доктор? Вы, которые имеете более других дел с поэзиею человеческих страстей, скажите, не справедливо ли мнение мое?

— Может быть, сударыня, может быть; но я и поэзия, мы давно подписали формальный развод. Я живу в мире действительном, следовательно, в мире страданий.

— Но страдания физические,— заметил Проновский,— бывают часто только признаком других, которых корень сокрыт глубоко в душе. Чтобы с пользою врачевать первые, должно нередко узнавать последние.

— Правда; но это отвлекает нас от нашего предмета. Я хотел сделать вам предложение, Наталья Дмитриевна. Обложите данью друзей ваших: пусть каждый, хотя раз в неделю, принесет вам повесть, которой основание должен взять из своих воспоминаний; но с условием, что они должны ограничиваться отечеством.

— Прекрасно, Иван Карлович,— сказал Проновский,— вот средство доказать, что многие имеют недостаток не в одной готовности. Я с удовольствием соглашаюсь, только с тем, чтоб Наталья Дмитриевна подала нам пример.

— И не далее как теперь,— прибавил Горский.

— Друзья мои,— сказала Наталья Дмитриевна,— вы столько снисходительны, что я готова сделать все, чтоб доказать вам мою признательность за ваше намерение.

— Вы, может быть, поплатитесь небольшою скукою за наше снисхождение,— сказал с улыбкою Проновский,— всякий из нас принесет только посильную дань...

— К которой вы, однако же, будете иметь время приготовиться,— прервала Наталья Дмитриевна, грозя пальцем,— меня же вы ловите врасплох.

— Это непременное условие нашей покорности,— сказал Горский.— Вот моя чашка, m-lle Aimée*, я, кажется,

* мадемуазель Эме *(фр.)*.

последний. Поскорее уберем самовар, столик; вы — за пяльцы, а мы поближе к Наталье Дмитриевне.

Стулья застучали, все придвинулись к столику Натальи Дмитриевны. Любинька села за пяльцы, поглядев значительно на артиллериста, который не замедлил завладеть пустым стулом, находившимся против пялец ее, прося позволения посмотреть, каким чародейством рождаются цветы под рукой ее.

— Быть по-вашему,— сказала добрая старушка наша, положа на стол свое вязанье.— Послушаюсь вас, чтоб не оставить вам отговорки. Но наперед предупреждаю вас, что сценою моею будут не залы большого света. Молодость моя прошла большею частию в деревне, а вы знаете, что старые люди любят останавливаться на этой эпохе.

Предупреждаю читателя, что, пользуясь особенною благосклонностию Натальи Дмитриевны, я получила позволение собрать и издать в свет повести, которые слышала в гостиной ее. Я не переменила в них ни одного слова и выдаю так, как они были написаны для больной старушки. Продолжение будет зависеть от внимания, которым удостоит публика первый труд мой.

ИНОК

> Le jaloux est un enfant, qui s'effraïe des monstres, crées dans les tenebers, par son imagination.
>
> *Boiste**

> Убийца с той поры томится
> И ночь и день;
> Повсюду вслед за ним влачится
> Алины тень.
> И говорит ему с упреком:
> «Невинна я...»
>
> *Жуковский*

Я сказала уже вам, что провела почти всю молодость в одной из отдаленных от столицы губерний. Деревня, в которой жили мы, отстояла верстах в двадцати от уездного города; но местоположение его было так высоко, что мне нередко случалось из окон дома нашего любоваться свет-

---

* Ревнивец — дитя, что пугается чудищ, порожденных во тьме его собственным воображением. *Буат (фр.).*

лыми маковками колоколен, когда, освещенные лучами заходящего солнца, они рисовались белыми призраками на синих тучах, облегавших горизонт. Это был небольшой, хорошенький городок, на высокой горе, омываемой речкою, которая многочисленными изгибами отделяла от него прекрасное село одного из богатейших наших помещиков. Красивая церковь, в которую я часто заходила, чтоб любоваться образом распятия итальянской работы, подаренным церкви отцом нынешнего владетеля, одним из вельмож двора Екатерины Второй, находилась подле самого моста, перекинутого через весь луг с его змеистою, светлою речкою и соединявшего город с селом, которое служило ему как бы предместием. В летние жаркие дни жители находили приятное гулянье в саду, разведенном помещиком, некогда жившим тут и повсюду оставившим следы барской жизни роскошного хозяина. Белые зубчатые стены монастырей с их башнями и каменными кельями, множество также каменных обывательских домов с их темными садами, куполы церквей и светлые шпицы колоколен придавали городу, особенно издали, действительно прекрасный вид; многочисленные же заводы, рассеянные по берегу реки, казались пестрою каймою, окружавшею подошву горы, которая служила ему как бы пьедесталом. Главное население города составляло купечество, деятельное, оборотливое, трудолюбивое, между которым были люди, истинно понимавшие важность и достоинство своего сословия и, несмотря на просвещение, которого цену начинали уже узнавать, не пренебрегавшие патриархальными нравами отцов своих. Я, право, не слыхала там гибельных, по мнению моему, примеров, которые так часто подают молодые люди, которые, несмотря на пример отцов, впадают в роскошь и перенимают нравы и пороки высшего сословия, не будучи в состоянии ни по положению своему, ни по воспитанию вступить в круг благотворной деятельности, свойственной ему, ни присвоить добродетели, составляющие его принадлежность; ибо всякое звание, вы согласитесь со мною в том, имеет добродетели и пороки, ему единственно свойственные; к несчастию, последние всегда перенимаются легче. Что ж выходит из того? Несчастные бьются из всех сил, чтоб попасть в общество, где бывают последними, тогда как могли бы быть первыми в своем кругу; предоставляют приказчикам свои торговые обороты, столь полезные отечеству, бросают фабрики, мануфактуры или не радеют о них; женятся на дворянках, которые посматривают косо на своих бородатых дядюшек,

платят наличными деньгами за честь иметь знатное родство и наконец разоряются! И все это — из пустого титла без существенных выгод или легко заменяемых. Там этого не было слышно; банкротства были редки; купечество любило свое состояние, но главною чертою, отличавшею его, была набожность, которой церкви были обязаны своим богатством, а город многими благотворными заведениями. Убогая, одинокая старость находила пристанище в доме призрения, выстроенном одним из благородных членов этого сословия; виновная, несчастная мать в осеннюю бурную ночь не блуждала с отчаяньем по берегу реки с дитятею на руках; с слезою благодарности и благословением в устах приносила она обреченное несчастию с самого рождения дитя в воспитательный дом, основанный тем же почтенным гражданином. Если я прибавлю несколько слов о школе живописи, которой произведения принимаются с похвалою на нашей столичной выставке художеств, вы узнаете мой маленький городок и, может быть, засвидетельствуете, что все сказанное мною не есть выдумка, но истина, которую подтвердят многие.

Изобильные базары, торговля, особенно монастыри, привлекали часто окрестных жителей в город; особенно уважаема была небольшая пустынь в трех верстах от города, на вершине горы, со всех сторон покрытой липовым и дубовым лесом и возвышавшейся посреди низменных лугов, понимаемых весною разливом реки и доставлявших городу богатые сенокосы. Я была еще молода тогда; археологические сведения мало занимали меня, и потому не могу вам сказать, когда и кем построена была эта пустынь. Я любила теряться в темной роще, окружавшей стены ее, любоваться тенистыми липами, рвать ландыши, которым подобных, право, нигде не видала.— Вы смеетесь? Ах, вы правы, друзья мои! Я смотрела тогда на все глазами юности.

С каким удовольствием сиживала я, бывало, на каменном, поросшем мохом и по местам травою крыльце, с левой стороны большого собора, проникая взором в эту мирную, безмятежную, по-видимому, жизнь инока, не знаю, чуждую ли страстей мирских и воспоминаний, по крайней мере огражденную от шума света и притязаний его. Ряд келий с маленькими палисадниками, цветочными горшками и жирным белым котом в окнах; влево от святых ворот кельи настоятеля с большим цветником чистый двор, покрытый свежим лугом, по которому вьются тропинки, проложенные братиею, могильные памятники около церкви и

темные вершины лип, возвышающиеся из-за кровель келий и зубчатой стены,— все это вливало в душу какое-то спокойствие, смешанное с грустию, и как бы отделяло ее от мира, оставленного у подошвы горы. Много приятных часов провела я в этой пустыни, в беседе настоятеля, умного, образованного человека, знавшего свет и сердце человеческое. О, я никогда не забуду его... но, друзья мои, эти подробности, приятные мне, могут наскучить вам. К несчастию, мы всегда забываем, что чародей-воспоминание представляет прошедшее наше прелестным для нас одних, и оттого-то друзья наши бывают так часто жертвами нашей словоохотливости. Впрочем, вините сами себя: зачем было давать волю говорить старушке: вы знаете, как они болтливы, особенно когда дело идет о милой старине! Но я постараюсь исправиться.

Однажды я приехала в пустынь перед самою вечернею. Зная, что увижу настоятеля в церкви, я пошла прямо туда, но в ней еще никого не было. Не знаю, какое непостижимое чувство наполняет всякий раз душу мою, когда мне случается быть в пустом храме. Находясь одна посреди обширного здания, в котором не раздается ни один звук, никакой шум жизни, оставленной за порогом, я совершенно теряюсь в чувстве благоговения, объемлющего душу мою. Этот таинственно затворенный алтарь, безмолвие и тишина церкви, эта величественная мрачность сводов — все говорит мне о присутствии бога, все напоминает, что я в храме его, где совершается чудное таинство завета и где молитва соединяет смертного с непостижимым творцом его. Но никогда так сильно не чувствовала я подобного впечатления, как в этот раз. Умирающий свет дня проникал в окна храма, и лучи заходящего солнца, вливаясь огненным потоком во внутренность его, исчезали постепенно в глубине. Я остановилась у левого придела, выстроенного печальной матерью в память дочери, составлявшей утешение ее старости и похищенной неумолимой смертию в полном цвете лет, и здесь, в сем месте, посвященном смерти, где все говорило о жизни за гробом, мысль моя безбоязненно проникала в таинства могилы, приподнимая страшные покровы смерти. Покровы страшные, друзья мои, в старости еще более страшные для нас. Молодость доверчива и полна надежд; мрак грядущего не устрашает ее; к тому же она не сделала еще такой привычки к своей темнице, как мы. Иное дело старость: жизнь мила нам тем более, что она уже ускользает и ускользает видимо. Ах! последнее *прости* миру и друзьям тяжело...

— Что же, Наталья Дмитриевна,— сказал доктор,— вы стояли у левого придела.

— Да! легкий шорох в дверях привлек мое внимание; я оборотила голову: это был монах, которого я никогда еще не видала в обители. Он шел медленно, по направлению солнечного луча, проникавшего в дверь; высокий клобук, покрытый черным крепом, и длинная, до самого полу, монашеская ряса с широкими рукавами придавали ему рост сверхъестественный. Мертвая бледность до половины закрытого лба и выдавшихся скул еще более увеличивалась темно-каштановыми волосами, которые густыми волнами рассыпались по плечам его; глаза его были опущены в землю, и длинные ресницы совершенно закрывали их. Несмотря на чрезвычайную худобу, черты его были прекрасны; но впалые щеки, глубокие морщины, кажется, преждевременно покрывшие чело его, молодое, но заклейменное страданием, мертвая неподвижность верхней части лица, тогда как судорожное движение искривляло по временам рот, почти закрытый длинными усами,— все это придавало физиономии инока что-то страшное. Вид его сделал страшное впечатление на душу мою: казалось, это был жилец темницы, безропотно и безнадежно ожидающий конца страданиям, чтоб перейти к другим, может быть, большим. Как будто роковая тайна тяготела над ним: это было воплощенное страдание. Он тихо поворотил к правой стороне и остановился за клиросом. Между тем церковь наполнилась; священное пение началось, и душа моя, вместе с голосами согласного хора, вознеслась с чувством живейшего умиления к престолу благодати. Я забыла инока: но когда последние звуки божественной песни исчезли под сводами храма и тихий голос чтеца один раздался в священной тишине его, мне послышалось легкое стенание. Я оборотила голову: чудный инок стоял на коленях; голова его была закинута назад, и страшные судороги искривляли все черты его, представлявшие, вместо прежней неподвижности, целый ад человеческих страданий. Он то плакал, то молился, то бил себя руками в грудь, то дико смотрел в землю, и тогда только судорожное движение губ обличало в нем жизнь; то вдруг повергался на пол, и глухие стенания исторгались из груди его. Я не слыхала окончания службы; вся душа моя была обращена на картину страдания, бывшую перед глазами моими. Я не смела дышать и еще стояла, устремя взор на несчастного, когда голос настоятеля возбудил мое внимание. Он предлагал мне воспользоваться прекрасным вечером и по-

смотреть его фруктовый сад. Мы пошли, но на сей раз напрасно было красноречие его; я не внимала ему. Таинственный инок занимал всю душу мою. Настоятель улыбнулся.— Что с вами сделалось?— сказал он;— ни прививки мои, ни отводки, ни молодые вишенки — ничто вас не занимает! ни даже эти чудные ирисы; посмотрите, как хороши!— Я наклонилась, чтоб понюхать цветы.— Да они без запаха,— сказал он, смеючись,— и вы это знаете, потому что вы же подарили мне их! Я вижу, что занимает вас, и, к несчастию, не могу удовлетворить вполне вашего любопытства; но пойдемте в кельи, я расскажу вам, что знаю.

Я последовала за ним, и между тем, как он вышел, чтоб отдать какие-то приказания, я подошла к окну. Солнце уже село, и сияние зари одно освещало белые стены храмов и надгробные памятники, их окружавшие. По тропинке, ведущей к монашеским кельям, медленно двигалась черная тень: я узнала моего таинственного инока.

Когда служка, подававший нам чай, молодой мальчик с белокурыми кудрями по плечам и подпоясанный ремнем, вышел с низким поклоном, я напомнила настоятелю о странном иноке.

— Я ничего не могу сказать вам о нем положительного,— начал он, помолчав несколько.— Я застал его уже здесь по вступлении моем в обитель. Он сын очень богатого купца (он сказал мне имя его), был женат, и говорят, по склонности, на бедной, но прекрасной девушке. Лет десять тому назад, как она умерла скоропостижно, никто не знает отчего; вы знаете, что предрассудки заставляют этих людей почитать вскрытие тела каким-то бесчестием. Впрочем, подозревать было некому: она была сирота, да и семейство мужа ее было известно как примерно согласное, благочестивое, и многие ставили в пример любовь двух молодых супругов. Он, говорят, не плакал на похоронах, но мрачно шел за гробом, сложа руки на груди; когда же должен был подойти к покойной, чтоб отдать последнее целование, то упал возле гроба с страшными конвульсиями, и с тех пор ему навсегда осталось это судорожное движение рта, которое вы, может быть, заметили. Напрасно мать, отец, родные старались развлечь его: ничто не могло вывести его из мрачной бесчувственности. По целым дням сидел он молча, часто уходил на могилу жены, которая похоронена здесь, вот видите, по правую сторону алтаря, эту чугунную доску, обсаженную кустарниками,— продолжал настоятель, показывая мне на один из много-

численных памятников, рассеянных около церкви.— Он приходил сюда каждый день пешком, плакал и молился на могиле, не говорил ни с кем ни слова, и часто братия, идучи к заутрене, находили его без чувств на камне. Наконец он совсем поселился здесь; был несколько лет тружеником и за примерное житие удостоен монашеского образа. Никто не видывал его за монастырскою оградою; никто не слыхал, чтоб он говорил с кем бы то ни было из посторонних. Он носит тяжелые вериги; за трапезою ничего не употребляет, кроме хлеба и во̀ды; всякую службу молится до исступления, как вы видели его сегодня, так что ему не позволяют ходить за позднюю обедню, особенно в праздники, чтоб не обратить на него общего внимания. Все ночи проводит он на могиле жены, и только мои приказания препятствуют ему исполнять этот, кажется, добровольно данный обет в продолжение зимних морозных ночей или осенних непогод. Что причиною подобного самоотвержения, благочестие ли, скорбь ли об утраченной или обет, исторгнутый угрызениями совести, я не могу вам этого сказать: это тайна между им и небом. Я удивляюсь его бедственной, страдальческой жизни, обреченной скорби и благоговею перед твердостию его, кажется, не свойственною человеческой природе, не подкрепляемой свыше, как то свидетельствуют благочестивые отшельники Фиваиды и российских обителей, которым нужна была помощь высшая, чтоб переносить подобные страдания.

Говоря таким образом, мы вышли из кельи; подойдя к калитке святых ворот, настоятель остановил меня.— Посмотрите,— сказал он,— вечернее правило кончилось; братия разошлась по кельям, и вот он идет на всенощное бдение свое.— Я оглянулась: медленно и потупя голову, печальный инок подходил к ограде памятника; месяц одевал таинственным светом монастырские стены; при неверном сиянии его стан инока казался еще выше; черная тень длинною полосою предшествовала ему по темной зелени луга. Приняв благословение настоятеля, я простилась с ним и с душою, исполненною воспоминанием о таинственном страдальце, оставила обитель; но образ его никогда не мог изгладиться из памяти моей.

— Узнали ли вы что-нибудь после о нем?— спросил Проновский.

— И очень странным образом,— отвечала Наталья Дмитриевна.— Если вы еще не соскучились, я расскажу вам завтра.

— Теперь же, теперь,— повторили слушатели, и старушка начала:

— Несколько лет спустя после этого происшествия я поехала с мужем на Макарьевскую ярмарку. Мы отправились, по обыкновению деревенских помещиков, на своих, в огромной четвероместной карете с дорожными сундуками, со множеством коробочков, картонов и проч., ну так, что нам двоим, с моею горничною напротив, только что было можно сидеть. Буря и сильная гроза заставили нас остановиться не доезжая селения, где было обыкновенное место нашего ночлега. Во время ярмарки все дороги, ведущие к Макарьеву, чрезвычайно оживлены. Непрестанно видишь обозы, которые тянутся длинною веревкою, почтовые телеги, кибитки на лихих тройках с колокольчиком, обгоняющие тяжелые кареты и коляски помещиков, шажком едущих на шестериках откормленных заводских лошадей или быстро несущихся на почтовых и заставляющих сворачивать в сторону тяжелые возы крестьян или ямщика, покойно возвращающегося порожняком со станции, со шляпою набекрень и насвистывая заунывную песню. По тротуарам между березок мелькают толпы пешеходов, работников, бурлаков, возвращающихся по домам босиком, в синих рубашках, с сапогами и кафтаном за плечами, и с ложкою за лентою развалистой шляпы. Ночью вы видите там и сям по дороге разложенные между телегами огни, с котелками, привешенными над ними к трем утвержденным в землю и связанным сверху веревкою палкам. Около огней несколько чумаков в дегтярных рубахах, со смуглыми, освещенными красноватым блеском лицами, или беспечно лежат на траве в ожидании ужина, или починивают сбрую и упряжь. Я любила эти картины. Это пламя, по временам бросающее яркий свет на телеги и чумаков, которые в своих черных рубашках кажутся какими-то тенями, вдруг появляющимися из тьмы; эти усталые волы, которые, освободясь от тяжелого ярма, смиренно щиплют траву или лежат между телегами, при малейшем обороте головы принимая на крутые, лоснящиеся рога свои отблеск раздуваемых ветром огней,— все это мне казалось картиною, достойною кисти Рембрандта, Сальватора Розы, и выводило воображение из круга обыкновенной жизни. Смейтесь, а я видела в чумаках и гномов, и подземных жителей баснословного тартара; но все это забывалось, когда мы приезжали на ночлег. Я выходила из себя, видя, как люди наши бегали по деревне от окна к окну, ища квартиры: все постоялые дворы бывают наполне-

ны обозниками, что случилось и в эту ночь, когда гроза принудила нас искать убежища. Наконец нам нашли небольшую новенькую избу. На дворе было совершенно темно; одни змеистые молнии по временам рассекали небо; гром не переставал ни на минуту; дождь лился ливнем; мы рады были, что мы и люди могли наконец укрыться от дождя и бури. Я вошла в избу: на столе горела свеча в витом железном подсвечнике; несколько человек ямщиков, только что поужинавших, занимали почти всю избу; одни молились в переднем углу, после каждого поклона встряхивая кудрями, другие кланялись с ласковым «спасибо!» хозяйке, которая собирала со стола остатки ужина; иные укладывались на полатях; некоторые выходили вон с фонарями, чтоб позаботиться о лошадях. Я подошла к столу и, сев на переднюю скамью подле окна, смотрела, как частые молнии одевали синеватым светом улицу, экипаж наш, стоявший против ворот, и бурно стремящиеся по скату горы дождевые потоки. Муж мой сел на другую скамью и, набивая трубку, смеялся, смотря на меня. Я поняла его и робко посмотрела на стены: боже мой! — Друзья мои, вы знаете, что ученый Скалигер не мог видеть ключевого крессона; Тихо-Браге — лисицы; Мария Медицис — розы; Великий Преобразователь наш — тараканов; итак, мне не стыдно признаться вам, что я боялась их, кажется, больше всего на свете.

Итак, вот отчего смеялся муж мой! Ему было известно, что я не могла без ужаса видеть таракана, а стены были ими покрыты. Несмотря ни на какие убеждения, насмешки, просьбы со стороны его, я решительно сказала, что не останусь ночевать в избе, и так как не хотела делать лишних хлопот и заставить искать другую квартиру, то объявила, что проведу ночь в карете; должно было уступить. Едва успев выпить чашку чаю, я оставила избу и отправилась в карету, думая, что враги мои и туда преследуют меня. Карету не могли ввезти под низкие крестьянские ворота и оставили на улице. Между тем гроза утихла, молния изредка сверкала вдалеке, ветер разносил по небу остатки черных туч, между которыми проглядывала последняя четверть луны; воздух был свеж и прохладен; вся деревня покоилась. Я долго смотрела в окно кареты на звезды, блиставшие в темной синеве, на крытый двор, где еще по временам проходил заботливый обозник с фонарем, бросавшим яркий отблеск на сосновые стропила, поддерживающие соломенный навес, под которым стояли лошади. Беспокойство дороги, а может быть, и вид врагов

моих прогнали совершенно мой сон. Я с нетерпением ждала утра, скучая бессонницею и всеобщею тишиною. Вдруг из соседственной избы раздался заунывный голос женщины; он был так печален и прерывался так часто, что я легко угадала, что певица плакала. Мне не видно было ее, но я внимательно вслушивалась в простые, но трогательные слова этой импровизации сердца, очень обыкновенной у нас в простом народе, между женщинами. Мне кажется, я и теперь еще могу припомнить их. Вот они:

Не свети, месяц, ты в поднебесьи;
Не играй в поле, непогодушка!
Как далеко там, в стороне родной,
Спит в земле сырой мое дитятко,
Ненаглядное, безответное!
Ты скажи, скажи, мое дитятко,
Ты поведай мне, ненаглядное,
На кого меня здесь оставила
На чужбинушке, меж чужих людей?
. . . .
И не встанешь ты, не пробудишься!
Не послушаешь слова ласкова
Родной матери, сиротинушки!

Голос замолчал, я слышала рыдания. Чрез несколько минут он снова запел:

Как две звездочки светят в облаках,
Как две зорюшки горят на небе,
У меня было два сокровища!
Ты проснись, проснись, дитя милое!
Ты слетай к брату, в дальню сторону,
Ты скажи ему, что, безродная,
Плачу день и ночь, плачу каждый час,
В гости жду к себе друга милого.
Не проснешься ты, дитя милое!
Не воротится мой младой сокол!
Умереть мне, знать, на чужой земле.
. . . .

Она еще пела, но я не могла вслушаться в слова песни, прерываемой рыданиями. Я не могла уснуть, прислушиваясь к вздохам и стенаниям невидимой певицы; она возбудила во мне живейшее участие. Истинная горесть всегда находит отзыв в душе нашей, может быть, потому, что она для всякого гостья бывалая. Чужая радость не находит так скоро пути к сердцу нашему; не хочу искать причины тому, ибо не люблю обвинять природу человеческую; но верьте мне, друзья мои: человек, способный забыть горе свое, видя веселье других, имеет доброе сердце, не подточенное червем зависти и чуждое эгоизма, беспечно при-

носящего других в жертву иногда минутной прихоти своей.

С первым лучом зари я отворила дверцу кареты и ждала кого-нибудь, от кого могла бы узнать, кто была моя печальная певица. Вскоре молодая девушка с коромыслом на плечах вышла из ворот избы, из которой слышался голос. Я подозвала ее к себе; просьбы мои и небольшой подарок заставили ее, поставя ведра на землю, сесть со мною на скамье, стоявшей у ворот, и рассказать подробности, пояснившие историю моего таинственного инока. Жаль, что не могу передать вам их собственными словами рассказчицы: может быть, вид осьмнадцатилетней румяной девушки с темно-голубыми глазами, длинною русою косою и в стройном сарафане приволжских жительниц, рассказывающей при едва брезжущем сиянии утра, придавал особенную прелесть повести ее; счастье было так понятно в устах ее, когда луч зари отражался на миленьком, молодом личике ее! Но мне придется говорить не об одной радости. Итак, слушайте, друзья мои; я передам рассказ ее, как могу, дополнив его некоторыми подробностями, собранными мною уже после.

Лет за восемь перед сим один небогатый мещанин из нашего уездного города снял постоялый двор, возле которого стояла карета наша. Он привез с собою жену, детей и старушку сестру, всегда печальную и часто больную, которая жила в доме его с тех пор, как, лишась детей, принуждена была продать небольшой домик, оставленный ей мужем. Она осталась после смерти его с двумя маленькими детьми, сыном и дочерью. Первый, как водится, был отдан в сидельцы к богатому купцу, заслужил доверенность его своим прилежанием, честностью и трудолюбием и скоро сделался приказчиком его. Анюта, дочь ее, вышла замуж за сына одного из богатейших купцов в городе, и старушка мать, пристроив таким образом детей, жила в своем маленьком домике небольшим капиталом, доставшимся ей после мужа, и пособиями дочери.

Семейство, в которое вошла Анюта, могло бы, кажется, почесться типом древней русской фамилии. Патриархальная власть, переходившая, по обыкновению, к старшему в роде, находилась тогда в руках свекра Анюты, хотя отец его был еще жив. Это был старичок лет под семьдесят; редкие седые волосы с сребристыми отливами, кое-где видневшиеся на обнаженном черепе, на котором знаменитый Галль без труда нашел бы резко выдавшийся орган смешливости; белая как лунь борода, широко лежавшая по груди, свежий цвет лица, сохранившего еще остатки преж-

него румянца, и ясный, покойный взор напоминали старичков, которых преимущественно и с таким рачением производила кисть Деннера. Он ходил, согнувшись и опираясь на толстую палку без набалдашника, который, по мнению его, был бы непростительною роскошью; носил род синего армяка, обшитого черным полубархатом и подпоясанного шелковым персидским кушаком, вывезенным сыном его из Бухареста в первое путешествие его туда. Дедушка, так обыкновенно называли все старичка, не занимался более ни торговлею, ни делами, хотя ничто не делалось в доме без ведома его. Предстояло ли какое-нибудь важное торговое предприятие, или дела находились в затруднительном положении — от дедушки требовали советов, и сказанное им почиталось святым; нужно ли было отправлять обозы с товарами или приказчиков на ярмарки, дети ли собирались в далекий путь — благословение дедушки было необходимо; он собственно ни во что не вмешивался, но имя его было везде; он был как бы добрым гением семейства, и домашние были твердо уверены, что предпринятое без согласия дедушки не пойдет впрок. Большую часть дня проводил он в церкви; любимым же занятием его было по возвращении от заутрени, выйдя в тулупе из черных крымских барашков на широкий, обнесенный кольцом двор, рассыпать по земле пшеницу и конопляное семя и потом, севши на крытое крыльцо, любоваться сизыми голубями, которые многочисленными стаями прилетали клевать корм, для них приготовленный; или в праздник, после обедни, с этого же крыльца раздавать куски мяса, хлеба или мелкую медную монету нищим, ожидавшим уже обычной милостыни, и дедушка давал ее с ласковым взглядом, приговаривая обыкновенно: «Молитесь за душу Варвары!» Это было имя покойной жены его. Оделив таким образом всех до последнего, он приходил в столовую, умывал руки и садился за стол на первом месте. Сын его был высокий, статный мужчина с черными быстрыми глазами, окладистою черною бородою и волосами того же цвета, прямыми и остриженными в кружальце. Он одевался в сюртук, носил большие подкованные сапоги, любил под вечер с приятелем сыграть в шашки за стаканом пуншу, потолковать о сбыте сала или кожи, а иногда утром, между-делья, похвалиться привезенными из Москвы канарейками или датским жаворонком, купленным сыном на петербургской бирже. Он был вообще уважаем в городе; слово его было верно, действия хорошо обдуманы; непритворно добр, готов на помощь; но как чело-

век, знающий цену трудовой копейке, не терпел лености и был неумолим для нерадивого приказчика. Никогда не ссорился с своею Аграфеною Павловною, которая говорила ему *вы*, потчевала его пирогами и ватрушками, приготовленными собственными руками, и твердо помнила слова апостола Павла, обыкновенный эпиграф всякого свадебного контракта, который, впрочем, иногда читается и наоборот. Но это не могло относиться к Аграфене Павловне; она принимала все буквально, в истинной простоте сердца. Толстое, румяное лицо ее и веселая улыбка были вывескою ее характера. Она стряпала кушанье, когда ей вздумается, ела досыта, спала, кормила детей и выкормила славных! Старший сын ее, Ванюша, почитался первым красавцем в городе. Не одна смиренница открывала потихоньку занавеску своего окна, чтоб посмотреть на него, когда он проходил мимо; не одна матушка говаривала под добрый час своему сожителю: «Куда хорош сынок-та у Аграфены Павловны! И богат. Кабы бог дал эдакого женишка нашей Дунюшке!» Но он не искал богатых невест; еще в детстве видал он Анюту, соседку их, когда она прихаживала на посиделки к сестрам его; девушка ему понравилась. Аграфена Павловна, знавшая смиренство ее, не противилась, и дело было скоро слажено.

Это была прекрасная парочка! Когда в приходской церкви у заутрени Анюта стояла возле свекрови и огни восковых свеч, зажигаемых усердием перед чудотворным образом, против которого они всегда становились, играли в жемчужных серьгах или алмазном перстне, сиявшем в узелке косынки на голове молодой женщины, она казалась белее жемчуга, и глаза ее горели ярче алмазов; тонкие брови и волосы ее спорили красотою цвета с темным соболем ее штофной телогрейки. Аграфена Павловна часто говаривала супругу своему: «Посмотрите-ка, Григорий Иванович, ведь подлинно господь бог благословил нас, Ванюша-то у нас как молодой сокол, глаза горят, как две вечерние звезды, да и Анюта хороша! Словно лебедь белая между всеми».— «Умела бы хорошо пироги печь,— отвечал Григорий Иванович,— а красота не навек!» Но он говорил это так, как иногда, торгуясь с приятелем и стараясь выторговать по стольку-то уступки с рубля, прибавлял: «Не ради убытка; что? Деньги дело нажитое; а по приязни, в первый раз; для переду пригодимся!» Красота, как наличные деньги, везде имеет свою цену.

В течение четырех лет молодые супруги были совершенно счастливы. Анюта была сама покорность, сама лю-

бовь. Он, не забывая достоинства мужа, умел оказывать ей всю нежность любовника. Никогда не видали их порознь; ни на гулянье в Троицын день, ни в церкви, ни на обедах у знакомых; Анюта нигде не являлась без мужа, и всюду следил ее орлиный взор его. Когда по делам принужден он был отлучаться из города, никакие просьбы не могли убедить Анюту выйти, даже к родным. Она сидела дома, шила в пяльцах или метила белье; но была весела, ласкова со всеми, даже ласковее, чем при муже, особенно с деверьями. При нем она, казалось, жила только для него одного, думала о нем одном, и когда другие заговаривали с нею, она как бы бывала недовольною, что ее отвлекают от предмета, постоянно занимающего ее. Жизнь замужней женщины в купеческом быту совершенно противоположна с жизнию светской женщины: всегда заключенная в четырех стенах своего дома, она не имеет друзей, ни светских развлечений, и потому чувства сердца ее совершенно обращены на семейственные связи; удовольствия, радости — все заключено в семье родной; сношения ее с светом ограничиваются благотворительностию и хозяйственными нуждами. Не подумайте, однако же, чтоб это лишало ее того обильного источника наслаждений, который для светской женщины заключен в слове: туалет; совсем нет: она так же кокетка в наряде, как и та, хотя часто не знает даже и существования этого слова; так же любит нравиться, и лисий, черно-бурый воротник для салопа, английская шаль, богатая материя на платье суть необходимые гостинцы, которые супруг привозит из Одессы, с Нижегородской ярмарки, из Петербурга, точно так же, как кусок душистого мыла, который молодой крестьянин, возвращаясь из дальнего извоза, тайком дарит молодой жене своей, наказывая, чтоб не показывала ни свекрови, ни золовкам этот предмет непозволительной роскоши. Натура женщины никогда не изменяет ей, даже в старости: мы так же любим принарядиться, чтоб скрыть неприятные следы времени, пугающие молодость. Желание нравиться есть указатель назначения нашего на земле, которое есть... но полно об этом; Аграфена Павловна рассердилась бы, если б ей сказали, что солнце создано не для того, чтоб огурцы выспевали на грядках ее огорода.

Мне всегда казалось странным, что эта уединенная, сокрытая от света жизнь купеческой женщины не защищала ее от взоров любопытных, проникавших в святилище ее заветного крова, и что часто за чайным столиком соседа разгадываются тайны домашней жизни ее, иногда

ускользающие от взора ближайших наблюдателей. Точно так случилось с Анютою; между тем, как мать ее, свекровь, все родные мужа ее были уверены, что она совершенно счастлива, молва обвиняла в ревности молодого Хлебникова (сказала ли я вам, что это было фамильное имя мужа Анюты?), и в ревности необыкновенной, от которой, говорили, много страдает бедная жена его. Оттого-то никуда не выходила она без него, оттого-то была молчалива и робка даже в своем домашнем кругу. Он ревнует ее к своей тени, говорили соседки; но это были одни догадки: никто никогда не слыхал ни малейшей жалобы от Анюты; если она страдала, то это было известно одной ночной лампаде, которая горела перед образом Утоления печали, благословением покойного отца ее. К тому же она любила своего мужа; а чего не усладит любовь!

Однажды, это было осенью, дедушка уже пришел от вечерни; было шесть часов вечера, и семейство собралось в небольшой гостиной, обитой зелеными бумажками, на которых дети, коровы, птицы, деревья следовали одни за другими в неизменном порядке, намалеванные черною краскою с белыми просветами. На большом круглом столе, накрытом ярославскою синею скатертью, кипел огромный тульский самовар, и пар его, клубясь и высоко поднимаясь над столом, туманил стекла окон, в которые бил крупный дождик. Это был час наслаждения, час дружеских бесед, откровенных разговоров, час, в который все семейство собирается вместе, забывая и дела и расчеты; когда вечно озабоченный купец становится семьянином, отцом, радушным хозяином,— словом, час вечернего чая, этой жизни купеческих бесед. И надобно было посмотреть, с какою роскошью наслаждалась им Аграфена Павловна! Отирая по временам крупные капли пота, выступавшие на румяном и лоснящемся лице ее, она допивала, кажется, пятую чашку, с приятностью поднося ко рту блюдечко, которое держала на оконечностях пальцев, симметрически расположенных, и впивая ароматический пар чая, вьющийся над ним легким облачком. Полное лицо ее, покойное положение тучного тела, совершенно углубившегося в кресла, обитые зеленым сафьяном; веселая улыбка и ясный взор показывали полное удовольствие души, ничего не желающей более. Подле Аграфены Павловны Анюта крошила белый хлеб в чашку четырехлетней золовки своей, которая следовала за всеми движениями ее своими черненькими маленькими глазками, горевшими нетерпением. На другом конце стола дедушка, прихлебывая с блюдечка

чай, изъяснял другой девочке гравюрки из Священной истории, именно: лествицу Иакова; — но, конечно, не так, как толкуют о том мистики. Добрый старик под именем лествицы, виденной Иаковом, разумел две жерди с перекладинками, то есть точно такую лестницу, как была та, которая вела в его светлицу над сараями, где любил он отдыхать после обеда в жаркие летние дни. Видение Валаамовой ослицы привлекло особенное внимание девочки. «Да как же, дедушка, осел мог говорить?» — спросила она. «Ну так же, как ты и мать твоя,— отвечал дедушка,— от бога все возможно!» Не подумайте, чтоб дедушка хотел сказать что-нибудь предосудительное для Аграфены Павловны; он был очень далек от того и преспокойно подал ей пустую чашку.

По другую сторону Аграфены Павловны сидела старшая дочь ее и какая-то гостья, дородная и жеманная, в темно-кофейной с собольим воротником телогрейке, которой она не снимала, несмотря ни на жар, ни на седьмую чашку чаю, которую выпивала, опрокидывая ее на блюдечко по окончании каждой чашки в знак, что не хочет больше, между тем как хозяйка снова наполняла ее чаем и потчевала гостью, приговаривая: «Прошу покорно!»

У противоположной стены, возле стола, сидел Григорий Иванович, в темно-зеленом сюртуке, наглухо застегнутом, выставя вперед левую ногу, опираясь одною рукою на колено, другую положа на стол и с видом глубокомыслия устремив взор в шахматную доску. Он играл в шашки с соседом, толстым, несловоохотливым ратманом. Между ними стояли на столе два стакана с пуншем. «Искусно, сударь, искусно: да и мы не дадим промаха и в доведи вас не пустим. Вот так: раз и два! Что, хорошо?» — он засмеялся с самодовольным видом. «Подержимся еще, батюшка Григорий Иванович, поиграем»,— отвечал противник его, задумываясь над шашкою. В продолжение некоторого времени в комнате только и были слышны стук шашек по мраморной доске, отрывистые слова играющих, шипенье самовара и прихлебывание чаю. Вдруг у ворот послышался стук; Анюта протерла тусклое стекло, чтоб посмотреть на двор. Тяжелые половинки ворот отворились со скрипом; цепная собака залаяла как на своего; сердце Анюты забилось: кто-то въехал на двор. Она бросилась к дверям; но прежде чем успела дойти до них, Иван Григорьевич стоял перед нею, прекрасный, как один из ангелов Иакова, о которых толковал дедушка. Ласково взглянув на жену, он остановил ее рукою и подошел к дедушке, потом к отцу и

так далее, по старшинству, пока наконец перецеловал всех, начиная с матери до меньшой сестры, не исключая и толстой гостьи. Он оборотился к жене, которая, алея от радости, как утренняя заря, следовала взором за всеми движениями его. Он обнял ее и поцеловал очень тихо. Молодой человек не смел предаваться чувствам своим при отце и дедушке; зато взоры его вознаграждали Анюту за тягостное принуждение.

Надобно было видеть всеобщую радость. Молодой Хлебников возвращался домой после довольно долгого отсутствия, и Аграфена Павловна не знала, что делать с радости, увидя опять свое сокровище, своего любимого сынка, свое красное солнышко. Дедушка посмеивался, расправляя свою широкую бороду; дети прыгали около приезжего гостя; один Григорий Иванович не изменил своего положения при виде сына, приветствуя его одним: «А! Здорово, Иван!» — «Не угодно ли будет посмотреть счеты, батюшка?» — спросил Иван Григорьевич, снова почтительно подходя к отцу и остановясь на довольно далеком от него расстоянии. «Добро, после,— отвечал отец,— поди напейся чаю; ты, я думаю, прозяб: ненастье не свой брат». Молодой человек поклонился и подошел к столу, где заботливая мать приготовила уже для него чашку чаю, а Анюта поставила возле свекрови креслы для милого гостя и сама села против него. Тогда-то начались расспросы, рассказы, смех, опять расспросы — словом, та неумолкаемая болтовня сердца, которою оно, кажется, хочет в две минуты вознаградить себя за долгое молчание и высказать все, что терпело в продолжение тяжкой разлуки. Иван Григорьевич не сводил глаз с жены: казалось, он не мог налюбоваться ею. В это время в соседственной комнате, в которую дверь была заставлена шкафом с посудою, послышался стук отодвинутого стула. «Кто это у вас там?» — спросил довольно невнимательно молодой Хлебников, совершенно без намерения взглянув на жену: лицо Анюты вспыхнуло, как зарево; она наклонилась, как будто чего-то искала. Иван Григорьевич нахмурился. «Чего, Ванюша! Вот какую беду господь послал без тебя,— отвечала Аграфена Павловна на вопрос его.— Еще при тебе был к нам назначен полк: ты помнишь это? Вот, накануне рождества богородицы, идем мы от вечерни, ан по улицам такая суматоха: везде верховые да солдаты; разводят квартиры, да отмечают на воротах, да бегают, как бы невесть что случилось; наутро, слышим, и полк пришел. На ту беду Григорий Иванович повздорил в думе с городничим; вот к нам

и поставили...» — «Вздор, жена, не то говоришь! Повздорили мы с городничим за дело, а постой нам и без того следовал,— сказал Григорий Иванович, не переставая играть.— Ведь дом-то наш не из последних; не солдат же тебе поставить».

«Нешто, батюшка, нешто»,— отвечала Аграфена Павловна, и потом, оборотясь к сыну, продолжала: «Вот к нам и поставили рот... как бишь его, прости господи! Да! Ротмистра какого-то».

Иван Григорьевич поглаживал черный едва прорезавшийся ус и кусал губы, что было недобрым знаком, по замечанию Анюты. «А что, молод ли он?» — спросил он.

— Немного постарее тебя, Ванюша; да какой смазливенький и вежливый, нечего сказать; ономнясь, на Введенье никак, Анюта? грязь такая была, что господи упаси! У нас залили дожди, Ванюша. Этта хотели капусту рубить...

— Ну что же, матушка, на Введенье-то?

— То-то, я хотела тебе сказать. Мы с Анютою приехали от обедни на дрожках; кучер сошел с козел отворить ворота, малый такой проворный, да ввел лошадь на двор под уздцы, глядь, а офицер-то идет с крыльца. Только завидел нас, тотчас снял шляпу, да и поклонился. Да чего еще, сказать-то смешно! взял меня под руку, да и на крыльцо-то ввел. Да никак и тебя также, Анюта?— Иван Григорьевич отодвинул свой стул назад.

— Нет, матушка,— отвечала Анюта, совершенно пурпуровая,— он говорил что-то с вами, когда я прошла, и не заметил меня. Ну, не помню!

— Да для чего же не наняли для него квартиры?— спросил Иван Григорьевич.

— Так угодно было Григорью Ивановичу,— отвечала Аграфена Павловна вполголоса, робко посматривая на мужа.

Между тем разговор переменился; Иван Григорьевич вертел между пальцев конец скатерти, а Аграфена Павловна рассказывала уже своей гостье, как вчера выводила она проклятого сверчка, который, невесть от чего, завелся в спальной, под печью.

— Вы его... не часто видите, матушка?— спросил Иван Григорьевич.

— Вчера видела своими глазами, Ванюша.

— Но он беспокоит вас,— продолжал он несколько вспыльчиво.

— Как же, Ванюша; кричит всю ночь, ну так, что глаз не даст свести.

— Да как же с ним не справятся? Вон бы его! Как это терпеть?

— Э, Ванюша, да как с ним справишься? скоро ли его выживешь? Я вчера и сургучом-то курила, и два чайника вару вылила на него...

— На кого, матушка, на ротмистра?

— На сверчка, Ванюша. Ну как можно офицера вон? прости господи! как отец услышит тебя! Ведь офицер-то военный слуга государев. Эх, Ванюша, я думала, что ты про сверчка...

Все засмеялись, даже и дедушка, а Анюте было не до смеха; она видела, что постоялец сильно занимает воображение ее мужа.

Впрочем, все осталось в прежнем порядке; Хлебников не говорил ни слова о постояльце; Анюта была по-прежнему ласкова, покорна, выходила со двора еще реже; белая занавеска окна ее никогда не отдергивалась, а в церкви становилась она в самом углу за колонною. Но с некоторого времени Иван Григорьевич заметил, что Анюта сделалась необыкновенно грустною; часто по возвращении своем домой видел он следы слез на глазах ее; она плакала без него; что могло быть тому причиною? Он любил ее по-прежнему; кажется, не было ни в чем недостатка у Анюты: в семействе все глядели ей в глаза; что ж бы это такое было и отчего особенно эта грусть увеличивалась обыкновенно после свидания ее с матерью? Не наговаривает ли чего теща молодой жене его? Не представляет ли в черном виде затворническую жизнь ее? Не жалуется ли Анюта на скуку, на подзорчивый нрав мужа, не было ли тут какой тайны? Подобные вопросы сменялись один другим в голове Ивана Григорьевича и не давали ему покоя: смотрел ли он на заводе за работами, рассчитывался ли с приказчиками и рабочими, трудился ли в конторе с отцом над выкладками, одна и та же мысль преследовала его, и образ Анюты, печальной, плачущей, носился перед ним; иногда подле нее мелькал другой... Кровь приливалась к сердцу молодого ревнивца, и дыхание его замирало. Но эти подозрения не имели никакого основания; он ничего не мог сказать в подтверждение их ни верного, ни правдоподобного; но *верное*! возможно ли было бы для него перенести что-нибудь верное? Всего простее было бы спросить Анюту или выведать причину ее грусти, но известно, что простое и близкое всегда ускользает от внимания человека,

который, почитая чрезвычайно важным все, что касается до него, преувеличивает затруднения в собственных глазах своих и не довольствуется средствами обыкновенными, почитая их недостаточно важными; к тому же, открыв Анюте слишком рано беспокойство свое, не принудит ли он ее тем самым быть осторожнее? Эта мысль не допускала его до объяснения, которое, может быть, предупредило бы многое. Но ревность закрывает туманом глаза своей жертвы и представляет ей призраки в предметах самых обыкновенных. Будучи хладнокровнее, как мог бы он не угадать истинной причины Анютиной грусти? Но нет, это было бы слишком просто и не входило в рамку, которою ограничивался объем взоров страсти, всегда односторонней и не смотрящей ни на что, не имеющего к ней прямого отношения.

У Анюты был брат, хорошенький, добрый мальчик Петруша, веселого, живого характера, с пылкою головою, но несколько ветреною; несмотря на это, он уже был приказчиком, исправлял исправно возлагаемые на него поручения и пользовался доверенностию хозяина. Как жалованье его было невелико, а достаток матери еще меньше, то он и был записан в мещане. «Понаживешься, бог даст, перейдешь и в гильдию, Петруша!» — говаривала ему мать, и эта честолюбивая мысль зажигала огнем удовольствия глаза ее. По несчастию, случай свел его с молодыми повесами, которые пробудили в мальчишке еще спавшую склонность к удовольствиям; они смеялись над его прилежанием, ввели его в веселый круг свой, ознакомили с буйной веселостью молодой жизни, и до старушки матери стали доходить вести недобрые о милом сыне. Те видели его в трактире; другие играли с ним на бильярде; иные подметили, как он выходил с приятелями из винного погреба, с румянцем ненатуральным, и наконец и хозяин начал жаловаться на видимую перемену Петруши. Старушка плакала, горевала, толковала с Анютой, увещевала шалуна; но следствием всего этого было только то, что он начал реже приходить к матери. Она прибегла к Григорью Ивановичу, прося его пожурить Петрушу, но Петруша еще больше начал удаляться от родных и вдаваться в шалости, так что в целом городе сделался известным как один из первейших шалунов. В это время случилась довольно значительная покража в лавке хозяина. Сильное подозрение пало на Петрушу; нашлись и доказательства; но хозяин, из жалости к матери и уступая просьбам его, не завел дела, но отказал ему от должности. Преданный праздности,

Петруша скоро обратил своими шалостями внимание городской думы, которая полагала, что при настоящем рекрутском наборе лучше будет заменить доброго отца семейства шалуном, давно уже не платившим податей, обремененным недоимками, жалобами на неуплату долгов по лавочкам, погребам — и его взяли.

— Дурная трава из поля вон,— сказал Григорий Иванович, когда Анюта просила его похлопотать за брата.

— Но он исправится, батюшка; он еще так молод!

— Каков в колыбельку, таков и в могилку,— отвечал Григорий Иванович, махнув рукой.— Знаешь, Анюта, повадится кувшин по воду...

— Сделай милость, батюшка!

— Послушай, Анюта: ну, я попрошу, оставят его: ведь он вам будет на горе. А чем не житье солдату: пускай себе потянет лямку, там вышколят! Царю слуги надобны! Полно же плакать: слезами горю не пособишь.

— Но, батюшка...

— Анюта, я злу не потатчик; за чем пошел, то и нашел.

Что было делать? Оставалось только плакать и молиться, и эти-то слезы были причиною неудовольствия Ивана Григорьевича. Но как он мог объяснить их? Анюта никогда не говорила с ним о брате: любовь боится самой себе признаться, что видит недостатки; малейшее напоминание об них уже оскорбляет ее. Как же можно говорить с людьми, которые смотрят на погрешности своих собратий глазами холодного судьи? Пройдет несколько времени, любовь простит, забудет проступок, забудет и слезы, которых он стоил ей; равнодушие навсегда сохранит дурное впечатление, произведенное проступком, и если не станет упоминать о нем, то все не изменит своего мнения о проступившемся. Анюта не рассуждала так; но сердце внушало ей то, что у других было бы следствием размышления. По мнению же Ивана Григорьевича, молчание Анюты происходило от того, что она мало печалилась о брате, и хорошо; он был негодяй, человек пропавший; стоит ли он сожаления ее? Так думал Хлебников, и причина слез Анюты оставалась для него загадкою.

Наступили святки; в купеческих домах начались вечеринки; но Анюта не принимала в них участия и оставалась одна дома; действительно ли по болезни, как говорила она, или по другой какой причине, этого я не знаю, только Иван Григорьевич принужден был один сопрово-

ждать отца своего на званые вечера, хотя и охотнее оставался бы с Анютою.

Дня за три до Нового года городской голова давал праздник, где было все лучшее купечество, городничий, предводитель, полковник и несколько офицеров. Дом был освещен великолепно; в гостиной, кругом около стен, сидели дамы, залитые в жемчугах и алмазах. Тут, возле блондового чепца с цветами, красовалась смиренная косынка из гроденапля с алмазным перстнем в узелке; возле легкого шарфа из Gaze d'illusion огромный мериносовый платок; иногда блондовая косынка закрывала на груди цепочку из угловатого жемчуга, сверх которой лежало несколько ниток бурмитских зерен, с огромным фермуаром, и к этому присоединялось платье из Satin façonné, сафьянные зеленые башмаки и целый цветник на голове. Это была галерея костюмов, выставка мод за целое столетие, последняя борьба старины с любовью к новизне. Но все эти представительницы различных эпох из летописей моды сидели чопорно по местам, вставая только при появлении новоприбывшей, которая целовала всех поодиначке, начиная с крайней, и снова усаживались, тихонько перешептываясь между собою. И право, много острых слов, которым позавидовала бы не одна светская красавица, доверялось таким образом на ухо соседке; не говорю уже о красоте: там были глаза, улыбки... но что об этом! Природа не спрашивает дипломов и расточает равно всем сословиям дары свои; и, конечно, там были прекрасные, заманчивые личики, в чем сознавался и г. городничий, который один председательствовал в сем обществе дам, присвоивая себе право смешить их, в чем, к несчастию, как и в большом свете случается, успевал более своею особою, чем остротами: участь людей, назло природе желающих нравиться. Г. городничий почитал себя неотразимым и думал, что одного его взора достаточно было, чтоб вскружить все эти головки и в чепцах, и в платочках, не выключая и Аграфены Павловны, котоорая смеялась от души любезностям городничего, отворачиваясь и закрывая платком рот. Впрочем, это извинительно: как часто и в залах большого света поют Te deum* с обеих сторон, между тем как победа... да это дело виданное и не в одних залах. Г. городничий оправдал на этот раз репутацию любезника, отказавшись составить партию виста, чтоб остаться с дамами; прочие почетные гости разместились за ломберными столами: иг-

* Тебя, господи (хвалим) *(лат.)* — первые слова молитвы.

рали в бостон, в ламуш, в шашки; хозяин и сыновья его разносили подносы с рюмками, наполненными вином, подавая с поклонами гостям, которых хотели почтить. Иногда сама хозяйка являлась Гебою, когда видела, что гость упрямится, и тогда уже не было средства отказаться от упоительного нектара. По другим комнатам также были игорные столы; в иных — офицеры, собравшись в кружок, курили трубки, молодые купцы или присоединялись к обществу их, или, прохаживаясь по зале, заглядывали в гостиную; в дверях играла полковая музыка; нанятые из разных дворянских домов люди разносили пунш, варенья, моченые яблоки, мед и проч.; по углам старички, потряхивая бородами, толковали о торговле, и некоторые весельчаки, разрумянясь от веселья и вина, ходили по зале, притопывая и требуя от музыкантов чего-нибудь повеселее, чем немецкая диявольщина, которую они играют целый вечер. Раздалась родная камаринская, и взоры прояснились... Вот видите, друзья мои, я описываю вам вечеринку небольшого уездного города, куда еще не дошла мода, по крайней мере до купечества, ни на французские кадрили, ни на мазурки; право, в России и теперь еще найдется много подобных вечеринок.

Между тем как веселье пошло па разгул, несколько молодых офицеров стояло возле узорчатой изразцовой печки, весело разговаривая между собою. Толстый ратман, которого мы видели в доме Григорья Ивановича, проходил в это время мимо веселой группы об руку с статным и важно молчаливым молодым Хлебниковым. Женщины украдкою посматривали на них исподлобья, не знаю именно, который удостоивался их внимания; только Иван Григорьевич был очень хорош; и это замечание повторилось не раз потом между двумя наклоненными одна к другой головками. «Жаль только, что одевается не по моде,— говорили молодые женщины,— не вздирает волос, как наши франты, пронимает ряд набоку и разглаживает волосы по лбу, да уж так и быть! К хорошему все хорошо».

Хлебников шел по зале, слушая рассеянно. «Подойдем сюда, Иван Григорьевич; вот с этой стороны, поближе к молодежи, да послушаем-ка, о чем они говорят».— «Что мне до них?» Однако имя Хлебникова поразило слух молодого человека. Он невольно последовал за ратманом, и оба остановились у боковой стороны печки, так что офицеры, занятые разговором, не заметили их.

— А хороша!— говорил один офицер,— в жизнь мою не видывал таких глаз, ни таких плеч. Чудо!

— Кто?— спросил другой, подходя.
— Мы все говорим о Дальском.
— То есть об его черноглазой красавице.
— Что у Хлебникова? Знаю. Бедный ротмистр совсем пропал, его нигде не видно.— Хлебников побледнел; он превратился весь в внимание: если б раздалась труба страшного суда, он не услыхал бы ее; он не смел перевести дух.
— Да где его видеть?— продолжал первый офицер, прибавя таинственно:— Сегодня ему назначено свиданье; хозяева все здесь; дети ложатся рано...
Хлебников не слыхал ничего более; как сумасшедший бросился он в двери; толстый ратман последовал за ним: он что-то говорил, рассказывал, смеялся, хотел что-то растолковать; но Хлебников ничего не слыхал; он помнил одно: свиданье, никого дома нет, и выбежал на улицу.

Между тем Анюта сидела печально одна в своей спальне, на простом, переплетенном соломкою стуле, приставленном к теплой печке. Она только что проводила мать свою, которая просидела у нее целый вечер, горюя о своем Петруше; они обе поплакали, и хотя находили взаимное утешение, сообщая друг другу печальные думы, наполнявшие души их, но расстались еще грустнее, чем были до свидания. Печаль тяжелым свинцом лежала на душе Анюты. «Господь с тобою, милое дитя мое,— говорила старушка, крестя свою милую Анютушку,— помолись-ка поусерднее угоднику Николаю да богоявлению господню; авось либо бог услышит молитвы твои и поможет горю нашему. Что-то мне грустно расстаться с тобою, Анютушка»,— прибавила она, взявши в обе руки головку молодой женщины и целуя ее в лоб; две слезы, одна за другою, канули с ресниц ее на лицо Анюты. «Не плачь, матушка,— сказала она,— господь не оставит нас: благослови меня, родная, и поди с богом». Старушка перекрестила еще раз Анюту, поцеловала ее и пошла. Подойдя к дверям, на пороге она оборотила назад голову: Анюта стояла еще на прежнем месте. «Прости, матушка»,— сказала она, следуя за нею взором, и голос ее отозвался в сердце старушки; она невольно содрогнулась и вышла, читая про себя молитву. Месяц светил ярко, снег хрустел под ногами ее, искрясь синеватыми блестками; она взялась за железное кольцо калитки и еще раз взглянула на окно дочери. В тусклом свете, проникавшем сквозь него, рисовалась тень женщины, склонившейся к стеклу головою. То была Анюта, но в тумане, как в неясном воспоминании давно

минувшего. Рука ее отделилась от общей массы тени и сделала прощальный знак; старушке стало еще грустнее. Анюта, молодая, румяная, живая, представлялась теперь каким-то неясным образом, в котором сердце матери угадало милую дочь, тогда как глаза отказывались узнать ее, как будто бы она была уже в мире, не подлежащем чувствам...

С грустию на душе Анюта села в уголок и, положа руку на спинку стула, опустила на нее голову. Задумчивый взор ее остановился на кивоте с образами, перед которою теплилась лампада, отражаясь на золоте и каменьях риз и богатых окладов. Другая рука ее покоилась на коленях, и слезы тихо, одна за другою, как бы без ведома ее, струились по щекам ее. Совершенная тишина господствовала в комнате. Вдруг дверь из гостиной отворилась; высокий мужчина в шинели, с растрепанными волосами, бледный как смерть, вошел в комнату. Анюта обмерла; вскочила с своего места и остановилась, сложа руки на груди, не смея произнести ни одного слова.

— Сестрица, не бойся! Это я; но ради бога, ради Христа, скорей спрячь меня... только на несколько... только на два часа, ты видишь: я бежал.

— Господи, твоя воля! Это ты, Петруша,— вскричала Анюта голосом отчаянья.— Но как ты...

— Что до этого! Спрячь меня.

— Невозможно! Куда?

— Хоть на чердак; я знаю все выходы; я пробуду там один, много два часа; когда в городе поуспокоятся, спущусь в слуховое окно в огород и уйду...

— Но куда? Ах, Петруша! Что ты сделал?

— Куда глаза глядят; не откажи мне, сестрица, голубушка!

Он взял ее за обе руки, целовал ее. Анюта трепетала, как молодой осиновый лист в чаще рощи.

— Ах, Петруша, да разве ты не знаешь... а Иван Григорьевич...

— Сестра! Завтра я солдат, если ты побоишься своего Ивана Григорьевича, и матушка на тебя будет жаловаться богу.

Анюта ломала в отчаянии руки.

— Сестрица, душенька, никто не узнает. Матушка за тебя будет молиться богу; ты скажешь ей, что прошу ее благословения. Я не смел идти к ней, боясь погони. У вас не станут обыскивать: свекра твоего знают. Сестрица, голубушка, пойдем!

— Ах, если б ты знал, как мне страшно...

— Так ты хочешь...

— Нет, пойдем! Пусть будет что богу угодно.— Она пошла к дверям.

— Постой, сестрица; благослови меня вместо матушки.

Анюта, рыдая, подошла к киоту и сняла образ, привешенный на ленте. Руки ее дрожали; Петруша молился.

Положа три земные поклона, беглец стал на колени пред Анютою; рыдая, перекрестила она брата и надела ему на шею образ; потом поцеловала его с нежностию и, перекрестясь, велела следовать за собою.

— Обними меня, сестрица, в последний раз, надолго уже, вместо матушки! Попроси, чтоб она простила меня...

Анюта, в слезах, бросилась ему на шею. Что-то стукнуло под окном, как будто упало что-то тяжелое.

Оба вздрогнули.

Окно было закрыто ставнями; все было тихо; они пошли.

Ощупью добрались они в темноте до маленького чулана в сенях, до половины заваленного старым железом; прямая лестница вела из него на чердак. «Прости, сестра»,— прошептал он, и прощальный поцелуй раздался в темноте.

Анюта затворила дверь чулана; сердце ее билось; она приложила ухо к двери; но все уже тихо. Вздохнув, она пошла.

— Ни с места!— сказал глухой, страшный голос, и тяжелая рука упала на плечо ее.

Надобно сказать, что за несколько месяцев до возвращения молодого Хлебникова Аграфена Павловна наняла молодую работницу, незадолго перед тем отпущенную женою ратмана, у которой она была в услужении. Девушка не была красавицею, не могла служить моделью для скульптора, зато она в полной мере обладала тем, что составляет красоту в понятиях простолюдина: белизна, румянец, что называется, кровь с молоком; лебединая грудь, плечи как из кости вырезаны — словом, красоточка! К тому же живая, проворная; работа так и кипела в руках, и между подругами она была как отменный соболь; зато всякий в околотке знал прекрасную Парашу, и когда молодые люди пересчитывали красавиц, Параша была первою на языке. (Я не почитаю излишним сказать вам, что она была двоюродная сестра моей хорошенькой рассказчицы, которая поддерживала дружбу очень рачительно, посылая при каждой верной оказии городской сестрице:

яйца, запеченные в лепешках, масло, нитки, леп — все, что случалось под руками); но не знаю, отчего ей было несчастье в доме ратмана. Сперва ее любили и ласкали; но вдруг хозяйка начала ее гнать со свету, и бедняжке не было бы житья без доброго хозяина, который часто заступался за нее и спорил с женою даже до того иногда, что прибегал к ощутительнейшим средствам, не довольствуясь дипломатическими убеждениями. Он был не охотник до дипломации и любил кратчайшие средства; поэтому и в Управе благочиния он был всегда против проволочек.

Вдруг все переменилось. Хозяйка сделалась добрее к Параше, но ратман до того невзлюбил ее, что она принуждена была оставить дом. Подобные перемены неудивительны в свете, где общество разделено на искателей и людей, в которых ищут. Но ратман, толстый ратман, чего он мог желать от Параши? Бог ведает! Только ратман гнал ее немилосердно. Не знаю, как-то дошло до него, что постоялец Хлебникова был неравнодушен к прелестям Параши и что красавица не очень боялась черных усов и воинственного вида молодого ротмистра: ему вздумалось довести это до сведения хозяев ее, и для этого-то и подвел молодого Хлебникова к разговаривавшим довольно откровенно офицерам; но молодой человек, занятый одною мыслию, худо понял слышанное им и, несмотря на старание ратмана объяснить дело, вырвался из рук его и без шубы выбежал на улицу.

Звезды горели ярко в темной синеве неба; Млечный Путь сребристым флером расстилался по темному своду; месяц одевал таинственным светом белые стены церквей, домов, и лучи его играли на спаях листов белого железа, покрывавших шпицы колоколен, и на золотых крестах, которые, как непостижимые гиероглифы будущего, блестели в вышине. Все было тихо, все как бы дремало в волшебном сне, одни небеса сияли таинственною жизнию, представляя образ вечного движения в этом царстве смерти. Снег хрустел под ногами Хлебникова; изредка попадалась ему толпа масок, переходивших из дому в дом в разных странных нарядах; иногда выбегала девушка с вопросом: «Как зовут?» и с удивлением отходила, взглянувши на бледное, расстроенное лицо его и наряд, несообразный с временем; иногда усердный поклонник Бахуса, шатаясь, кричал ему, чтоб воротился за шапкою: он ничего не видал, ничего не замечал. Но вот он перед домом; вот окно Анюты; но оно закрыто ставнями, и луч слабого света, проходя сквозь отверстие, вырезанное в виде сердца по-

средине, рисует светлую точку на блестящем снеге. Деревянный дом в один этаж невысок; с помощию отверстий, сделанных в фундаменте, легко добраться до окна; в две минуты он был уже там и, держась за железный запор, переложенный через окно, приложил глаз к скважине: вдали, в самых дверях слабо освещенной комнаты, он узнал Анюту... в объятиях мужчины.

Спрыгнув на землю, он бежит на двор; калитка отворена. Он на крыльцо, в сени; дверь не заперта; он в комнату, никого нет; все пусто. Спальня отворена, Анюты нет; он идет далее; слышит говор, поцелуй... все ясно! Нет более сомнения! Несчастие его верно; но он не потерпит того...

Было ли какое-нибудь намерение, положительная, определенная мысль в голове Хлебникова? Нет! Он был в каком-то чаду, в хаосе, не понимал сам, что делает, что будет делать; видел только виновную жену и злодея, которого надо было уничтожить; какой-то зверский инстинкт управлял всеми действиями его.

Анюта затрепетала, узнавши голос мужа и почувствовав холодную руку его на плече своем.

— Что ты делаешь здесь?— спросил он шепотом, так тихо, что она едва могла слышать его.

— Я... я была на чердаке.

— На чердаке? А зачем?— Он дрожал, крепко сжимал плечо Анюты; сильное волнение занимало дух его, так, что едва мог он произносить слова.

— Ах, Иван Григорьевич, как ты испугал меня,— сказала Анюта, стараясь оправиться.— Я ходила на чердак за косынкою, которую Параша повесила там сегодня утром.

— Лжешь!— закричал он громко, подходя к двери, ведущей в чулан, и таща за собою Анюту.

— Иван Григорьевич, ради бога! Что с тобой?

— Кто там?— спросил он, указывая на дверь.

— Никого, о, никого!

— Неправда, дай ключ!

— Клянусь тебе, Ванюша, милый друг, выслушай...

— Ключ! говорю тебе.

— Послушай! Ужель ты думаешь...— Она старалась обнять его; отталкивая ее, но не выпуская из рук, он силился отворить дверь.

— О, я не пущу тебя! Я скажу тебе... Погоди!..— Сильный удар руки вышиб дверь. Анюта бросилась вперед

в отчаянии; и, заслоня собою вход, обхватила руками мужа.

— Одно слово, одно слово! Там...— Но он освободился; слабые руки женщины не могли устоять против усилий раздраженного мужчины; он обхватил обеими руками тонкий стан ее и бросил в угол чулана, как связку тростника, как жнец бросает связанный сноп золотистой пшеницы.

Громкий, болезненный стон вырвался из груди молодой женщины.

И все стихло . . . .
. . . .

На другой день, несмотря на мороз, дом Хлебникова был окружен толпою нищих. В поярковом тулупе и косматой, заиндевелой от морозу шапке дедушка, сгорбясь, раздавал медные деньги, препоручая молиться за Варвару; он присоединял к этому имени другое... Блестящий иней серебрился на длинной бороде его и ресницах, на которых искрилась, как алмаз, морозом сжатая слеза. В большой столовой в переднем углу разложен дубовый большой стол, накрытый белым полотном; в конце, обращенном к окну, и по сторонам в высоких подсвечниках горели восковые свечи; богатая парча спускалась до самого полу по обеим сторонам стола, закрывая недавно положенное тело усопшего, и еще без гроба. Это была молодая женщина; лицо ее, покрытое тенями смерти, было еще прекрасно; но оно сохраняло выражение страдания. Казалось, глубокий сон смыкал вежди ангела, скорбящего во сне о бедствиях земных. Протяжно читал дьячок: «На месте злачне, на месте покойне, тамо упокоит вы господь».

По левую сторону сидела женщина с опухшими от слез глазами, бледная, убитая тоскою; она не говорила ни слова, не произносила ни одной жалобы и смотрела с диким изумлением в лицо покойнице, как бы не понимая еще своего несчастия. Слез уже не было: это была безнадежность, первое явление будущности безотрадной и неутешной, которая не найдет уже на земле конца страданиям. В углу комнаты стоял, сложа руки на груди, высокий молодой человек с впалыми глазами, посиневшими губами, бледнее мертвеца, на которого были устремлены глаза его; ни один вздох, ни одна слеза не облегчали горести его. Иногда только судорожное движение губ придавало вид улыбки искаженному страданием лицу его. Это был молодой Хлебников, которого чрез несколько лет после того я видела в монашеской рясе в ....ой пустыни.

— А Петруша?— спросила Любинька.

— Скрылся в ту же ночь, когда Григорий Иванович, возвратясь домой и видя отворенную дверь в спальню сына своего, нашел его на коленях возле старой софы, сжимая в объятиях неподвижное, холодное тело Анюты...

На другой день, когда собрали со стола чашки и самовар, когда Наталья Дмитриевна уселась за свое вязанье, Любинька — за пяльцы, доктор отодвинул кресла от камина, Вельский занял обыкновенное место возле Любиньки и прочие разместились около столика, как кто мог, Наталья Дмитриевна посмотрела вокруг себя. «Кто же первый расплатится с долгом?» — спросила она.

Все с любопытством ожидали ответа, и все смотрели друг на друга. Наконец Проновский вынул из шляпы тетрадь и, обращаясь к обществу, сказал:

— Господа, я никак не думал быть исправнее всех; но как никто из вас, кажется, не готов исполнить желание хозяйки, я прочту безделку, которую принес.

— И за которую я наперед благодарю вас. Начните же, начните, мой любезный Проновский.

— Но я предупреждаю вас, Наталья Дмитриевна, что буду иметь нужду в снисхождении вашем. Это эпизод из жизни молодой женщины, которую я сам знал. В нем не найдете вы поэзии: это сцены из жизни частной...

— Мы слушаем, мы слушаем!

БАРОН РЕЙХМАН

> Ах, как мила моя княжна!
> Мне нрав ее всего дороже.
> Немножко ветрена, так что же?
> Еще милее тем она.
>
> *Пушкин*

«Какая ты хорошенькая, мама!» — говорил четырехлетний румяный мальчик в русской рубашке, с светлыми кудрями, как амур Альбана, хлопал ручонками, прыгая на одном месте перед молодою женщиною, которая поправляла перед зеркалом свои черные атласистые букли.

— Ты любишь маму нарядную?

— Люблю маму, люблю папу.

— А еще кого?

— Люблю дядю Лелю.

Молодая женщина обернулась к ребенку, потрепала его по полной щечке и спросила вполголоса:

— За что же Лелю?

— У Лели славная сабля, золотые снурки. Леля дает мне розовых карамелей; много, много!

— Ты лакомка, Коко!

И Коко получил розовую карамель, вероятно, за то, что был лакомка; Коко закричал с радости и побежал показать няне свое приобретение. Мы будем иметь случай познакомиться с Лелею; теперь скажем только, что Коко давал это имя адъютанту своего папеньки, который по целым часам иногда бегал с ним по залам. Между тем маменька продолжала любоваться своею прическою.

— Мне кажется, эти шатоны совсем ко мне нейдут? Не правда ли, Анюта?

— Ах, сударыня! Все, что вы ни наденете, прекрасно к вам. M-r le Beau, который убирает целый город, то же говорит.

— А ты перенимаешь у него?— сказала с довольною улыбкою молодая женщина.— Не кричи, Коко!

— Мама, это Леля выучил меня петь.

— А ты, Serge, ты ничего не скажешь мне об моем туалете?— продолжала она, обратясь к немолодому уже мужчине, стоявшему у камина.

Serge был мужчина лет..., в которые уже и мужчины не любят говорить о летах. Уже шесть лет как он был женат и с первого дня женитьбы принял обыкновение раз в неделю посвящать часть утра прекрасным бакенбардам, которые, как черный бархат, лежали по полным, румяным щекам его.— Он освобождал их от серебряных волосков, которые начинали также показываться и на висках его. Но с некоторого времени это занятие сделалось чаще и отнимало более времени у барона.

В 13-м году, при взятии Лейпцига, Serge был уже полковником, и бригадным командиром в последнюю турецкую войну. Густые эполеты шли к его высокому, стройному стану, несколько более чем полному, что, однако, его не портило. Он был, что называется, bel homme*; сверстники находили его моложавым, красавицы очень любезным, и комплименты, которыми он осыпал их, не казались еще смешными в устах его. Имя его встречалось далеко в летописях Ливонского ордена и, от времен Плетенберга переходя чрез века, досталось не без известности

---

* красавец *(фр.)*.

предку его, который, вследствие неудачной попытки ливонского дворянства у Карла XI-го, переселился на Русь, где Великан созидал новое царство и привлекал дружелюбно иноземцев. Это пересадное дерево так сдружилось с климатом и почвою, что приняло все свойства туземной растительности и от всего немецкого сохранило одно имя, к которому барон был чрезвычайно привязан. Пусть будет он хоть Рейхман.

Густые эполеты барона, равно как и две тысячи душ Натальи Васильевны, супруги его, играли важные роли в их женитьбе. Деревни и эполеты, длинные деревни и густые эполеты, суть разнородные вещества, из которых составляется волтанческий столбик большого света, делающий чудеса!.. На сей раз эполеты были проводником, который привлек на генерала благоволение отца Натальи Васильевны и, можно сказать, к счастию ее. Генерал сверх эполетов имел порядочное состояние, хотя и не без долгу, как говорили в свете, и множество душевных качеств, которые, казалось, ручались за счастие баронессы. Может быть, он и не влюбился бы в Наталью Васильевну, если б узнал ее в хижине; барон не любил эклог, но теперь он истинно был привязан к ней, как добрый муж.

И Наталья Васильевна любила его; не скучала его рассказами о Монтмартрском сражении, о приступе к Варне и называла его своим героем. Чрез него она имела вход во дворец, бывала на придворных балах, в Белом зале. Честолюбие всегда находит небольшой уголок в сердце женщины; оно развивается, если время и обстоятельства лелеют его, как растение, пересаженное на добрую почву под небом благотворным, и томится, как оно, если ни небо, ни почва не благоприятствуют ему. Одним была недовольна баронесса: она находила Сержа слишком матерьяльным, слишком привязанным к прозаической стороне жизни. Он не умел понимать сердца ее. Но как быть? Мир есть страна изгнания, где ничто не совершенно.

При вопросе Натальи Васильевны барон посмотрел на нее с улыбкою несколько насмешливою, что не ускользнуло от ее внимания. С некоторого времени баронесса заметила, что муж ее был как-то странен в обращении с нею; как будто бы он был чем-то недоволен, как будто хотел говорить о чем-то и не мог. Наталья Васильевна видела это и потому всегда была готова к войне оборонительной.

— Разве мнение мое также значит что-нибудь? — сказал он, не оставляя своего места.

— Негодный! — Баронесса подбежала к мужу, обняла

его одною рукою и другую приложила к губам его, говоря:

— Целуй, целуй! А то я поссорюсь с тобою.

— Поссоришься, за что же? Что значит мнение мужа в деле туалета?

— Вот неблагодарность! Да для кого же, если не для вас, господа мужья, хотим мы быть прекрасными?

— Очень благодарны!— отвечал барон, кланяясь в пояс,— очень благодарны!

Наталья Васильевна казалась недовольною. Барон обнял ее и несколько минут смотрел на нее, любуясь этим милым личиком, на котором досада оставила следы живого румянца.

— Знаешь ли, Наташа, что это платье к тебе очень идет? Эти атласистые плеча кажутся еще белее в этой темной рамке синего бархата.

— Вы очень добры, генерал!— сказала она, ускользая из рук его с видом, который говорил: «Я хочу, чтоб следовали за мною».— «Ласка женщины — золото политика»,— думал барон; но исполнил желание своенравной красавицы. Он сел возле туалета ее и с удовольствием смотрел на молодую женщину, которая, стоя перед зеркалом, расправляла свои прекрасные волосы.

— Право, Наташа! Ты сегодня вскружишь не одну голову! Бедный Левин!

— Это что значит?— спросила баронесса, обратясь к мужу и совершенно забыв о букле, которую расправляла.

— Что ж вас это удивило так, M-me la baronne!*

— Serge, да это ни на что не похоже. Этот иронический тон! И к чему тут Левин?— сказала она, подходя к мужу с видом театральной невинности.

— По совести, Наташа, Левин... нам не противен?

— Что за мысль? Уж не ревность ли это! О, как я буду рада!

— Чему же?

— Ревнивый муж! То есть немного ревнивый: да это прелесть! Всегда надежное средство помучить его, отомстить кое за что... самым невинным образом. Ах, как бы я это любила!

— Право? Но ты знаешь, что я не ревнив.

— Ах, да! И это скучно! Вечно рассудителен, вечно холоден! С тобою нет средства и поссориться.

— О, не всегда!

— Всегда; ты никогда не выходишь из себя... Скажи же, скажи: зачем говорил ты об Левине.

* Госпожа баронесса *(фр.)*.

— Потому что давно хотел говорить с тобою о нем,— отвечал с важностию барон, что смутило немного Наталью Васильевну.

— О, да это становится серьезно,— сказала она; придвинула кресла и села подле мужа, положив руки на плеча его. Она была очень хороша и твердо уверена, что этот маневр обезоружит генерала, который приготовлялся говорить серьезно, и об Левине.

Но генерал почитал себя очень сведущим в женской тактике. Он посмотрел с большею важностию на Наталью Васильевну, на лице которой было написано внутреннее волнение, и вдруг засмеялся.

— О, так и вас, наставниц наших в хитрости, можно провести!— сказал он.— Опыт удался прекрасно!

— Что это значит?

— Неужели ты думала, что Левин может серьезно беспокоить меня? Он добрый, хороший малый; но как я могу думать, чтоб он привлек на себя особенное внимание моей Наташи? Она не может быть соперницею какой-нибудь Лидии Езерской. Той извинительно влюбиться, хоть по уши, в хорошенького поручика Левина: он по всему ей пара, а не тебе.

— Благодарю за доброе мнение,— сказала Наталья Васильевна, несколько покраснев.— Стало быть, г-н барон не совсем неприступен человеческим слабостям, и если бы Левин...

— ...был каким-нибудь Байроном или Ламартином, это дело другое. У нас в сердечке есть струны, которые сотрясаются при звуках славы или молвы, разносящей известное имя.

— Может быть.

— Левин имеет приятные таланты, правда; поет очень мило; довольно хорошо знает музыку; но я не вижу в нем ничего особенного. Словом, он не тревожит меня.

— А если б это был не Левин, ты ревновал бы, а?

— Нет; ревность мужа стесняет свободу жены, а я не хотел бы отнимать твоей. Мое дело заботиться о чистоте моего имени, вот и все. Жену без добрых нравов не спасет никакая ревность, никакие предосторожности. Но для чего говорить об этом? Сердце Наташи мне порукою за безопасность мою.

— Но это все для света; ты не боишься потерять сердце жены твоей?

— Да мне кажется, что одно не бывает без другого.

— Ах, Серж, не говори этого; разве нет Петрарков?

— Разве я это сказал? Любовь играет в мяч и ходит, сгорбясь над клюкой. Примеры виданы; следственно, Петрарки возможны.

— Нет, вы ужасны, мужчины! Вы никогда не поймете сердца женщины.

Генерал улыбнулся.

— Может быть, Наташа; но я скажу тебе одно: я лучше люблю уступить, чем разделять.

— О, как это решительно и холодно! Ты не знаешь поэзии любви, Серж; твоя любовь есть что-то прозаическое, материальное.

— Мне кажется, эта букля немного низко положена; посмотри, Наташа, не лучше ли так!

Наталья Васильевна взглянула в зеркало как бы нехотя, и ей показалось, что поднятые кверху с выражением сердечной скорби глаза ее придавали ей сходство с белокурыми головками плачущих Магдалин Гвидо, и она улыбнулась; в голове ее мелькнуло сравнение...

— Как смешно одевается эта Езерская! Крошечное лицо и совсем закрыто волосами! Точно моя Бьюти.

— Мнения различны. Я сам слышал, как на бале у князя К... ее называли одною из самых хорошеньких.

— По крайней мере те, которые называли ее так, не могут похвалиться хорошим вкусом.

— Спроси Левина; он, кажется, из первых почитателей красоты ее.

— Что это, mistriss Green, вы не укладываете Коко? Я совсем этим недовольна! Он должен быть в постели в восемь часов.

Она бросила сердитый взгляд на mistriss Green и протянула руку маленькому Коко, который с робостью подошел к ней прощаться.

— Ты привезешь мне гостинцу, мама?

— Поди спать, Коко.

— Я буду умен, мама!

Бедное дитя! Хорошенькие глазки его как будто спрашивали, за что сердятся на него. За что? Дитя! Он забыл, что сам часто бьет своего картонного солдата, когда сердится на няню! Людям, не привыкшим управлять собою, надо непременно на что-нибудь излить свой гнев: так водится!

БАЛ

Des fracas des fêtes, il ne reste que la lassitude lorsqu'elles sont passées.

*Voltaire**

Le coeur est aussi sujet aux variations que le visage.

*La Beaumelle***

Нет; я не стану описывать бала! Блеск огней, блеск алмазов, нарядов и красоты, сборное место страстей, которые расхаживают в праздничных полумасках; кому это неизвестно? Образ жизни, образ желаний, бал! Кому не представлялся он в очаровательном виде накануне, за час, в минуту, когда, расправляя смятые шляпою волосы, между двумя рядами ливрейных лакеев по лестнице, украшенной миртами и леандрами, он входил в залу и с минуту был как бы обаян ослепительным блеском искусственного дня, звуками музыки, шумом бала, запахом цветов, и кто по окончании бала не садился в карету утомленный, иногда раздосадованный и всегда почти недовольный, с пустотою в душе и чувством обманутого ожидания? Иной вспоминает, что тот-то поклонился ему сухо; другой бранит судьбу и тинтере; одна жалуется, что наряд ее был не из первых, другая на безотчетную грусть, что значит в переводе: была не замечена. Иногда в карете отъезжающих начинается уже домашняя ссора, приправа однообразия супружеской жизни. Муж упрекает дражайшую половину в излишней веселости, в легкомыслии, в кокетстве... О! Мужья всегда откровенны, особенно в подобных случаях. Они — сама искренность, когда дело идет не о них. Иногда супруга жалуется на судьбу, давшую ей в удел неизвестность и ничтожество, между тем как подруги ее — та важнее, та значительнее, та богаче; во всем этом виновата судьба; а виновная судьба сидит, прижавшись в уголок кареты, и молчит, и пыхтит, пока наконец, потеряв терпение, выскочит из кареты, и вслед за сим, утром рано, верховой скачет к доктору! Нервическими припадками страдает много женщин!

Но уезжают и с приятными воспоминаниями. Надо быть женщиной, чтоб знать, что значит прелесть получаса меж-

---

* Блеск праздников,— они проходят и остается от них только утомление. *Вольтер (фр.).*

** Сердце столь же подвержено переменам, сколь и лицо. *Ля Бомель (фр.).*

ду конечным разрушением туалета и первым сном, когда, склонясь на руку головою, закрыв глаза, красавица еще слышит звук оркестра, повторяющего быстрые такты мазурки, и милый голосок, нашептывающий: Et vous pouvez douter encore; vous! etc.*, между тем как, следуя движению фигуры, она летит по зале, и глаза его горят, и маменьки, тетеньки, мужья — как бы их и не бывало! А вальс? вальс... Она засыпает в восхищении, упадая на ручку кресел, и сон представляет ей еще этот вальс...

Но с каким чувством возвратилась с балу Наталья Васильевна? Что думала она, снимая перья и брильянты? Она бросила их с досадою на туалет, изорвала блонду и, наскоро закутавшись в манто из темного gros-grin, упала в кресла. Ей не помешает мечтать шумное дыхание барона, уже заснувшего крепким сном. На этот раз она забыла жаловаться на скучные русские обычаи.

Странное дело! Когда при входе в зал все лорнеты устремились на баронессу, когда и справа и слева она услышала шепот, который самолюбие перевело ей словами: «Чудо как хороша!» — досада, с которой она приехала на бал, совсем рассеялась. Ей припомнились слова мужа: какой-нибудь Байрон и проч; и эта молодежь в эполетах, с эксельбантами, в башмаках и бархатных жилетах, озабоченная надеждою будущего веселья, показалась ей мелочною, не стоящею внимания ее. Ей хотелось бы орденов, лент, если б это могло соединяться с молодостию... Она прошла очень важно по зале и еще с большею важностию заняла место в первой кадрили. Но напротив ее... это, кажется, Езерская? Смешной наряд! Бедняжка! У нее нет вовсе вкуса! А это Левин? Он совсем на нее не смотрит. Он не сводит глаз с Натальи Васильевны. Смешон, кто любит не в шутку!

Его встретили холодно; не слыхали его вопроса; когда по окончании первой кадрили он подошел ангажировать на вторую, сказали, что отозваны на восемь кадрилей; мазурку — также! Нет надежды танцевать с баронессою! Нет средства подойти к ней! Наталья Васильевна окружена; она любезна со всеми, не замечает одного Левина; должно отказаться на этот вечер от надежды обратить на себя внимание красавицы. Но вот вальс! Она свободна: рука ее уже на плече Левина, глаза его зажглись, сердце забилось: вот минута узнать причину странной перемены.

— Боже мой! Какой вечер, какое страдание...

---

* И вы еще можете сомневаться; вы! и т. д. *(фр.)*.

— Не правда ли? Чудесный! прелестный бал! — И вот красавица в экстазе от бала. Круг окончен. Левин откланялся и хочет занять пустое место возле нее.— Завтра вы обедаете у нас, г-н Левин? Nous ferons de la musique*.— И это сказано так рассеянно, что Левин не знает, что и думать. Давно ли? Вчера еще, в театре, лорнет ее искал его в креслах: во взоре ее было целое небо надежд... вчера и сегодня! О женщины, женщины! Что будешь делать тут? Что? Левин не принадлежал ни к Вертеровскому поколению безотрадных вздыхателей, ни к разряду сынов юной Франции, юношей, сильных страстями и мышцами, которым недостаёт только случая, чтоб быть Наполеонами, и воли, чтоб стать наряду с Тассами, Шиллерами, Гумбольдтами, юношами, которых любовь способна зажечь целый шар земной, от одного полюса до другого, начиная хоть с Берингова пролива. Он любил, но вот, видите ли? Он до сих пор мог смело говорить о любви то, что сказал о славной Лаисе греческий мудрец. Греки были снисходительны; у них попасть в мудрецы было не трудно, как у нас. Академия и Лаисы не мешали друг другу. Левин не был врагом первой, но не совсем чуждался и вторых. Читал из Экклезиаста.

За чашей светлого вина
Беседуй с мудрыми мужами...

и проч., а в городе, особенно люди набожные, называли его: mauvais sijet**. Ну прошу покорно! В Афинах сказали бы об Аристиппе: mauvais sujet? О времена!

Mauvais sujet Левин, видя, что он уничтожен в прах гордою красавицею, решился выйти из очарованного круга ее. Он снова обращается к Езерской, зовет ее танцевать. Лидия, не чуя ног под собою от радости, идет как будто равнодушно. Левин осыпает ее комплиментами, расточает перед нею язык ласкательства. Ах, зачем кокетство и любовь имеют один лексикон! Зачем первое похитило даже ее немой язык взоров, этот небесный язык, которого тайну должны бы были стеречь ангелы! Но нет; кокетство и личный интерес, согласясь между собою, похитили у двух сестер, которых люди зовут: дружба и любовь, ключ к гиероглифическому языку их, и бедняжки плачут обнявшись, смотря, как листы заветных книг их разносит ветер по рынкам большого света, исковерканные, размалеванные и часто тем самым привлекающие

* Мы будем музицировать *(фр.)*.
** негодяй *(фр.)*.

внимание большей части толпы. Что ж удивительного? Простое и истинное нравится немногим; новое и странное поражает всех.

Теперь Левин не замечает баронессу. Он весь занят Лидиею; черые глаза его следуют за нею всюду; он говорит с нею таинственно и безумолкно, а безумолкно говорит одна любовь и болтливость. Наталья Васильевна знала Левина как любезного человека, но как болтуна... о, нет! У него болтливо только сердце, а впрочем, он бывает даже мрачен; у него столько поэзии в душе! Баронесса смотрит, точно ли не обманывают ее глаза ее? Нет; вот взор, который еще недавно был столько говорлив для нее,— теперь... О, вы согласитесь, что если бы в сердце баронессы и не было ничего особенного для Левина, то и тогда неприятно было бы видеть, что птичка разорвала сеть, в которую попалась, да и еще чтоб запутаться в чужом силке! Баронесса принялась завязывать распускающиеся петельки; но дело не клеилось: решительно, птичка на свободе! Но вот последняя надежда! Генерал подходит к Наталье Васильевне с часами в руках: пора домой! Левин увидит, что она выходит, проводит ее до кареты: это всегда так бывало, и всегда после кареты барона Рейхмана кричат карету Левина. Но его не видно; они сходят с лестницы: в дверях стоят несколько дам. «Карету Езерской!» — Дамы вышли; между головками их на подъезде мелькнуло белое перо и серая шинель. Карета Левина!.. О, это уже слишком! При этом воспоминании Наталья Васильевна вскочила с кресел. Слеза блеснула в глазах ее, слеза досады, если смело прибавить. Эта глупенькая Езерская! Да и Левин! Надобно быть очень глупым, чтоб влюбиться в нее! Стоят ли они того, чтоб ими заниматься? Отчего Наталье Васильевне пришлось думать об них да еще и досадовать! Она отошла от туалета. Серж так добр и, право, мил! Как несносно только, что он начинает храпеть! Надо признаться, что женщины очень несчастливы, а Наталья Васильевна несчастливее всех. О, она очень осердилась бы, если б кто сказал ей противное: такова природа человеческая! Люди, знакомые с несчастием только по слуху, за неимением настоящего отыскивают ложное в своем воображении; и беда, кто будет сомневаться в законности усыновленного дитяти! Истинное несчастие скромно и прячется от взоров света; ложное тоже закутывается покровами, но так, как красавица Востока, которая нимало не гневается, когда нескромный ветер открывает лицо ее взору любопытного европейца.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

К чему же мне души волненье?
К чему мне чувства жар святой?
Козлов

На другой день бывает многое иначе, как вчера.

Это было ясное зимнее утро. Солнце роскошно рассыпало алмазы и золото по снежным пеленам, в которые природа закутывает наш северный край на длинные шесть месяцев. Как сонливая красавица, нехотя открывая свои прекрасные глаза, приподнимается на подушках и, бросят мгновенный взгляд на опущенные шторы и комнату, погруженную в приятный полусумрак, снова засыпает сладким сном, так солнышко в это время года мгновенно является на горизонте, объемлет огненным взором столицу во всем пространстве ее и снова скрывается на долгий покой, оставляя по себе, как бы в утешение бедному жителю севера, полнеба, зажженного разноцветными огнями зари.

Наталья Васильевна подошла к окну. Иней искрился на граните тротуаров, как искрились глаза ее вчера; теперь они томны, и длинные темные ресницы почти совсем закрывают их. Она печально смотрела на живую картину, которая представилась взорам ее. Казалось, мороз, налагая оковы на растительную жизнь, пробуждал новые силы в животном мире. Пешеходы не шли, а летели, как бы мороз приставлял им крылья; покрытые блестящей пудрою извозчики с заиндевелыми бородами неслись во всю прыть, насилу удерживая лошадей, от которых пар валил столбом; пригожий ярославец, в синем чапане и белом фартуке, расхаживал перед лавочкою, приглашая прохожих на горячий сбитень, между тем как легкий пар клубился светлым облаком над самоваром; немного далее биржевые извозчики ходили около лошадей, хлопая рукавицами, или боролись при громком смехе окружающих зрителей. Эта картина жизни не развеселила Наталью Васильевну. Уже не было досады в душе ее, но она уступила место тихой грусти. Неприязненное чувство не застаивается в добром сердце; оно проходит, как весеннее ненастье, исчезающее при первом луче солнышка; но солнышко не всходило для бедной баронессы! Она сознавалась, что потеря Левина тяжела для нее. Напрасно желала бы она разувериться: так она любила его, и сердце ее сделало привычку верить любви его. Но кто знает? Может быть, судьба, отдаляя от нее Левина, предохраняет ее от многих бедствий. Может

быть, все к лучшему. Но неужели никогда не узнать счастия? Мечты, мечты! Ужели никогда не сбываться вам? Ужели никогда не услыхать ей: «Люблю!» из милых уст, не узнать любви поэтической? Она вышла замуж по воле отца; Серж добр, снисходителен, всегда думает об ее удовольствиях; еще сегодня подарил он ей волосяные браслеты, сделанные по заказу и которых давно хотелось ей; но в нем нет поэзии, он не понимает сердца ее!

И неужели любовь *к нему* была бы нарушением ее обязанностей? О, нет! Любовь ее была чиста, свята, как любовь небожителей! Она заключила бы ее в сердце, отказалась бы даже от счастия видеть *его,* лишь бы изредка встречать его на бале, на гулянье, но быть уверенной, что она любима, понимаема; никогда не была бы она преступною, нет: слабая женщина была презрительна в глазах ее, она желала бы только знать, что она любима, видеть его издали, из окна.— Ах!..

Наталья Васильевна в самом деле подошла к окну; и в самом деле увидела Левина. Легкие санки его остановились у подъезда.

Она увидит его? Но нет; он, верно, пройдет к барону...

В зале слышны шаги и громкий смех Коко. «Поди сюда, папа здесь! Поди сюда!» — кричал Коко и тащил за собою Левина, смеясь, что обманул своего Лелю.

Скажите после этого, что нет случая!

Как! В эту самую минуту, когда Наталья Васильевна была расположена так нежно... Вы знаете, что одно и то же происшествие будет иметь различные следствия оттого только, что случится минутою раньше или позже? Это не ново, но истинно.

«Pardon, madame!» — пробормотал Левин с робостью.

Эта робость удивительно как шла к нему!

Черные глаза молодого человека, как бы пожирающие собственное пламя, красноречиво высказывали то, чего не смели произнести уста его.

«Pardon, madame!..», но один взгляд на прекрасную хозяйку показал Левину, что на другой день бывает многое иначе, как вчера.

Нет, ваше превосходительство господин барон! Вы хитрый, но непредусмотрительный политик и не умеете пользоваться открытиями, которые делаете! Вы превосходно понимаете тактику других, а сами плохой тактик! И, право, не худо бы было вам позаняться от наших дедов, которые приголубили вашего прадеда. Они были люди не глупые и в семейных делах смышленые.

И надобно же было, чтоб этот день был именно срочный, когда барон занимался своими сребристыми бакенбардами! Будь он свободен, Наталья Васильевна не имела бы случая говорить с Левиным, и это предупредило бы многое очень неприятное для всех! Но барон был очень занят, и Наталья Васильевна имела время узнать, что холодность Левина, его любовь к Езерской было одно притворство, небольшое мщение; имела время признаться, что это мщение дорого стоило ей.— Ах, барон! Лучше было бы вам иметь несколько поболее седин в черных кудрях ваших!

Но должно, однако же, сказать правду: подобные случаи возобновлялись очень редко. Не знаю, инстинктивная ли предосторожность барона или просто случайность была тому причиною; но Левин часто в отчаянии говаривал Наталье Васильевне: «Никогда невозможно видеть вас одну!» Наталья Васильевна сперва говаривала: «Что нам до того? Лишь бы быть вместе, лишь бы знать, что сердца наши понимают друг друга». Но потом она стала находить, что приятнее было бы, если б сердца могли чаще беседовать о том свободнее; но это было невозможно: Левин и барон были неразлучны. Первый не мог быть у баронессы, чтоб и другой не был тут же. Странная случайность! И Левин оставался Петраркой в воображении Натальи Васильевны, но ни она и никто, надеюсь, не припишут того попечениям барона. О, нет!

УТРЕННИЙ ВИЗИТ

Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!

Пушкин

Il-y a des reproches qui louent et des louanges qui medisent.

*Larochefoucauld**

«Совершенно прекрасно! Удивительное дарование!» — говорил высокий молодой человек в военном мундире, с маленькими быстрыми глазами и ястребиным носом, стоя за стулом учителя пения, который только что перестал аккомпанировать арию из «Пуритан», с чрезвычайною

* Иные упреки звучат как похвала, зато иные похвалы хуже злословия. *Ларошфуко (фр.)* («Максимы», 147, перевод Э. Линецкой).

приятностью пропетую молодою хорошенькою девушкою, румяною, как роза, и с двумя ямочками на полненьких щечках.

Неподалеку от них, на диване, сидела Езерская, довольно полновесная дама, и возле нее другая, обе уже тех лет, когда каждое утро уносит новую красоту и дарит взамену новые, увы! искусственные розы. Последнюю услугу, кажется, она оказывала только гостье госпожи Езерской.

Молодая девушка, окончив последнюю строфу, подошла к матери, которая, обращаясь к сидевшей возле нее даме, сказала:

— Вы желали присутствовать при уроке моей Лидии, княгиня; я исполнила ваше желание. Мы застали ее врасплох. Не правда ли, г-н Бриозо, Лидия пела не приготовясь?

— Я просматривала эту арию еще вчера, maman.

— Но вы поете бесподобно, m-lle Lidie!— отвечала княгиня,— У вас очаровательный, прелестный голос!

— M-lle Lidie обещает нам быть украшением наших концертов любителей,— сказал молодой офицер.

— И какая музыкантша?

— О, очень слабая!— возразила maman,— она еще очень мало училась. Но это правда, что Лидия страстна к музыке и изучает ее как артист. Мы часто ссоримся с нею за это.

— Позвольте взять сторону прекрасной художницы.

— Ах, г-н Готовицкий! Разве для успехов в обществе нужно совершенство? Поверхность идет у нас наряду с глубоким знанием, и полуталанты без больших хлопот приводят в восхищение наши залы. К чему же терять время, здоровье даже, тогда как другие... Но это напрасно! Лидия не хочет слушать, когда я говорю о том!

Жаль только, что maman говорила не совсем правду, и Лидии в подобных случаях слушают очень охотно.

Лидия разбирала ноты.

— О! Таланту нужно собственное сознание в превосходстве,— сказал Готовицкий, бросая взор страстного удивления на артистку.

— Вы даете уроки баронессе Рейхман?— спросила княгиня, которой казались скучными комплименты Готовицкого.— Не правда ли, у нее премиленький soprano.

— Ma oui, madame, très jolie sa voix*,— отвечал итальянец.

---

* Верно, сударыня, у нее очень красивый голос *(фр.)*.

— Баронесса сделала очень много успехов эту зиму,— заметил Готовицкий.— Она часто, всякий день я слышал, поет с господином Левиным; он очень хороший музыкант.

— Ее совсем не видно в свете,— заметила Езерская.— Скажите, отчего это?

— Я вам это объясню. Баронесса милая, прелестная женщина, живого, пламенного характера; она ничего не может любить вполовину. Вы помните, как неутомимо посещала она балы? Не было раута, вечера, обеда, где бы не была баронесса; говорили, что она кокетка; я этому не верю. Но, впрочем, если это и было, то, право, кокетство не портит прекрасной женщины или по крайней мере извинительно ей. Она старалась нравиться мужчинам, бесила женщин, подавала надежды, которые, верно, не исполняла: что же за беда? Зато была мила, насмешлива, прелесть! Теперь она разлюбила общество; зато музыка сделалась ее страстью. По целым дням она сидит за фортепьяно с г-м Левиным. Тут ничего нет дурного. Он каждый день в доме, поет, как соловей, так, что барон, который не любит пения, часто уезжает из дому. Вы знаете, что она чудесная, истинно добрая мать, но музыка выше всего теперь; и Коко, чтоб не мешал, по целым дням запирают в детскую.

Княгиня улыбнулась, закусывая губы.

— Но, г-н Готовицкий, что же можно из этого заключить? Забывать сына, выгонять мужа, оставить свет, и все для того, чтобы петь с господином...

— Левиным, хотите вы сказать? Но это ничего не значит. Левин у них в доме как свой. Он курит трубку в комнате баронессы, катается с нею, не один, конечно, с ними бывает Коко. Баронесса любит его как родного. Я слышал вчера сам, как при выходе из театра она сказала ему: ты. Но это ничего не значит. Знаете, это просто милое, свободное обращение женщины без предрассудков...

— О, слишком без предрассудков!— сказала княгиня.— Нет, мне, право, жаль баронессы; я люблю ее; мы были дружны с... детства почти. Она предобрая женщина. Этот Левин погубил ее.

— Отчего же? В их дружбе нет ничего виновного.

— Совершенно ничего; я очень уверена! Но свет так зол, а она слишком неосторожна: она делает вещи непростительные. Жаль ее!

— Но что же муж?— спросила Езерская.

— Ну что муж, ma chère! Вдвое старее ее! Любовь в очках недалеко видит.

— Если б это было говорено о ком-нибудь другом,— сказал Готовицкий,— я бы заметил вам, mesdames, что у нас, вопреки древним, в повязке ходил Гимен, а не Амур, которого мы сделали и дальновидным, и математиком. Но здесь это не кстати. Баронесса, несмотря на разницу в летах, умела выиграть полную доверенность генерала, и очень справедливо, по чести!

— Но свет судит иначе, г-н Готовицкий. Говорят, что баронесса, пользуясь выгодами, которые дает ей молодость и красота, хотя я не нахожу ее прекрасною, но так говорят, и так, что, пользуясь своими преимуществами, она обманывает барона, легковерного, как все мужья — влюбленные; что она жертвует добрым именем, мнением света... О, я не хочу повторять всего, что говорит молва...

— Говорит уже?— прервала Езерская.

— Или заговорит, это все равно; но мне истинно жаль ее. Она прекрасная женщина!

— Вы знаете, что мы скоро идем?— сказал Готовицкий.

— Куда?

— В лагерь. Назначены маневры.

— А генеральша?

— Переезжает на дачу.

— Странно!— Две дамы обменялись взглядом.

— Но осенью мы похитим у вас баронессу. Она переедет к нам в ....., где стоит наш полк.

— И наши зимние балы лишатся своей прекрасной звезды?— сказала княгиня.

— И Левина,— подумала Лидия.

Этот разговор был на французском языке. Г-н Брпозо, как музыкант и итальянец, без труда понял то, что дополняемо было мимикою и тоном голоса. Получив билет, он поспешил развести по ученикам своим приобретнные им сведения. Дорогою он перевел на обыкновенный язык все, что было бы темно в простом рассказе разговора. Перевод начинается так:

«Как! Вы не знаете? Да это весь город говорит! Бедный барон!» и проч.

Чувствительная княгиня, простясь с Езерской, заехала к кузине, чтоб пожалеть с нею о баронессе, прибавляя: «Бедный Левин! Этот Готовицкий, из мщения за то, что Лидия предпочитает ему поручика, готов всклепать на него бог знает что! Бедная баронесса!»

И вот, благодаря жалостливому сердцу чувствительной княгини, досаде Езерской на Левина за то, что он совсем

почти оставил дом ее, любезности г-на Бриозо, который любил забавлять новостями учеников своих, благодаря особенно ревности Готовицкого, по городу разнеслись слухи, переходили из уст в уста, росли, увеличивались и темною тучею залегли на небосклоне жизни барнессы! Ах, Наталья Васильевна! Что было бы вам не удовольствоваться антипоэтическою любовию вашего барона!..

БРАСЛЕТ

Tous les jeux du hasard n'attirent rien de bon.

*Regnard**

Moi, publier ma honte? quelques laches l'ont fait! c'est le dernier avilissement du siècle.

*Beaumarchais***

Это было в первых числах сентября. На дворе была слякоть; мелкий дождь в продолжение нескольких дней сряду не переставал наводнять улицы города, где квартировал полк Левина, и выводил из терпения молодых дам и офицеров, для которых развод, за неимением балов в это время года, был единственным публичным развлечением. Для первых он был целию приятной утренней прогулки, для вторых — средством пощеголять перед любопытными красавицами лихим конем и ловкостью наездника. Ненастье мешало молотьбе; яровое большею частью было еще в поле в копнах или стояло на гумне в скирдах; цены на хлеб были низки, да и на базары возила его одна нужда. Поэтому помещики не думали еще оставлять деревень, и в городе было довольно пусто. Офицеры отдыхали после маневров и по вечерам собирались между собою потолковать о производстве, о наградах, о новостях, доставляемых «Инвалидом» и молвою, о лошадях, о новопривезенном табаке — словом, обо всем, что занимает праздную лень офицера.

Г-н председатель гражданской палаты, старый холостяк, отменно любимый генералом и офицерами, давал вечер в день именин своих. Было также много и городских:

---

* Азартные игры не сулят ничего хорошего. *Реньяр (фр.).*

** Чтобы я предал огласке мой позор? Правда, некоторые жалкие людишки так именно и поступили, но ведь это последняя степень падения современных нравов. *Бомарше (фр.).* («Преступная мать, или Второй Тартюф», действие 3, явление 9, перевод Н. Любимова)

вице-губернатор, правивший тогда должность губернатора, прокурор, губернский предводитель — словом, весь высший круг, кроме председателя уголовной палаты, с которым, как и с другими членами палаты, хозяин был как-то не в ладу. Он был удивительно беспечный и непредусмотрительный человек; знал городские новости всегда после всех; прищурив маленькие глаза, говорил со всеми запанибрата и носил фрак и прическу, как носили лет тридцать тому назад. Тогда ему было едва ли за двадцать пять, и прекрасная прокурорша так любила его прическу!.. Ах! Ни за что на свете не согласился бы он переменить ее! Моды проходили над нею, не изменяя ни одного волоса, ни одной букли. Поговаривали, будто он скуп; но вечер, который задал он в свои именины, опровергал это несправедливое обвинение, и г-да офицеры могли засвидетельствовать, что он не жалел шампанского. Он сам, с бутылкою в руках, ходил между ломберными столами, наливая в пустые бокалы и убеждая опорожнить полные. На многих столах вист уже кончился и начинали сыгрываться, по неудобности расплачиваться крупною монетою.

Левин и несколько офицеров, также и молодых людей во фраках, окружали ломберный стол в небольшом боковом кабинете, смежном с залою. Они отходили от стола, прохаживались по зале, снова возвращались и снова садились; рвали карты, краснели, бледнели, звенели золотом. Голубоватый дым от трубок покрывал таинственным туманом присутствовавших. Казалось, то были жрецы незнакомых алтарей, совершающие чудные таинства и приводимые в исступление присутствием неведомого божества их. Разговоров было мало; иногда были слышны энергические воззвания к подземным силам и технические, неизвестные профанам слова: пароли пе! плие, куш — мазу и проч. Генерал входил по временам в комнату, останавливался в дверях, подходил к столу, бросал полуимпериал или червонец и отходил. Звук золота, зеленый стол, исписанный мелом, и разорванные карты под столом имели для генерала ту же прелесть, что для г-на председателя его старинная прическа: прелесть воспоминаний молодости с ее бурями, страстями, утратами... Он много утратил, г-н барон фон Рейхман; и если б не Наталья Васильевна, то бог знает, чем отозвались бы эти утраты мятежной молодости! Но генерал давно уже сделался благоразумным, хотя и не мог иногда не предаться прелести воспоминаний...

Вечер оканчивался; большая часть гостей уже разо-

шлись. Генерал с вице-губернатором очень важно разговаривали о чем-то в гостиной, кажется, о славном гнедом рысаке, недавно купленном господином вице-губернатором у откупщика.

Старый, с длинными седыми усами ротмистр председательствовал в таинственном кабинете. Он был главным жрецом и метал банк. Так, кажется, называлось таинство, совершаемое в кабинете. Понтеров было уже немного; самым горячим из них был знакомец наш Готовицкий. Он проигрывался, удвоивал куши и непрестанно изменялся в лице.

— Ва-банк!— сказал он, останавливая ротмистра.

Ротмистр посмотрел на него и продолжал метать. Банкометы умеют, капля по капле, истощать терпение понтеров, медленно опрокидывая карту и вскрывая тихо-тихо темную, так, что понтер успеет испить до дна чашу тревожных волнений ожидания. Старый ротмистр вполне обладал этим искусством.

Раз, два; раз, два — убита! Готовицкий не смутился.

— Double ou quitte*, г-н ротмистр! Отвечаете ли вы?

— Игра не так значительна, г-н поручик, извольте.

Безмолвие царствовало в комнате. Ротмистр стасовал карты, подал снять поручику и хотел метать.

— Остановитесь, ротмистр,— сказал Левин, который во все время не отходил от стола.

— Что это значит, г-н Левин?— спросил, вскочив с места, Готовицкий.

— Пересчитайте карты, ротмистр,— хладнокровно продолжал Левин.

— Г-н Левин! Что вы хотите сказать?— Готовицкий был бледен, как статуя командора в «Дон Жуане».

— Старо, г-н поручик! Надо было выдумать что-нибудь поновее.

Ротмистр считал карты, но Готовицкий бросил в них целую колоду, бывшую у него в руках.

— Вы поплатитесь, г-н Левин!

— Как вам угодно.

— Берегите лучше подарки и репутацию некоторых дам.— Он бросил что-то с бешенством на стол. Левин схватил его со всею силою за руку.

— Господа, господа!— закричали офицеры, бросаясь к ним.

— Мы увидимся!— вскричал Готовицкий и скрылся.

---

* еще раз или в расчете *(фр.)*.

Левин остался, как пораженный громом: на столе, между карт, золота, кусков мелу, лежал тоненький волосяной браслет с замком. В комнате было смятение; кто слушал ротмистра, кто шумел; молодые офицеры собирались разразиться кучею насмешек над бедным браслетом. Левин готовился вызвать на дуэль всех и каждого.

— Honni soit qui mal y pense!* — сказал генерал, подходя к столу и закрывая браслет рукою. Он посмотрел значительно на офицеров, что остановило шутки их.— Вот что значит быть опрометчиву, господа! Ваше деятельное воображение сочиняет уже целые романы по поводу этого браслета, и вы не видите, что г-н Левин забавляется вашими заботами.

Он положил дружески руку на плечо Левина и, улыбаясь, с совершенно непритворною веселостью сказал:

— Может быть, г-ну поручику нравятся некоторые предположения; он хочет, чтоб для него перебрали имена всех городских красавиц, но этого не будет; мы вас обличим. Этот браслет, господа, есть подарок сестры г-на Левина и при мне отдан был, при прощанье, помнится?

Можно посудить, что чувствовал Левин, видя в руках генерала прощальный дар прекрасной Натальи Васильевны! Генерал рассматривал его.

— Прекрасная работа!— сказал он и подавил тихонько пружину замка, неизвестную Левину. Замок открылся. Генерал показал Левину браслет.

— Не правда ли, как хорошо вырезан вензель вашей сестрицы, кажется?

Это был герб барона.

Генерал увлек за собою из кабинета Левина и, оставя его в зале, поспешно вышел.

ЗАПИСКА

Oh, ciel! étourderie funeste!

*Beaumarchais***

Quels desseins emportés...

*Regnard****

Гнев, шампанское, неожиданность происшествия — все волновало кровь Левина. Весь ужас положения баронессы

---

* Да устыдится тот, кто плохо об этом подумает! *(фр.)*

** О небо! О злосчастная оплошность! *Бомарше (фр.).*

*** Какие замыслы рухнули... *Реньяр (фр.).*

представился уму его. Что будет с нею, с этим милым, легкомысленным созданием, ветреным, но любящим, слабым, но преданным? Кто будет посредником между ею и справедливо раздраженным мужем? Счастие ее погибло и навсегда!

Жизнь мужчины двоякая: он семьянин, и вместе с тем на нем лежат гражданские обязанности. Несчастный дома, он может жить внешнею жизнию, еще имеет цель, круг действий, достаточный, чтоб вполне занять душу его. Женщина создана единственно для семейства; круг действий вне его уже чужд ей: она является в нем как в сфере, ей не свойственной. Деятельность ее сосредоточивается в домашней жизни; она принадлежит обществу, как ангел-утешитель земных бедствий, одною благотворительностию. Та, которая захотела бы искать своего счастия вне круга, ей назначенного, рано или поздно узнала бы, что преследует блуждающие огни, завлекающие странника в места непроходимые. Первое основание ее домашнего благополучия есть любовь супруга; потому что, не станем обманываться, власть находится в руках мужчины; он не пренебрегает правом сильного, который охотнее дает законы, чем принимает их, и нередко позволяет себе многое несообразное с понятиями о равенстве, о котором так часто толкуют нам. Бывает и наоборот, знаю я: супружество есть непрестанная война, в которой превосходство ума или сила характера удерживают за собою победу. Но как мужчины имеют на своей стороне присвоенные или принадлежащие им искони права, не стану этого разбирать, то естественнее предполагать, что зависимость большею частию достается женщинам. Если же тот, кто имеет власть, не имеет любви, какое употребление сделает он из нее! Ответ нетруден. Вот почему женщина, которая теряет любовь свого супруга, если б и сама не любила его, есть существо несчастнейшее в мире.

Нам естественно любить тех, которые нас любят; еще свойственнее, по самолюбию нашему, ненавидеть, кто, вопреки обязанности своей, не любит нас. Обстоятельства, в которых находилась Наталья Васильевна, были таковы, что мудрено было бы надеяться разуверить барона в истинных чувствованиях жены его. Конечно, в наши времена мужья не убивают за неверность жен, не заключают их в подземелья, не посылают в монастыри, ни даже в деревни, не прибегают к несколько жестким средствам наших праотцов; но лучше ли оттого будет участь Натальи Васильевны, которая потеряла все права на любовь мужа

и осуждена, может быть, провести всю жизнь обремененною презрением его, справедливою недоверчивостию, и в каждом слове его, даже не к ней относящемся, видеть тайный упрек или намек на прошедшее? Ужасная мысль! Долгая, мучительная пытка целой жизни!

И все это вдруг представилось уму Левина! Он не думал, что может иметь дуэль с мужем, что может быть убитым или убить его и что этот муж есть начальник его; он видел одну баронессу, робкую, слабую, без сил против угрожающей ей бури; обвинял себя в несчастии ее... Но как могло случиться это несчастие? Как попался к Готовицкому браслет? Этого он не мог понять. Одно было ясно для него, что Готовицкий был виною всего бедствия: наказать его было единственным желанием его. Он решился зайти к нему в ту же минуту, чтоб назначить час, место, но Готовицкий еще не возвращался. Левин, как и прежде случалось то, вошел в кабинет его и на первом попавшемся лоскутке бумаги написал:

«Взаимное оскорбление наше может омыться только кровью. Место, оружие в вашей воле; время — шесть часов».

Он оставил записку на столе и ушел.

Прохладный воздух ночи несколько успокоил волнение Левина. Соображая обстоятельства, он понял, каким образом браслет очутился в руках Готовицкого.

С давнего времени Готовицкий, ненавидевший, как известно, Левина, старался всячески вредить ему. Он распускал под рукою разные слухи, но они не доходили до своей цели, до генерала; клеветал, друзья смеялись с Левиным над клеветником; старался поссорить его с приятелями и прослыл в городе сплетником. Готовицкий рвался от досады, бесился, тем более что Левин не показывал никакого внимания к усилиям его злобы и даже не переменил с ним обращения, как наконец неосторожность Левина доставила Готовицкому случай, которого он давно желал.

В день именин старинного обожателя прекрасной прокурорши Готовицкий приехал утром к Левину и застал его еще в постели. На письменном столе его в беспорядке лежали бумаги, часы, перчатки, последний роман Поль-де-Кока, том Де Жерондо о нравственном усовершенствовании, лорнет, головная щетка, музыкальный альбом и посреди всего этого волосяной браслет. Внезапная мысль блеснула в голове Готовицкого: схватить браслет и спрятать его в боковой карман было делом одной минуты. Он подошел к Левину, стыдил его за леность, торопил оде-

ваться, рассказывал кучу анекдотов; между тем Левин одевался и хохотал от всей души. Но вот он готов. Готовицкий не дает ему, как говорится, времени образумиться, увлекает его с собою, и Левин мчится по городу, совершенно забыв о браслете. Он пробыл целый день у генерала, где было много офицеров, и только под вечер, почувствовав что-то неловкое на руке, вспомнил, что накануне, возвратясь поздно домой, он нечаянно второпях расстегнул браслет, поленился надеть его и, положа на стол, бросился в постель. Но что ж за беда?— Конечно, он обещал никогда не снимать его, этого заветного талисмана, врученного любовию в память последних обетов; но как узнает об этом мечтательница?

Вы дивитесь, не верите? В самом деле странно, непростительно! Как забыть прощальный дар, да еще и говорить: как узнает? Где же религиозное чувство любви, где святость обетов? Стало быть, он не любит, не любил никогда Натальи Васильевны?

Э, нет! Он любил и любит, как любят и все. В первые дни разлуки он не забыл бы так заветного браслета; но время удивительно как охлаждает воображение, а ему безошибочно можно приписать все, что любовь имеет восторженного. Без крыльев воображения она была бы чувство простое, невзыскательное; ходила бы по земле, не взбираясь на небеса, и, может быть, супружества оттого не были бы несчастливее. Чем больше мечтательности, тем меньше истины. Можно забыть на столике браслет и любить искренно. Но этому не поверила бы Наталья Васильевна. Любовь есть главное дело в жизни женщины; воображение ее превращает ее в исполина, который владычествует над всем существом ее. Для мужчины — она дитя, которое он любит, лелеет, о котором заботится со всею возможною нежностью; но которое не помешает ему искать развлечений и жить вне круга его. Такова была любовь Левина: он не был фанатиком в любви; но теперь, когда несчастие угрожало женщине, вверившей ему сердце свое, он готов был собственною жизнию искупить ее спокойствие. Барон спас доброе имя ее, но этого было недовольно: надобно было представить его чистым в собственных глазах барона. Но как? Что сказать? Как опровергнуть свидетельство этого герба, этой пружины, о которой не знала или забыла ему сказать баронесса? Неосторожная, отдала ему в минуту разлуки браслет, подаренный ей мужем и сделанный на заказ по воле его. Как уверить барона, что она не так виновна, как он мог предполагать? Он решился говорить с

генералом; но уже начинает светать, заря занимается. Готовицкий должен скоро прийти; прежде чем увидится с ним, Левин напишет к генералу; секундант его будет иметь поручение, в случае смерти его, доставить письмо по адресу; если же он останется жив, то объяснится сам с генералом. Он сел к письменному столу, солнышко показалось на краю неба, и луч его проник в комнату Левина. Он положил перо: мысль, что, может быть, это было последнее утро его жизни, молодой и едва развившейся, невольно овладела им... В эту минуту дверь в комнату его отворилась...

АРЕСТ

L'homme prompt à se venger n'attend que le moment de faire du mal.

*Bacon**

La plus douce vengeance, est un bienfait.

*Boiste***

— А, кстати! Мне нужно было видеть тебя, Владиславский,— сказал Левин вошедшему офицеру.

Это был друг его, полковой адъютант. Он казался встревоженным.

— Ты должен был драться с Готовицким, Левин?

— Ну да!

— И ты писал к нему?

— Что ж из этого?

Владиславский ударил себя рукою в лоб, произнося энергическое проклятие.

— Но он не сделает этого!— прибавил он, помолчав.

— Да что же это все значит?

— Это значит, что таких записок не пишут; что ты поступил как мальчик пятнадцати лет; что Готовицкий подлец и что вызов твой в руках генерала. Понимаешь ли теперь!

Левин стоял, смотря на него во все глаза; но изумление его было непродолжительно.

— Пускай будет, что должно быть,— сказал он, садясь на диван с наружным спокойствием.

---

* Человек, способный отомстить за себя, ждет только удобного для мести случая. *Бэкон (фр.)*

** Самая сладкая месть — это благодеяние. *Буат (фр.)*

— Но я говорю тебе, что он этого не сделает! Клянусь богом, не сделает!

— Кто? Генерал?

— Конечно; он горяч, но добр; вспыльчив, но великодушен.

— Да пускай меня судят! Я не хочу великодушия с его стороны. Я поступил опрометчиво, написавши записку; но дело сделано.

— Левин! — сказал Владиславский, остановясь перед ним и как бы пораженный внезапной мыслию.— Ты сомневаешься в генерале!.. Ужели...

— Что ты хочешь сказать?

— Есть тайны, которые должны оставаться тайнами и для дружбы. Я никогда не спрашивал тебя, Левин; но теперь... скажи, ужели слухи...

— Мщение не всегда разборчиво в средствах, Владиславский.

Владиславский ходил скорыми шагами по комнате.

— Ты писал?

— К генералу.

— Хочешь ли, я доставлю письмо твое?

— Я сам увижу генерала.

— Невозможно, ты под арестом.

— А! Что ж далее?

— Готовицкий получил приказание идти в отставку.

— И он сам подал записку генералу?

— Чего же ты ждал от подлеца? Генерал позвал его к себе сегодня утром. Он был взбешен и встал на заре. Готовицкий, кажется, уже ожидал этого и вместе с просьбою об отставке подал твою записку. Генерал прочитал ее. Лицо его не изменилось; я смотрел на него пристально. «Вы исполнили вашу обязанность, г-н Готовицкий, открывши начальнику противузаконный поступок,— сказал он,— но вы понимаете, что после этого ни один офицер не захочет встретиться с вами». Он оборотился к нему спиною и вышел.

— И это почти накануне отъезда моего в Петербург! И нет средства наказать этого подлеца! Но он не уйдет от меня! Что? Меня пошлют в крепость, разжалуют? Но не навек же! Я отыщу его!

— Надобно это уладить, Александр. Между офицерами начался разговор; они советовались между собою.

Прошло несколько дней. Генерал, казалось, совсем забыл об Левине. Ученья, смотры, вечера — все шло своим порядком. Левин терял терпение. Раз утром он сидел в

длинных креслах, с трубкою в руках и следуя взором за голубоватою струею дыма, которая, расходясь легким облаком, неприметно исчезала в воздухе. Мысль его была далеко; он думал о робком, неспособном перенести домашние бури характере баронессы, о средствах переговорить с генералом; собственная участь беспокоила его; вдруг его позвали к генералу.

Не равнодушно вошел он в кабинет, где привык работать каждый день, где бывал как у себя. Генерал стоял посреди комнаты, опираясь рукою на стол. Несмотря на притворное спокойствие, на лице его видны были следы душевного волнения.

— Вы желали иметь отпуск, г-н Левин. Вот он,— сказал генерал, подавая Левину бумагу.— И вот еще вещи, которые я должен вам отдать. Вот ваша записка к негодяю, а это...— прибавил он, подавая браслет.

— Генерал! Я должен...

— Я не имею нужды ничего знать, г-н Левин. Возьмите этот браслет; я предоставляю сердцу вашему внушить вам, что вы должны делать.— И, не дав Левину времени отвечать, он вышел в залу, где его ожидало общество офицеров.

Несколько минут стоял Левин, как пораженный громом. Генерал не оставлял ему средства оправдать баронессу. Он поступил с ним великодушно; но чего должна ожидать она? В эту минуту генерал вошел в кабинет в сопровождении многих офицеров, весело разговаривая с ними.

— Господа,— сказал он,— г-н Левин изменяет нашим красавицам: он едет в Петербург. Постарайтесь, чтоб они, если можно, не заметили отсутствия любимого их дансёра. Вы сегодня же едете, г-н Левин? Не правда ли? Счастливый путь, г-н поручик, счастливый путь!

СВИДАНИЕ

Минута сладкого свиданья!
И для меня настала ты!

Пушкин

Но ты и взором, и речами
Наводишь ужас на меня?
. . . .
Какая тайна между нами?

Козлов

Известно, что в Петербурге сентябрь часто вознаграждает за лето, которым на севере иногда пользуются в од-

ном воображении. Несмотря на это, обитатели островов оставляли уже веселые дачи свои, и по Неве, Фонтанке, Мойке тянулись барки, нагруженные мебелью всякого рода и представлявшие смесь предметов, кажется, дивившихся взаимному положению своему. Там цветочные горшки стояли на столах, взгроможденных на диваны; там кресла прятались под ширмами, на которых лежали тюфяки и подушки; там лавровое дерево возвышалось между картонами с шляпками и поваренные кастрюли красной меди светились возле мраморной головки Венеры. Там на атласном табурете сидела чопорная кухарка, разговаривая с лакеем в синем сюртуке. Все это возвещало конечное запустение островов, которых временные гости, как перелетные стада диких гусей, постоянно направляющих в это время года путь свой на теплый юг, переселяются мало-помалу в город. Наталья Васильевна также оставила дачу, на которой провела все лето, и знакомые собирались к ней между обедом и вечером на так называемые les avant-soirées в собственный дом ее на Фонтанке.

В один вечер небольшое общество собралось в кабинете ее; говорили о новом балете, о будущих балах; разговор был оживлен; вдруг доложили о приезде Левина.

Наталья Васильевна едва могла удержать радостное восклицание.

— Ах! Г-н Левин, мы совсем не рады вашему приезду,— сказала молодая дама, сидевшая возле хозяйки.

— Но это совсем не обязательно,— возразил он.

— Что же делать! Ведь вы приехали не для нас, а за баронессою. Вы хотите похитить ее у нас?

— Очень желал бы. Кто же не эгоист на этом свете?— Генерал препоручил мне отдать вам это письмо, баронесса!— сказал он, подавая довольно большой пакет и с намерением обращая внимание на знакомую ей печать.

Наталья Васильевна поняла, но встревожилась. Для чего было Левину писать к ней?

— Муж мой здоров, г-н Левин, не правда ли? Я только это и желаю знать; эти депеши можно прочесть и после.— Она положила пакет на этажерку. Разлука еще более украсила Наталью Васильевну в глазах Левина; никогда не находил он ее так прекрасною.

Он, казалось, по-прежнему был весел, любезен; но взоры любви дальновидны. Баронесса с беспокойством заметила скрытную грусть Левина и с нетерпением ждала минуты, когда останется с ним одна.— Кто-то из гостей заметил, что пора сжалиться над хозяйкою, которая, верно,

горит нетерпением узнать содержание письма. Наталья Васильевна отдохнула. Но Левин взял шляпу и откланялся.

— Я надеялась...— сказала Наталья Васильевна, совершенно потерявшись; но серьезный вид Левина привел ее в себя.— Я надеюсь, что завтра мы увидимся, г-н Левин; вы должны мне подробно описать вашу провинциальную жизнь.

— Я буду для вас дневною запискою генерала, баронесса,— отвечал он откланиваясь.

Она осталась одна. Рука ее затрепетала, хватаясь за пакет. Для чего он не захотел остаться? К чему эта излишняя предосторожность? Для чего пишет он? Что это все значит? О, как немного надобно, чтобы встревожить сердце, когда одна любовь убаюкивает его опасения! Никакие софизмы не заставят молчать совесть, этого верного мстителя нравов. Он засыпает, но и во сне все брюзжит потихоньку.

Знакомый браслет упал из распечатанного пакета на колени Натальи Васильевны.

РЕШИМОСТЬ

> La faiblesse prend souvent des résolutions plus violentes, que l'emportement.
>
> *M-me de Genlis**

> L'amant rit dans ses songes, il pleure à son réveil.
>
> *Pythagore***

Прошло несколько дней; кабинет Натальи Васильевны освещен слабо одною лампою, которой свет, проходя чрез матовый хрустальный колпак, распространяет по комнате неверное сияние. Огонек, треща и вспыхивая по временам в камине, бросает яркие отблески на мраморные кариатиды, поддерживающие фронтон, на котором пляшут амуры с бабочками, и на золоченые мебели орехового дерева, напоминающие грубою отделкою своею век Елизаветы.

Наталья Васильевна сидела, или почти лежала, в высоких креслах перед столом, на котором лежало открытое

---

* Слабость зачастую поступает решительней, чем вспыльчивость. *Мадам де Жанлис (фр.)*

** Любящий смеется во сне и плачет, пробудившись. *Пифагор (фр.)*

письмо. Закинутая назад голова ее, бледное лицо, опущенные руки, положение всего тела показывали совершенное нравственное уничтожение. Это была обреченная жертва страдания, ожидающая последнего удара не с покорностию христианина, не с твердостию философа, но с немым отчаяньем человека, не имеющего ни силы, ни воли. Вдруг лицо ее покрылось краскою. Она приподняла голову и, взяв письмо, пробежала в сотый раз окончание его.

«Что мы должны делать, Natalie? Покориться ли жребию нашему и следовать совету благоразумия или, не внимая ничему, кроме любви... Милая души моей! Я не смею говорить более! Да внушит тебе благородное сердце твое... Жертва велика... я жду твоего решения».

— Что хочет он сказать? О какой жертве?.. Должно ли отказаться от любви или от света для любви? Но вот уже четыре дня, а его нет! Я ничего не знаю о нем. Нет! Он никогда не любил меня!..

Как, и этот голос, так нежно, так упоительно говоривший мне: «Люблю!» — этот голос обманывал меня?

Когда здесь, на этом самом месте, я слышала слова любви, читала страсть в глазах его, и это все был обман?

Невозможно, невозможно! Сердце не может так притворствовать! Ужели ничто не обличило бы обмана?.. Александр обманывал? О, нет! нет! скорее обманет жизнь! Но что же медлит он!

Покориться жребию!.. Но этот жребий?.. Оскорбленный муж, раздраженный или холодно презирающий... Кто уверит его, что любовь моя чиста, невинна? Но и самая эта любовь, не есть ли она уже преступление? Как перенести упрек его, как встретить взор его?

Ужасно целый век притворствовать, обманывать человека, которого уважаешь в душе, трепетать каждую минуту, боясь, чтоб взор его не проник в тайну, долженствующую отравить жизнь его; но предстать пред него виновною и без оправдания! Переносить ежедневно упрекающий взор его, краснеть при малейшем намеке, трепетать при имени женщины, известной в свете своими слабостями, зная, что есть человек, который все, что скажут об ней, отнесет ко мне, который понимает страдания мои, что взор его ищет следов этого страдания на лице моем, что мщение его наслаждается ими.— О нет, нет! Это невыносимо! Это страдания ада! О, лучше смерть...

Но разве нельзя умереть для него, для общества, для целого мира?.. А, это лучше!— Она упала в кресла; лицо

ее прояснилось внезапной радостью; но радостью такой, как была бы радость человека, которому тайный друг подал бы кинжал в глубину темницы в минуту, когда он должен был идти на эшафот, обремененный презрением народа, нетерпеливо ожидающего жертвы своего любопытства.

— Но Коко? — сказала она, как бы опомнясь.

— Одеваться, одеваться, Анюта!

ЕЩЕ БАЛ

Беги со мной,
и страх мой исчезает.
Козлов

. . . . Qu'un rêve
Commencé dans l'ivresse, avec terreur
s'achève.
*Victor Hugo**

Музыка гремела в великолепной зале; наряды дам спорили в блеске с их красотою; танцующие, сидя попарно, образовали пестрый круг посреди залы; танцевали мазурку. Наблюдатель заметил бы без большого труда одну пару, сидевшую несколько поодаль от других: это была молодая дама, которой наряд отличался простотою и изяществом вкуса. Ни один брильянт не оспаривал блеску ее прекрасных черных глаз, оживленных необыкновенным огнем; цвет лица ее был слишком жив и переменчив, чтоб можно было то приписать единственному удовольствию танцев. Молодой офицер, с которым она танцевала, казался несколько смешанным и столько был занят разговором, что, когда дамы выбирали его, он путал фигуры, говорил невпопад, что скоро было замечено, и красавицы, как бы условясь, наперерыв одна перед другою, вызывали его на средину залы, так что разговор замечательной пары прерывался непрестанно.

— Да, Александр, единственно для тебя приехала я сюда, к этой Езерской, — говорила дама. — Я была уверена, что найду тебя здесь. Мне надо было видеть тебя; ты не хотел быть у меня.

— Г-н Левин! Гюльнара или Медора, — сказал высокий гусар, подводя к Левину двух дам. Левин полетел по зале с Гюльнарою.

* ...Пьянившие вначале,
Последние мечты лишь ужас означали.
Виктор Гюго (фр.) («Два острова», перевод П. Антокольского)

— Послушай, Александр! Здесь должна решиться участь моя. Я не могу видеть барона; одно воспоминание об этом свидании ужасает меня.

— Но что мы можем предпринять? Бога ради, успокойся; нас заметят.

— Что мне до того! О, ты знаешь, я не дорожу светом. Не его презрение ужасает меня.

— Г-н Левин! Вас избирают в confident*.— Фигура кончилась.

— Ты знаешь, Александр, что вся жизнь моя, все бытие мое принадлежит тебе.

— Завтра, бога ради завтра! Я буду у тебя!

— О нет! Теперь! Неизвестность мучительнее всего.

В это время хорошенькая головка молоденькой девушки наклонилась к нему, и тихий голосок Езерской шепнул: «Переменчивость».

Надобно было отправляться по зале искать переменчивости между красавицами.

Он снова возле своей дамы.

— Скажи мне, Александр, но искренно, по совести; послушай, дело идет о целой жизни.

— Обманывал ли я когда-нибудь?

— Настала минута испытания. Скажи мне, любишь ли ты меня? Можешь ли пожертвовать мне жизнию, планами, надеждами?

— Что ты хочешь сказать?

— Ты знаешь, что я богата, могу располагать значительным капиталом.

— К чему это?

— Хочешь ли следовать за мною за границу?

— Возможно ли?

— Почему же? Там меня не знают; там скроюсь я от взоров, которые с жадностью стали бы здесь наслаждаться моим несчастием, моим стыдом. Поедем! В развалинах Рима, в горах Швейцарии или в лабиринте обширного Лондона я скроюсь, неизвестная, забытая...

— Но...

— Я не приневоливаю тебя разделять мою безвестность, мое уединение; нет, будь в свете, в обществе, и возвращайся ко мне, когда сердце твое будет иметь нужду в друге.

— А Коко?

— Я вижу только образ раздраженного мужа, мой стыд и вечную разлуку с тобою.

* доверенный *(фр.)*.

— Но Коко?

— О, ты жесток, Александр!

В это время в руке его очутилась червонная дама. Молодой франт в прозрачных чулках подошел к Наталье Васильевне с трефовым королем, и все понеслись.

Надобно признаться, что мазурка не совсем удобна для объяснений.

— Выслушай меня, Natalie! — сказал Левин, возвращаясь на свое место.— Любовь есть счастие жизни; она — мое благо, моя отрада; ей готов я жертвовать связями, честолюбием, обществом, жизнию, если нужно. Но есть нечто выше любви — честь!

— Я не думала этого, я не говорила этого, когда отдавала тебе сердце! — говорила она с раздирающим душу отчаяньем и закрывая лицо платком, как будто бы желая навеять на него прохладный ветерок.

— Должен ли я забыть великодушный поступок твоего мужа? — продолжал Александр,— сделать баснею города имя его и отвечать черною неблагодарностию на доверенность, с которою он отпустил меня?

Наталья Васильевна тяжело дышала, скрывая страдания души, изнемогавшей под бременем их, под веселою улыбкою, с которою смотрела вокруг себя.

— Должен ли тебя за любовь твою, за преданность повергнуть в бездну несчастий, отнять у сына мать и покрыть стыдом женщину, вверившую мне судьбу свою? Есть жизнь сердца, милый друг; но есть и жизнь общественная: и та и другая требуют жертв...

— Довольно, Александр... Мы можем кончить,— сказала она и в ту же минуту скрылась в рядах зрителей, окружавших танцующих. Левин последовал за нею, но ее уже не было.

МУЖ

On ne perd qu'une fois la vie et la confiance.
*P. Syrus**

O Dieu, aye pitié de moi selon ta miséricorde!
*Les Pseaumes***

С душою растерзанною вбежала в кабинет свой баронесса, бледная как смерть, и первый предмет, представившийся взорам ее, был — муж.

* Жизнь и доверие теряют лишь однажды. *П. Сирюс*

** О боже, пощади меня по милосердию твоему! *Псалмы (фр.)*

Она остановилась на одном месте как окаменелая; это не была Ниоба: там есть страдание, а здесь была холодная неподвижность смерти, но смерти, застигнувшей жертву свою в минуту высочайшего бедствия, возможного на земле.

Барон подошел к ней свободно и с видом совершенно непринужденным.

— Ты не ожидала меня, Наташа?

— Нет... и... я рада.

— О, я не сомневаюсь; это приятный сюрприз, не правда ли?

— Конечно!

— Ты еще похорошела, Наташа! Право. Какой наряд! Я очень рад, что ты не оставляешь света и ищешь развлечения.

— О, если б я знала, что ты будешь...

— Хорошо, что не знала; я не хочу, совершенно не хочу мешать твоим удовольствиям. Ты должна быть свободна во всем!

Наталья Васильевна упала в кресла, не имея более сил выносить страдания душевного. Ничего не замечая, барон поместился на диване, против нее; рассказывал о своем путешествии, о маневрах, о жизни своей в ....., расспрашивал о знакомых; принесли ужин; он приглашал Наталью Васильевну отведать его походный пир, как говорил он, шутя и смеясь, как будто все было по-прежнему.

Ужин окончен. Генерал встал.

— Да! Я забыл тебя спросить, Наташа!— сказал он, остановясь перед женою с видом притворного равнодушия.— Я желал бы знать, где проведешь ты зиму?

— Где... хочешь ты.

— Нет; ты свободна в выборе. Но я возьму с собою Коко.

— О, и меня!— вскричала Наталья Васильевна; в голосе ее слышалось сердце матери.

— Как ты хочешь! Человек! Постель мне в моем кабинете! Вот видите, Наталья Васильевна: вы всегда будете свободны во всем, что касается до вас. Хотите ли остаться здесь или провести зиму со мною, что, мимоходом замечу, было бы благоразумнее для прекращения некоторых слухов; угодно ли вам ехать за границу или в деревни ваши, я вам ни в чем не буду прекословить. Я предоставляю себе только право располагать участию моего Константина и уверенность, что он останется единственным преемником моего имени. Добрая ночь, баронесса!

И он вышел . . . .
. . . .

Наталья Васильевна провела зиму с мужем. Теперь она в южной Франции, куда поехала с своею теткою по совету докторов. Коко в солдатской шинели марширует по зале с генералом. Левин во фраке; он не возвращался более в полк. Недавно была помолвка его с Езерскою. Готовицкий — но Готовицкие не стоят, чтоб занимались судьбою их.

Прошло несколько дней, и никто не думал сдержать слово, данное Наталье Дмитриевне. То находились отговорки, то приносили повесть, только что показавшуюся в свет; потом Наталья Дмитриевна занемогла; время уходило, и мы все ждали повестей. В одно воскресенье мне вздумалось идти к обедне в церковь Ботанического сада. Там я нашла мою старушку, ее прекрасную Любиньку и Вельского. После обедни, пройдя чрез садовую калитку в сад, мы пошли по дорожке, ведущей к оранжереям. Утро было прекрасное; по обеим сторонам дорожки пышные далии горделиво поднимали роскошные цветы свои; резеда, горошек и другие душистые растения, согретые солнечными лучами, наполняли воздух ароматами, как бы приветствуя прекрасный день. Наталья Дмитриевна была очень весела. «Запах цветов,— сказала она нам,— казался мне всегда эмблемою признательностий; это фимиам, который приносят они солнцу в благодарность за благотворные лучи его».— В это время мы встретили Горского с двумя дамами, которые, не застав дома Натальи Дмитриевны и зная обыкновенное место прогулок ее, пришли также в сад. Мы сделали все вместе довольно большой круг и снова очутились перед воротами, ведущими на набережную. Вид реки, осыпаемой в эту минуту золотом солнечных лучей, заставил нас оставить сад, чтоб полюбоваться с берега разнообразною картиною противоположной стороны и светлым течением реки, обгибающей остров. Мы сели на скамьях, поставленных за зеленою стеною из акаций, под тенью лип. Любинька подошла к самому берегу и, обрывая листки с ветки, которую держала в руках, слушала Вельского, который также, кажется, терзал в руках бедную акацию. Жар принудил молодую девушку снять соломенную шляпу, которая закрывала личико ее, и нарумянил и без того всегда розовые щечки ее. Китайские глазки ее горели, как два алмаза; простой, но изысканный наряд,

украшенный букетом свежих цветов, возвышал стройность стана ее. Все в ней дышало тем кокетством, которое не только извинительно, но и необходимо в женщине, рожденной, чтоб нравиться. Горский долго смотрел на нее задумчиво.

— Я сердита на вас, Горский,— сказала Наталья Дмитриевна,— так ли добрые люди держат данное обещание? Что наши повести?

— Я сейчас думал об них.

— Смотря на церковь св. Сампсония, которая сделалась предметом любопытства с тех пор, как г-н Лажечников подарил нас прекрасным романом своим?

— Нет; я смотрел на Любовь Ивановну. Она очень хороша!

— Жаль только, что пригожество не есть порука за счастие.

— Но и недостаток в нем не радость женщине.

— Безобразие особенно неприятно для женщин известных лет. То есть под тридцать,— заметила одна из дам, давно переступившая за этот возраст, но сохранившая много остатков красоты.— Молодость часто заменяет красоту, но в эти годы... Безобразие отнимает у нас возможность наслаждаться удовольствиями и преимуществами молодости, а лета не позволяют еще пользоваться свободою обращения, которая для старых заменяет молодость, открывая свободное поле их любезности, снова собирающей около них кружок ласкателей.

— Нет; я знал молодую женщину, которая признавалась мне, что главное несчастие жизни ее составляло безобразие. Она была умна, чувствительна; друзья находили ее любезною, и она была несчастлива.

— До вечера, любезный Горский; вечером вы расскажите нам ее историю.

— Но ее история проста и незанимательна; это повесть страданий больного сердца.

— И вы нам ее расскажете?

— С удовольствием; тем более, что жалобы и страдания женщины, обиженной природою, будут новы для всех вас, mesdames.

— Г-н Горский хочет подкупить нас,— сказала пожилая дама.

Вечером, когда все собрались около столика, Горский начал.

МЕДАЛЬОН

Chacun de vous peut-être, en son coeur solitaire
Sous des ris passagers étouffe un long regret;
Hélas! nous souffrons tous ensemble sur la terre
Et nous souffrons tous en secret.

*Victor Hugo**

Любовь? Но я в любви нашел одну мечту;
Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья;
И невозвратное надежд уничтоженье!

Жуковский

Давно уже в петербургских обществах вошло в обыкновение жаловаться на климат. Страдает ли кто мигренем, спазмами, припадками честолюбия или капризами; получил ли кто наследственную слабость груди, или неугомонная подагра, эта чувственная совесть, требует расплаты за грехи молодости; кружится ль голова от долгов, или время шепчет на ухо красавице: «Пора бы, уж за тридцать!» — во всем виноват климат, несносный северный климат, где дышишь сыростью, где пахнет льдом! Доктора на него складывают свои неудачи, женщины капризы, мужчины причуды скучающей лени. Зато посмотрите-ка весною на Английскую набережную: улица заперта экипажами, целые семейства спешат на пароходы, черный дым клубится, Нева кипит и несет детей своих к Кронштадту, где передает их седому старику, принимающему дружелюбно на влажный хребет свой странников, чтоб перенесть их на чуждые берега, откуда они возвратятся если не с цветущим здоровьем, то, верно, уже с кучею воспоминаний и еще с большим предубеждением против нашего севера.

С другой стороны караваны эмигрантов тянутся по дорогам во внутренние губернии. Счастливый путь! Хозяйство, мелкая народная промышленность, кругообращение идей и зимние столичные балы от того выигрывают. Кто занят службою, у кого нет деревень в Пензенской или Орловской губерниях, кого страшат прогоны или не выпускают заимодавцы, тот едет на дачу, живет в Рыбацкой, в Тосне, и таким образом населяются окрестности столицы. Но выехать куда-нибудь весною есть необходимость. Нельзя

* Звучит ваш смех опять, но чудится: рыданья,
Что рвутся из груди, скрывает этот смех;
Увы! у всех у нас один удел — страданье,
И — втайне ото всех.

Виктор Гюго (фр.) (перевод В. Андреева)

сознаться, что прожил лето в городе, не прибавя по крайней мере: «Да! Но всякий день на островах! Там отдыхаешь!»

В прошедшем году и я по приказанию доктора должен был выехать из Петербурга. Богатая тетушка в Симбирской губернии давно с нетерпением ожидала меня. Мне нужно было поправить здоровье и... мало ли еще что? Не все же сказывается.— Я воспользовался приглашением тетушки и провел все лето в Симбирской деревне и, право, в душе моей благословлял и докторов, и моду на эмиграции. Есть и в России, в широких равнинах ее, деревни, которые можно почесть раем. Я не скажу, чтоб та, в которой поселился я, принадлежала к числу их; однако местоположение ее приятно, почва плодоносна, луга зелены, и для любителей природы она говорлива и в этих простых, однообразных, как жизнь поселянина, картинах. По целым дням прохаживал я с ружьем и верным Кортесом по крутому берегу Суры. Но часто охота бывала только предлогом: под тенью ветвистой ивы, Кортес в ногах, ружье по сторону, охотничья сумка по другую, с книгою в руках, и совсем не думая о ней, проводил я целые часы, следуя взором за течением реки. Было одно место, которое я особенно любил, не знаю, по воспоминаниям ли, пробуждаемым им в душе моей, или потому, что оно действительно было приятно. Крутой берег, покрытый лесом и по местам зеленым лугом, то понижаясь, то возвышаясь, образовывал веселые холмы, перерезываемые земляными оврагами, которых разноцветные слои приятно смешивались для взора с яркою зеленью шиповника, боярышника и других кустарников, служивших им опушкою. На вершине одного из прибрежных холмов находилась небольшая скамья, искусно сделанная из березы, не очищенной от коры своей. Место это принадлежало одному из зажиточных помещиков округа и было любимою целью прогулок и местом отдохновения особ, которых повесть оно напоминало мне.

Густая липовая роща, одна из тех заповедных рощ, которые сохраняются помещиками в память дедов, насадивших их, простиралась отсюда на довольно далекое расстояние; тщательно подобранный валежник, отдаленность от пажитей и засеянные поля, к ней примыкавшие, сохраняли чистоту и свежесть луга, который зеленым ковром расстилался под липами. Противоположный берег, сходя к реке неприметным скатом, покрытым желтым песком, отделялся мелким березовым перелеском от полей, покры-

тых нивами, которых сизые волны колебались тихо от дыхания ветра. Здесь часто в жаркий полдень отдыхал я под сводом лип, защищаемый ими от палящего солнца. Надо мною раздавалась громкая песнь жаворонка, взвивающегося в вышину; кузнечик чиркал под широким листом буковины; тысячи пчел жужжали, впиваясь в душистые цветы липы; голубое небо богатым эмалевым шатром висело надо мною. Я перебегал в памяти протекшее, вызывал образы друзей моих; но чаще всего мысль моя останавливалась на происшествии, которого это место было свидетелем.

Лет десять тому назад, может быть также в жаркий полдень, на этой самой скамье сидела молодая девушка с темными локонами, вьющимися около личика ее истинно прекрасного. Художник, баловень итальянской природы, не колеблясь, взял бы в образец прекрасные формы тела ее; черты ее были правильны; глаза, полузакрытые длинными ресницами, ревниво скрывавшими блестящую влагу, придававшую им очаровательную прелесть, горели уже огнем развивающихся страстей, тогда как откровенная улыбка детства еще по временам являлась на розовых устах, которые, однако ж, чаще выражали одну холодную надменность. Она отличалась красотою, особенно свойственною северным женщинам: лицо ее было покрыто тою прозрачною, тонкою кожею, по которой так очаровательно рисуется голубая сетка жилок и которую напрасно стали бы искать под южным небом. Цвет лица ее обличал несколько желчное сложение и в полутонах представлял прелестное смешение красок, которыми в прекрасный вечер сливаются на западе яркие цветы зари с лазурью неба. Малейшее внутреннее волнение возвышало нежный румянец, покрывавший щеки ее. Она сидела в том непринужденном положении праздной лени, которое показывает в женщинах отсутствие сильных ощущений и, может быть, тайную жажду чувства еще покойного сердца. Она держала в руках золотой медальон, небрежно играя цепочкою того же металла, и с полусокрытою улыбкою слушала, не смотря на нее, девушку, лежавшую на дерне у ног ее. Трудно было бы найти малейшее сходство между двумя подругами: болезненная бледность, всегда красные веки, почти закрывавшие маленькие серые глаза; некрасивые черты, не лишенные, впрочем, некоторой приятности, и задумчивый, печальный вид составляли резкую противоположность с живою, игривою, несколько горделивою физиономией первой. Небольшой рост и нежные формы

девушки означали слабость сложения; движения ее были связаны, неловки, и физиономия представляла ту странную неподвижность, которую замечаем в людях, привыкших с детства жить одинакою жизнию и затаивать в душе все чувствования свои. Она была сирота; еще в колыбели лишилась отца — и матери, когда начала понимать цену любви ее. Богатый помещик князь З...., двоюродный брат ее матери, взял к себе ребенка и воспитывал с своею дочерью. Между двумя девочками было только два года разницы. Софья, дочь князя, была младшею. Они имели одних учителей, одни игры, одинаковые наряды; к ним были, как казалось, равно справедливы; вся разница состояла в том, что уроки, игры, забавы были для Софьи — Марии позволяли участвовать в них; все домашние добивались одной ласковой улыбки Софьи — Марию иногда ласкали; каждый стремился угодить желанию Софьи — Марии не отказывали в благоразумных просьбах ее. Этот небольшой оттенок в положении двух девушек произвел очень большую разницу в их взаимных отношениях. Софья любила Марию, почитала ее другом и была уверена, что действительно дружба их могла почесться образцовою. И точно, Мария была другом ее, но другом, как бывают поверенные главных героев и героинь в трагедиях; от них требуется только внимание, несколько междометий кстати и иногда совет, с условием не следовать ему.

Князь Иван Николаевич З...., отец Софьи, строгою экономиею, наблюдением за работами, заведением фабрик, мельниц, улучшениями по сельскому хозяйству и скукою длинных осенних вечеров платил за веселое житье своей молодости. В тридцать лет, в отставке, с гусарскими усами и красивою наружностию, он был душою московских балов, непременным членом всех холостых пирушек, любимцем дам и ревностным посетителем магазинов... В магазинах мало ли чего хорошенького? Цепочки, шали, браслеты, шляпки, беленькие ручки, которые их подают... Боже мой! Да и не перечтешь всего, зачем молодым людям надо бывать в магазинах. Зато в одно утро князь, проснувшись с головною болью, был пасмурен, сидел в халате и по временам пускал изо рта облака дыма, следуя за ними взором и изредка поправляя душистый табак в пенковой трубке с серебряною оправою. Бумажник, опустошенный вчера дружеским нашествием и партиею в ... нет, тогда еще играли в банк, лежал перед ним; он косо посматривал на него и вздумал наконец заняться делами. Он всегда чувствовал большую способность к делам, но не был никуда упо-

треблен, а для своих не имел досуга. Теперь же, оставя прочие дела, решился просмотреть долговую роспись. Князь был очень аккуратен и, сравнивши итог с оценкою имения, вдруг вспомнил, что недавно на бале он видел дочку одного симбирского помещика, прехорошенькую и наследницу богатого имения, единственную во всех отношениях. Ему показалось, что он даже был влюблен в нее: иначе отчего бы он был вчера так рассеян, что почти не видал, как проигрывал? Он решился увидеть ее этим же вечером, танцевать с нею — словом, явиться искателем. Сказано — сделано; успех несомнителен: какой симбирской красавице не вскружит голову душа московского общества с гусарскими усами и еще отличный danseur! Зато, когда в первый раз, опираясь на руку его, молодая княгиня шла по бульвару, ей казалось, что нет женщины, которая бы не завидовала ей, нет девушки, которая бы не хотела быть на ее месте! Он был мил, любезен, страстен; княгиня жила для него одного, ему одному хотела посвятить всю жизнь свою, и князь, чтоб ничем не отвлекать ее от этого истинно нравственного намерения, принял на себя управление ее имением, удовлетворил докучливых кредиторов, заложа имение, и явился в Петербург. Прошло двадцать лет. В то время, когда случилось происшествие, о котором хочу говорить, князь был уже человек лет за пятьдесят и несколько месяцев тому назад поселился в деревне для приведения в порядок счетов; княгиня страдала нервическими припадками, шила по канве ковры и читала Иова. Мы знаем прекрасную Софью, семнадцатилетнюю дочь их, и ее подругу; прочие члены семейства были: учитель музыки и гувернантка, старушка француженка. Англичанка была, увы! отпущена, потому что княгиня однажды сказала Софье с ласковым, просящим взором: «Дела наши расстроены, Софья; англичанка стоит дорого; вы обе так хорошо знаете язык, что могли бы обойтись и без нее. В деревне же доктор необходим, особенно при моем здоровье; к тому же и бедные крестьяне выиграли бы от того: а доктора и англичанку иметь невозможно».— Я боюсь, чтоб злые языки не перетолковали худо припадков и желания княгини: свет зол и наилучшие намерения отравляет своими подозрениями. Ах, нет! Душа княгини была чиста, как лазурь очей ее. Ей был нужен доктор, потому что она была действительно больна, без двусмысленности; итак, по просьбе Софьи с ними был еще доктор, молодой человек, только что возвратившийся из чужих краев и который, в ожидании обещанного места

и не имея практики, рад был ехать с семейством князя.

«Что ты ни говори, Софья,— сказала бледная девушка, рассматривая небольшую миниатюру, которая, казалось, назначалась для медальона и была из него вынута,— одного твоего искусства недостаточно было бы, чтоб сделать так совершенно хорошо. Какое сходство! Это выражение его взора».— «Одного моего искусства?— возразила Софья.— Не хочешь ли ты, по обыкновению многих наших светских судей, приписать это искусству учителя? Женщина не может нарисовать листочка, чтоб не искали в нем штрихов учителя. Это так водится».— «Я не хотела сказать!» — отвечала Мария, устремив на нее взор, наперед высказывавший мысль ее. Софья слегка покраснела, невольно улыбаясь как человек, желающий скрыть тайное удовольствие. «Вздор, всегда вздор!— сказала она.— Не думаешь ли, что амуры водили кистью моей?» — «Искусство и любовь родные,— продолжала Мария,— если б мне, как древним грекам, позволено было олицетворять и обращать в божество всякую мысль и каждое чувство, я бы сказала, что не наслаждение, а три сестры: живопись, поэзия и музыка — суть дети Амура и Психеи. Когда святая любовь, без примеси земного, наполняет душу, связь их не есть ли поэзия? Душа, любовь и поэзия! Нет, где нет поэзии, нет и любви; там любовь самозванец, чувство, унижающее человека: они неразлучны, Софья».— «Я это вижу»,— с значительною улыбкою сказала Софья. Очередь Марии покраснеть. «О, прошу не складывать на меня чужих грехов,— сказала она,— не на меня смотрят украдкою в зеркало по целым дням, не меня подсматривают в роще или сквозь опущенную штору окна».— «Грехов?— прервала Софья, не внимая остальному и положа руку на плечо Марии,— разве это грех, сестрица?» — спросила она с драматическим чувством растроганной героини. «О нет!— возразила с жаром Мария, садясь и складывая на груди руки,— нет, я не думаю того. Любовь от бога; ее серафим в минуту сожаления о жителях земли приносит с небес как утешительный дар. В детстве мне часто говорили об ангеле-хранителе, Софья; я люблю верить его присутствию, его покровительству: это тайный друг, которому я вверяю мое горе, радости, от которого жду утешения, опоры. Видишь, Софья, я часто думаю: вот к нему слетает небесный гость, чтобы посетить его; светлый дух полюбит девушку, покровительствуемую ангелом; он наклонится к ней, поцелует — и вот любовь! Она дар серафима». Легкий румянец играл на щеках ее; мечтательница, несмотря

на дурноту свою, была привлекательна в эту минуту, как любовь. Софья громко захохотала. «О, как это трогательно!— сказала она.— Из какого романа? Вот все мечтательные головы! Бог знает, что вы видите в любви, между тем как она — презабавная игрушка, кукла семнадцатилетнего ребенка. Я охотно дам эй место между моими карандашами, книгами, браслетами, лентами и нотами, но не больше».— «Притворство,— вскричала Мария, вскочив и покраснев,— и в наказание тебе... О, я знаю, что этот портрет тебе дорог! Я не отдам его тебе». Движение, которое она сделала, отбежав к берегу, заставило Софью подумать, что она хочет бросить в воду портрет; она побежала за нею; но Мария, как серна, бежала по холмам, перепрыгивая через обрывы, и все по берегу. Софья следовала за нею с трудом, но все бежала. Вдруг нога Марии поскользнулась; она упала, земля оборвалась и с нею вместе — в воду. Отчаянная Софья кричит, зовет на помощь. Никого нет! Никто не слышит! Боже! Она погибнет! Но вот она показалась, пенит воду, плывет. О, плыви, плыви! Собери силы, Мария! Но падение оглушило ее; она теряет чувства, слабеет... опускается... «Здесь! Здесь!» — кричит Софья, указывая на исчезающий круг человеку, который, прибежав на голос ее, готовился броситься в воду с противоположного берега.— Их не видно обоих. Софья в слезах, с сжатыми на груди руками, бросается на колени, взывая к небу: «Спаси, спаси ее, ангел-хранитель моей Марии!» Она была истинно прекрасна в эту минуту, когда непритворное чувство заставляло ее забыть о зрителях и впечатлениях их — попечение, никогда не оставляющее женщину в зале и даже в ее спальне! Но вот вода всплеснула; он у берега. А Мария? Она спасена; но бледная, бесчувственная, она лежала, как мраморное изваяние, на руках своего избавителя. Софья узнала в нем своего доктора. Он поспешно вынес на берег свое бремя и, слагая ее на луг, казалось, взором говорил Софье: «Вот она, ваша подруга, я вам возвращаю ее». Софья на коленях пред бесчувственною девушкою, плакала, терла ее руки. «Спасите ее еще раз, доктор; не правда ли, она жива? Она не умрет?» — говорила она. «Бога ради, успокойтесь; немного воды! Нет, вот этот спирт... это только обморок». Он употреблял все старания, чтобы привести ее в чувство; наконец Мария открыла глаза; взор ее встретил избавителя ее. «Вельский!» — прошептала она и, как бы желая припомнить что-то, повела рукою по лбу и потом вдруг прижала ее к груди, как бы испугавшись. Мгновенно

краска покрыла щеки ее, но она исчезла; спокойствие возвратилось на бледное лицо ее; она склонила голову на плечо Софьи, и тихие слезы облегчили грудь ее, между тем как рука ее искала руки доктора. Она пожала ее со взором, в коем изобразилась благодарность красноречивее, чем в найжарчайших выражениях слова.

В небольшом кабинете, которого главное украшение составляли зелень и цветы, опираясь на высокую спинку готических кресел, сидела княгиня; перед нею на шитой подушке, которая служила скамейкой для ног, облокотясь на колена княгини, Софья играла кольцами на руках ее; солнечный луч, скользя сквозь листья плюща, обвивавшегося около резной решетки орехового дерева, подле которой они находились, играл на прекрасном личике ее: смешение света и тени, происходившее от движений головки прекрасной девушки, придавало ей что-то пленительное; взор матери с любовию ласкал красивые формы ее. «Но. Софья,— сказала княгиня, взявши ее за руку,— я все еще не понимаю: зачем было брать с собою в рощу портрет доктора? Ты нарисовала его, чтоб сделать ему удовольствие, или лучше сказать, его матери; золотой медальон для портрета был прекрасным предлогом сделать ему подарок в знак благодарности твоей за то, что он избавил от смерти твою горничную. Это все очень хорошо; но для чего же было тотчас не отдать портрета?»— «Ах, maman, это сделалось случайно; мы пошли рисовать с натуры; вчера, когда привезли медальон, я положила его в мой рисовальный ящик, чтобы отдать вечером доктору, и забыла об нем; вот и все».— «Положим, что так; для чего же было вынимать его, рассматривать? Ты, верно, не хотела его поправлять?» — «Конечно, нет, Мария...» — «Хотела полюбоваться твоею работою? Знаю это; но для чего было во время отдыха, идучи гулять, как говоришь ты, брать его с собою?» — «Это была шутка, maman, ничего больше; шутка двух девочек; вы были также в шестнадцать лет, душа моя,— продолжала она, обвивая рукою стан матери,— вы также шутили над голубыми глазами докторов, усиками гусаров».— «Но, Софья, всему есть мера: я боюсь, точно ли это только шутка, не более? Я не скажу, как другие матери: дочь моя слишком хорошо воспитана, чтоб любить без моего позволения, чтоб думать так и проч.».— «Вы можете сказать смело,— прервала девушка с несколько надменною улыбкою:— «Дочь моя слишком хорошо зна-

ет свои обязанности, чтоб любить доктора». Княгиня посмотрела на нее с грустию. «Ты смягчаешь выражение,— сказала она,— ты лучше хотела бы повторить слово в слово начало моей фразы; я понимаю тебя. Но ты права: тебе не должно думать о нем; никогда отец твой не простил бы тебе подобной склонности; тебе известны его предрассудки». Полусокрытая улыбка на минуту придала вид сомнения лицу девушки при слове: предрассудки. Княгиня, казалось, не заметила того; она продолжала: «Но если тут нет любви, для чего же ты непрестанно ищешь его? Он должен сопровождать тебя в прогулках; по просьбе твоей переворачивать листы нот, когда ты поешь; к нему относятся слова твои, когда ты говоришь даже с другими; его ищешь ты взором. Софья! Любовь тебе не позволена по положению твоему в свете, а кокетство не достойно характера твоего».— «Вы принимаете это слишком трагически, друг мой,— сказала Софья, садясь и целуя ее руки.— Не любовь и не кокетство. О, нисколько! Я бы могла вам сказать,— продолжала она, помолчав несколько,— что ищу его общества, потому что он умен, что разговор его приятен, что нас здесь так мало; но это будет все не настоящая причина. Вы станете смеяться, если скажу вам ее. Вот видите ли: этот Вельский досаден мне; с самого приезда сюда он принял со мною престранное обращение. Со всеми он весел, любезен, говорлив; со мною всегда закован в тройные латы вежливости и приличий; ни слова приветливого, лестного, знаете, как это водится в свете. Не только что-нибудь дружеского, что было бы очень позволено в деревне между домашними, даже ни малейшего внимания; холодная учтивость, вот и все! Разве это не обидно, maman, для меня, которая так привыкла к победам и поклонникам?— Княгиня ударила ее тихонько по розовой щечке, еще больше разгоревшейся от небольшого волнения гнева.— Он смотрит на меня с высоты своей германской учености; по целым часам говорит с Мариею о Шиллере, Гёте, Жан-Поле; со мною ни слова! Как будто бы он считает меня неспособною понимать его оттого, что я не сижу, как она, над Шлецером или Гиббоном! Вечно холоден, вечно молчалив».— «Софья, он не девушка в семнадцать лет,— сказала княгиня,— он очень знает, что короткость между вами могла бы быть опасною».— «Для кого? Он слишком умен, чтоб надеяться внушить мне страсть к себе: Амур и Эскулап не ходят об руку. Но мне хотелось бы наказать его, заставить сознаться, что под легкомысленною наружностью можно быть достойною внима-

ния мужчины, сколько бы учен он ни был. Ну, не хмурьтесь же, maman, вы видите: это одно ребячество, больше ничего!» Княгиня начала поучение о невыгодах кокетства. В это время послышался звонок в комнате Марии, и Софья побежала к ней.

А портрет? Куда девался портрет? Кто мог это сказать? Вероятно, ускользнув в воду из рук Марии, он был унесен течением; но если бы и нашелся, что оставили бы по себе легкие краски миниатюры? Я никогда не взял бы миниатюрного портрета моей любовницы; акварель или миниатюра — это memento mori любви: изменчивые краски непрестанно говорили бы мне, что они все еще постояннее чувствований, и часто... Это печально! Я не люблю ничего, что напоминает мне о кратковременности всего подлунного.

Таким образом, по крайней мере, объяснили потерю портрета; но Вельского просили позволить чрез несколько времени еще помучить его, чтоб загладить ветреность девушки. За что же было лишать бедную старушку, мать его, подарка, ей назначенного и, вероятно, столько приятного? Рисовать два раза одно и то же, говорят, скучно; но это оттого, что в России редко найдется модель... фразу окончил красноречивый взор, который заставил покраснеть и артиста и оригинал. Можно бы было перевести этот взор на наш язык словами: модели прекрасной, как встречаются они под южным небом. С вами — иное дело!.. Хотя доктор мог почесться типом северной красоты, но язык светских взоров не отчетливее языка гостиных.

«Ты еще очень слаба, Мария,— говорила княгиня, целуя ее вечером на другой день приключения на холме и расправляя батистовую оборочку ее маленького чепчика, тщательно завязанного голубою лентою.— Этот день был очень тяжел для тебя. Не правда ли, доктор, что мы также несколько способствуем злу, не оставляя ее ни на минуту одну? Мы утомляем ее». Она поцеловала Марию и, сделав знак рукою Софье и доктору, вышла; Мария осталась одна.

Правда ли, что этот день был тяжел для нее? Кому не приятно быть предметом заботливости и внимания? Пускай то будет из сострадания: сердце легко обманывается в том, чего желает и без труда приписывает любви то, что было, может быть, действием тщеславия или всесильной мысли: что об этом скажут! Но что нужды до того? Счастие очень часто есть не что иное, как призм воображения;

обман или действительность виновниками его, для сердца все равно в настоящую минуту.

Все тихо; везде угасли огни; но еще слышны шаги горничной в комнате княжны: но вот и она удалилась. Мария приподнимает голову, прислушивается; сердце ее сильно бьется, румянец играет на щеках: что-то сильно волнует грудь девушки. Вот она спускает ногу на ковер, разостланный перед кроватью; встает, боится малейшего шума; еще прислушивается; все молчит. Боязливо подходит она к столику, на котором теплится ночная лампада; сердце, кажется, хочет вырваться из груди ее; но вот она поспешно развязывает ленточку чепчика, снимает его; густые волосы падают на плеча ее; она торопливо вынимает из-под них что-то завернутое в бумажку, и в это время, когда трепет сердца покрывал пурпуром щеки ее, она встречает в зеркале свое изображение. В одно мгновение исчезло выражение удовольствия, оживлявшего лицо ее; она печально поникла головою, и рука невольно опустилась на колена. Казалось, тяжелая мысль, давно свинцом лежавшая на душе ее, пробудилась внезапно от минутного забвения; слеза блеснула под опущенною ресницею; луч лампады отразился в ней. Бедная девушка! В этом ночном беспорядке, с этим оживленным взором, в этом живописном положении как прекрасна была бы другая! А она! — Зеркало напомнило ей дурноту ее: не ей предаваться влечению сердца, не для нее были мечты легковерной молодости! О, Данте! На бледном челе своем давно читала она страшную надпись твоего ада: «Нет места для надежды». Но печаль не была для нее гостьей новой; душа ее развилась в школе сиротства и горя. Она издавна, с детства, научилась размышлять. — Смеетесь? — Напрасно; вспомните, что она была сирота; что не была избалована ни учителями, ни гувернантками, которые думают за светских красавиц; ни светом, который окружает их фимиамом лести и ласкательства. Без шуток, она умела не только что мечтать и придумывать планы для будущего вечера, она умела рассуждать о жизни и человеке, умела покоряться необходимости и в настоящем случае приняла оковы ее с покорностью, но сердце ее нашло несколько цветов, которыми украсило их тяжелые кольца.

Она подошла к окну и тихо открыла его: тихая ночь облекала природу полупрозрачными тенями. «Боже! — сказала она. — Не любуемся ли мы звездным небом, не упиваемся ли ароматами цветов, не наслаждаемся ли свежестию ночи, не требуя ничего, кроме способности наслаж-

даться ими? Почему же сердце не может наслаждаться чувствованием, наполняющим его, не требуя ничего более, находя свое счастие в способности чувствовать, *любить?* Любовь не есть ли отражение божественных лучей, окружающих небесный трон Всемогущего? Ужели же в себе самой она не может найти источника блаженства! О, так! Он лучше неба, земли, всего творения; он лучшее создание бога; я буду любить его как ангела, как незримого серафима, как солнце, как природу! Я ничего не хочу более. Я хочу только любить его, смотреть на него, на его изображение...» Она приложила к сердцу бумажку, вынутую из-под волос, несколько раз поцеловала ее и, подойдя на цыпочках к столику, развернула... Глаза ее остановились на портрете Вельского, сделанном рукою Софьи.

Так вот где портрет! Корсет, этот скромный хранитель многих сердечных тайн и туалета, принял изображение Вельского, когда Мария побежала от преследовавшей ее Софьи; он сохранил вверенное сокровище от волн, от заботливых попечений, окружавших больную; он передал его вовремя маленькой ручке, которая спрятала его в густые волосы под чепчиком. И теперь он в руках Марии и навсегда! Нет, он не потерпит участи тех портретов, которые после двух месяцев обожания кладутся на долгий покой в тайный ящик и оттуда, иногда по необходимости очистить квартиру, отправляются куда? Как знать? В огонь, в ручей; а чаще услужливая губка стирает их без остатка, так, что кость готова принять другое изображение. Прекрасное свойство кости, бесценное, когда подумаем о переменчивости наших вкусов! Иной... но что об этом? По́шло; говорите нам о вечной верности, постоянстве; а то как заставлять читать то, что всякому почти уже надоело в своем прошедшем?

Итак, она любила его? Мария любила Вельского? А он?— Что нужды до него. Мария привыкла жить особою жизнию, одинакою; в сердце ее заключался свой мир; мало было общего между ею и людьми. Она многое понимала, чувствовала по-своему, не как они, и любовь ее, вероятно, была не таковою, как любовь большей части красавиц.

С детских лет, едва еще научась понимать, она привыкла слышать от матери: «Дурнушка моя, ты некрасива, моя дурнушка; тебе нечего делать в свете; ты будешь монахинею». В играх девочка часто накидывала покрывало на лицо, представляя игуменью в кругу также покрытых подружек, и спрашивала мать свою: «Теперь не видно,

что я дурна?» Когда ласкали хорошеньких сверстниц ее, оставляя без внимания, без приветливого слова дурнушку, она не огорчалась тем; сердце ее матери заменяло для нее вселенную; в нем жила она царицею, что ей было до других? Оно окружало ее целым миром волшебства материнской любви. Но ее не стало, доброй матери. Волшебная стена любви, отделявшая от других бедное дитя, рушилась; она осталась одна, и пустыня окружила ее. Все было чуждо ей, к чему ни простирала она руки; все было холодно, как мрамор, или сжималось с чувством неприязни, как чувствительная мимоза. Ей, которая привыкла жить любовию, как было ей существовать без необходимой стихии в мире, где не светил для нее ни один луч ее? В доме князя З... она нашла Софью, беспечную, веселую; Софья играла жизнию и не имела времени привязаться к чему-нибудь сильно. Любовь — религия сердца: чтоб укорениться и достигнуть своего развития, как религия, требует она некоторого сосредоточивания мысли, солидности. Легкомысленность сдувает семена ее, как весенний ветерок; рассеянность разносит их в разные стороны, как легкокрылые ласточки не прикрытый рачительной рукою посев земледельца. Но дети сдружились, и Софья сделалась идолом Марии. Сиротку ласкала и княгиня, и князь... но была ли это любовь матери? Сравнивайте живительный луч южного солнца с искусственным жаром теплицы... Мария не смела объяснить разницы, но сердце ее чувствовало ее, и нередко одинокая слеза катилась по бледной щеке девочки, когда рука княгини ласкала розовое личико веселой Софьи; она стояла подле тихо, молча, часто с грустною улыбкою; но когда княгиня, приметив ее, уделяла ей поцелуй или несколько ласковых слов, грудь ее сжималась более, и милый образ матери летал в неясных чертах перед нею. Но кому стала бы она говорить о том? Кто захотел бы делить печаль бедного дитяти? Чего недоставало Марии? Она одета как Софья, имеет одних учителей, одни игры, чего ей надобно еще? Она возрастала, и потребность любви развивалась с ее чувством, потребность сочувствия, потребность согражданства; она требовала от общества свою часть внимания его, она просила указать ей место в кругу, ей назначенном; но все было безмолвно, холодно вокруг нее, и ни один голос не откликался на призыв ее. Бывала ли она в обществе, она видела, что все искали подруг ее, говорили с ними — о чем? О вздоре. Они улыбались, отвечали вздором же. Разве она не могла бы отвечать так же? Почему же не заводят с нею разговора? Она любила музы-

ку, литературу, изучала их прилежно; часто за длинным обедом ответы ее, мало привычные в устах молодой девушки, заставляли соседа ее и после стола, в гостиной, продолжать начатый разговор. Прибегала резвая красавица, Шиллер и Мур забывались; спрашивали новопришедшую о цене ее шарфа, и Мария напрасно бы желала возобновить прерванный разговор. Она танцевала недурно, несмотря на неловкость, и знала то, но это разумеется само собою; и на бале, справа, слева, она слышала около себя: «M-lle me ferat-elle l'honneur?»* и проч. и проч., и веселые подруги, иная в вечной ссоре с музыкой, другая живой контраст легкой бабочки, третья — прекрасный мрамор и душой и телом, и, однако, они кружились в вальсе, носились в мазурке, а она? Она ждала знакомого, перезнакомого, какого-нибудь вечного гостя княгининых зал... Играла ли она на фортепьяно, взор ее читал во взоре ее учителя, старичка: «Прелестно, любимица моя, я доволен тобою!» Иногда даже тихая слеза удовольствия блистала на щеке доброго немца, и он, увлеченный прелестью игры своей любимицы, не думал отереть ее. А свет?— «Bravo! ma shère, vous faites des progrès, mais vraiment!»** Но известно, что одно и то же слово изменяет смысл от звука голоса. «Рад видеть вас!» — говорят приятелю, которого ждали на вист; провинциалу, которому обещали место советника в палате в Симбирске или Тамбове; девушке, которую любят; старушке, которой покровительства ищут; знакомцу, которому давно должны известную сумму без векселя... здесь «Vous faites des progrès»*** значило: очень мило для ученицы, очень порядочно; учитесь; по крайней мере в уединении фортепьяно вам будет отрадою. Играла ли Софья — она была слабее в музыке; не раз учитель стучал ногою от нетерпения в продолжение уроков; уходил из залы, когда в обществе она начинала играть аккомпанементом двух скрипок; но зала кипит восторгом! Софья скрывает стыдливый румянец довольного самолюбия на груди восхищенной матери; отец пожимает ей руку со взором, говорящим: «Вот талант!»... Пейзажи Марии были только для картона; портреты Софьи... в них виден был туш артиста, без двусмысленности! «Да разве Софья была обижена природою?— спросят меня.— Почему же ни в чем не имела она успехов?» Совсем нет; она имела

* «Мадемуазель окажет мне честь?» *(фр.)*

** «Браво! моя дорогая, вы делаете успехи, без сомнения!» *(фр.)*

*** «Вы делаете успехи» *(фр.)*.

прекраснейшие расположения; но легкие успехи балуют, уверяют в таланте, когда еще он только начинает развертываться; светская рассеянность мало оставляет времени, и к тому же, почему учителю не иметь снисхождения сделать то, чего не делают только по недосугу, что могут сделать, когда только захотят?

Часто с грустью возвращалась Мария в свою комнату. Отчего же эта несправедливость, это несчастие, думала она, за что гонит ее судьба, за что отвергает общество? Однажды, размышляя таким образом, она стояла перед зеркалом, в котором отражался стоявший на противоположной стене портрет ее матери с задумчивым взором, исполненным любви и скорби. Неудовольствие, досада придавали неприятное выражение лицу Марии; вдруг ей показалось, что завеса, скрывавшая протекшее, приподнялась внезапно перед глазами ее; она стояла перед матерью; ей послышался даже голос ее, говоривший: «Ты не для света, дурнушка моя». Дурнушка, что это значило? Прекрасный образ Софьи мелькнул в воображении ее; зеркало представило сравнение; она все поняла: она была дурна, сирота, небогата!

«Ты не для света!» Эти слова не переставали отзываться в душе ее, и воображение накинуло на все черный креп свой. Не вслушивался ли кто в тихий голос ее и проходил не отвечая: то было отвращение к дурнушке. Рассказывали ли подруги об успехах в обществе: это была насмешка над незамеченным существованием ее. Смеялись ли над неловкостию других: это были намеки на недостатки ее. Словом, все было в заговоре против нее. Мысль о дурноте лица ее преследовала ее ежеминутно. Бедная девушка! Она не знала обольстительных радостей молодости. Часто, когда подруги ее подбегали к зеркалу, примеривая новый наряд или набрасывая, шутя, в красивом беспорядке, на голову платочек, она задумчиво отходила в сторону; они казались ей так хороши в этой невинной забаве! А она?— Если Софья, резвясь, окружала лицо ее, как облаком, легким газом или обвивала золотым снурком ее голову, она боялась взглянуть в зеркало: мысль, что наряд выставляет дурноту ее, заставляла ее отворачиваться или поспешно срывать убор. Никогда не видали, чтоб она принимала одно из тех живописных положений, в которых женщины любят оставаться как бы неумышленно, зная, что устремленный к небу или задумчиво блуждающий в голубой дали взор, полуоткрытый ротик или небрежное наклонение головы делают их еще привлекательнее. Случа-

лось ли ей, действительно нечаянно, задумываться, роковая мысль, как острие кинжала, пробуждала ее, и лицо ее принимало свое обыкновенно бесстрастное выражение. Иногда, гуляя в роще или по цветнику, когда веселая Софья вплетала в волосы пучок ландышей или розу, Мария срывала цветок, подносила руку и уже касалась ею густых локонов и вдруг опускала ее на колени. Не для нее были обольщения самолюбия! Она не знала наслаждения любоваться собою. О! Женщины поймут, как много это значит. Но одни ли женщины?

Раз, это было позже, тогда как Мария научилась уже равнодушнее смотреть на жизнь, все семейство князя сидело в саду около чайного столика под сводом лип. На лугу, расстилавшемся перед глазами их, Мария играла с четырехлетним сыном садовника, круглым, розовым мальчиком, которого она особенно любила. Он то прятался в кусты, то снова со смехом выбегал на луг; Мария преследовала шалуна. Раз, когда, наклонясь, она хотела схватить его, ребенок выпустил ветку, которую держал в руках, и сухой сучок расцарапал ей кожу на правой щеке. «Не бойся, Мария,— сказал князь,— мы это как раз исправим. Ты у нас будешь красавицей».— «Я верю вашему знанию, дядюшка,— отвечала Мария, смеючись,— но сомневаюсь, чтоб оно простиралось так далеко». Лицо ее выражало самую непритворную веселость. «По крайней мере таковою, как ты была»,— возразила княгиня с таким добродушием, что видно было опасение ее, чтоб шутка князя не оскорбила Марию.— Ах, она не знала, что это-то опасение и огорчило ее. «Если б я не казалась им ужасно дурною, тетушка не могла бы иметь подобной мысли»,— думала Мария, и, несмотря на рассудительность свою, она не могла не вздохнуть.— Но княгиня успокоилась совершенно, не понимая, что огорчила бедную девушку. Излишняя предосторожность в подобном случае не достигает своей цели, как излишняя вежливость к людям низшего сословия, напоминающая им, что самолюбие их имеет нужду в пощаде.— Но тогда привычка размышлять уже сдружила Марию с ее участью и изливала свой целительный бальзам на эти, непонятные для других, раны. В самом же начале они имели такое влияние на характер Марии, что совершенно изменили его. Она сделалась недоверчива, мрачна, молчалива, угрюма; чуждалась других, и скоро другие стали чуждаться ее. Одна Софья сохранила доверенность ее; любовь к ней торжествовала в сердце ее над самолюбием. С нею была она говорлива, перед ней открывала сокрови-

ша души своей. «Отчего ты не такова в обществе, как со мною, Мария?» — говаривала Софья. Но это было тайною Марии, и никогда, никогда не говорила она о том подруге своей и вообще ни о чем, что касалось до внутренней жизни ее. Впрочем, беззаботной Софье было совсем не до того, чтоб заниматься чувствованиями других. У нее были вечно свои сердечные тайны, планы, надежды, так что никогда не входило и в голову ей спросить Марию: имело ли сердце ее способность чувствовать иначе, как отражением чувствований Софьи? И Мария заключилась в сердце своем, как в неприступной крепости, и мало-помалу привыкла жить этою одинокою жизнию. Но сердце ее, созданное для любви, искало сочувствия, требовало языка ему понятного, предмета, на который могло бы излить избыток чувств своих, и страсть ее к пейзажу открыла ей богатый источник утешения: природу!

С каким жаром бросилась она в объятия этого нового, всегда верного друга! Кипело ли сердце ее негодованием, она уходила под мрачные своды сосен, и глухой шум ветра, качающего вековые вершины их, успокоивал ее волнение, наполняя душу ее священным благоговением. Душа ее возвышалась; нечто святое, великое, превосходящее все земное, озаряло мысли ее; она возносилась к источнику природы, и мысль о Вездесущем овладевала ею, мысль перед которою смирялись все страсти земные. Чувство одиночества томило ли душу ее, она бежала на луг, усаженный кустарники, освещенный полуденным солнцем, и смотрела, как лучи его играли в пестрых крыльях мотылька, который, виляя над муравою, то скрывается в тени, наводимой липою на зелень луга, то блистает в золоте лучей древнего светила; внимала жужжанью тысячи различных насекомых, кружащихся между цветами, голосам птиц, поющих в чаще рощи; смотрела на небо, изливающее радость и любовь на все создание, и чувствовала себя гражданкою мира, гостьею природы, дочерью ее; и мысль одиночества терялась в этом море любви! Природа становилась ее матерью, семьею, другом, которому вверяла она свои скорби, от которого ждала утешений и радостей, не находимых ею в обществе, советов, уроков, и действительно сердце ее очищалось в беседе с нею, и размышление примиряло ее с людьми и ее участью. Воображение, настроенное тихими красотами природы, переменяло направление жезла своего, и люди казались ей не скопищем злых, несправедливых угнетателей сироты, корыстолюбивых поклонников богатства и знатности; но вереницею легких

бабочек, вьющихся над лугом, привлекаемых цветком, наиболее блестящим, уносимых дыханием ветерка, минутной прихотью, влиянием первой встречи. Она перестала требовать от них искреннего чувства или ждать чего-нибудь прочного; если встречала приязнь, доверенность, ласку, то принимала их как дар нежданный, и ясность возвратилась на чело ее, улыбка на уста. Она явилась в обществе, как зритель, который, принимая участие в разыгрываемой перед ним драме, прилепляется иногда душою к одному или другому актеру, любит его успехи, делит славу и не ждет от него ничего собственно для себя. Она не играла в публике; сперва бранили ее за то, как за каприз, потом привыкли, забыли, оставили пьяно в ее комнате из снисхождения к капризу бедной девочки, по многому очень жалкой; не спрашивали ее картона с рисунками; позволили свободный вход в библиотеку, и Мария зарылась в книгах, обегала с карандашом окрестности, музыка сделалась языком души ее, измененным наречием того таинственного языка, на котором излагаются письмена природы для любимцев ее. Софья, княгиня остались идолами сердца ее; она любила их, как живописец любит картины, смотря сквозь пальцы на недостатки и привязываясь к красотам, любит из благодарности за счастие, которое находит в их созерцании. У нее был еще один друг, старичок, учитель музыки; но она и его не вводила в святилище души своей, хотя знала, что он часто читывал в ней без ведома ее. Никогда добрый старик не искал исторгнуть ее доверенности или навязаться с дружбою; но есть случаи, когда душа человеческая напрасно желала бы заключиться сама в себе: чувство, наполняющее ее, выходит из берегов и разрушает все преграды, пока не встретит другое, готовое принять избыток его; так случилось с Мариею, и г-н Гутенгерц сделался ее поверенным.

Как случилось, что осторожная, недоверчивая Мария полюбила Вельского? Было ли то искательство со стороны его, влечение симпатии, призвание душ, знакомых еще в небесной отчизне и встретившихся здесь, в стране изгнания, определение ли судеб или иное что? Мария часто думала, что судьба не вмешивается в подобные дела; в часы поэтической мечтательности охотно усвоила бы все мистические системы любви, начиная с Платона до Упсальского духовидца; но здесь было совсем не то. Вельский, сын небогатого чиновника какого-то уездного города, где старушка мать его жила и теперь еще небольшим капиталом, оставленным ей мужем, но еще больше надеждою на

доброго сына, проведший всю юность в изучении наук, которые требуют размышления, отчетливости, правильности суждения, имел тот основательный, испытующий ум, который обнимает предметы не с одной стороны, вникает легко в сущность их, и, хотя не обтертый еще в великой свалке большого света, одною правотою суждений своих узнает и хорошо оценивает людей. Семейство князя, в котором Вельский должен был провести несколько времени, обратило на себя его внимание: блестящая, веселая, резвая Софья поразила его прелестью новою еще, не встреченною им доселе нигде и, может быть, только в часы уединенного отдыха на берегах Эльбы или Арно, в грезах юношеского воображения, являвшеюся ему в виде Сильфиды, Психеи и проч. Но он скоро постиг характер, мнения, правила отца ее, который почитал за ничто все, что не было записано в шестой книге, не имело гербов и проживало деньги, не добытые по́том крестьян, а часто собственным. Он уважал их лично; готов был покровительствовать им; но убавить, хотя на шаг, расстояние, отделяющее этот класс от высшей аристократии, было делом, несообразным с его образом мыслей, и потому сблизиться с Софьею доктору Вельскому было бы неосторожно, безрассудно, неосновательно; неосторожно, потому что ему было только двадцать три года и потому что не имел привычки вдаваться во что бы то ни было, не исчислив средств и сил своих, а в итоге в настоящем случае оказалось, что их было очень недостаточно для того, чтоб в деревне, в короткости, допускаемой сельско́ю простотою, устоять против семнадцатилетней красавицы, уже сделавшей сильное впечатление на сердце доктора; безрассудно, потому что он был доктор, а она княжна, и княжна, которая, как казалось ему, заимствовала от батюшки несколько предубеждений против неаристократов. Следствием всего этого было решение: держаться в почтительном отдалении, избегать короткости и удвоить бдительность, с которою доктор наблюдал движения своего сердца. Как было ему не успеть в том? Ему, наблюдателю по профессии!

Бледная девушка, дурная, но всегда с спокойною ясностию во взоре, неизменным хладнокровием, несмотря ни на шутки, не всегда осторожные, князя, ни на истерические причуды княгини,— не подумайте, чтоб княгиня была действительно, что называется, капризная женщина; совсем нет: у нее были только нервы слишком раздражительны, больше ничего. Итак, бледная девушка, на челе которой, несмотря на холодную неподвижность ее физиономии, про-

являлись иногда искры не совсем обыкновенного ума и глубокого чувства, подтверждаемых словами, подслушанными вскользь из разговора двух несходных, но связанных дружбою кузин, эта девушка привлекла внимание Вельского. Он хотел разгадать ее, сблизиться с нею. Трудно ему было победить застенчивость, или лучше сказать, дикость Марии, которая неохотно говорила с посторонними; но наконец преграда была уничтожена, Мария привыкла к нему, и между ними завязался разговор, нескончаемый между людьми, в которых склонности, вкусы, мнения, пристрастия имеют что-нибудь общее. Скоро самые тайны души человеческой, самые заветные мысли ее сделались предметом бесед их; Мария предлагала свои сомнения, делала вопросы; он говорил со всем жаром вдохновенного воспитанника германских университетов, объяснял ей тайны природы и сердца человеческого; часто говаривал о своих путешествиях, студентских мечтах, и скоро Мария стала с нетерпением ожидать, когда раздастся звонок, собирающий в общую залу к обеду, после которого все уже оставались вместе до ночи. Мария тихонько подвигала, без намерения, думаю, кресла к своим пяльцам, и между тем, как Софья пела или играла с Гутенгерцем в соседней комнате, как князь был занят пикетом с старою француженкой, доктор садился на придвинутые кресла к пяльцам Марии, возле рабочего столика княгини; играл ножницами, рвал нитки шерсти, висевшие около пялец, читал новый роман или рассказывал что-нибудь, и когда княгиня уходила слушать Софью, между молодыми людьми начинался их вечный разговор. И как переменилась жизнь Марии! Она редко теперь убегала в рощу или на уединенный берег; в глазах Вельского находила она все, что так красноречиво говорили ей красоты природы. Она просыпалась с мыслию: увижу его! Засыпала, перебирая в уме все, что слышала от него! О, как привольна теперь была жизнь души ее! Она не приподнимала завесы будущего и, счастливая настоящим, стояла перед нею с беззаботливостию младенца, которого существование ограничивается настоящею минутою. Но самое счастие, это довольство души, еще не испытанное доселе, пробудило ее внимание. Что было виною его? Отчего свет божий казался ей облеченным в какие-то праздничные одежды? Отчего такое сокровище радости было в душе ее? И скоро обыкший находить истину разум ее сказал ей слово загадки: любовь.

О, много дум, много борений возникло в сердце ее при этом магическом слове! Любить, ей? Дурнушке? Для

чего? Как ей надеяться взаимности? Как может он полюбить ее, он, прекрасный, образованный, умный? Но прислушайтесь к говору надежды, нашептывающей грезы свои на ухо любви: чего не наскажет она! Какие преграды, какие невозможности не уничтожатся перед нею! О, надежда, ковер-самолет любви; через какие пропасти не переносит он в тридесятое царство за тридевять земель!..

Но если бы он и не любил Марию, что нужды? Разве не есть уже счастие самое чувство любви? Бедный турок, принявший прием опиума, так же невольник деспота, так же под властию кади, как был за минуту; но душа его плавает в океане наслаждений; пускай счастие его неположительное, мечтательное; но все счастие! Сон и действительность равняет все.

Не совсем так думала Мария; вчера, сегодня, завтра, пока она видит его, все сливалось для нее в одно, и это было счастие, любовь.

Но пришло иное завтра: Софья сердилась на Вельского за его холодную вежливость, за его почтение. Княжна готова была забыть свое сиятельство, которого блеск, казалось, отдалял от нее Вельского,— может быть, он не любил слишком яркого света. Маленькое кокетство ее начинало беспокоить Марию: оно пробуждало в душе ее что-то вроде ревности. «К чему это?— говорила она сама себе.— Если бы она любила его, я... я почитала бы себя счастливою, видя их счастие; но... этого нет; Софья его не любит». Холодный, равнодушный вид Вельского, постоянно убегавшего Софьи, равно как жалобы княжны на его нечувствительность, успокоивали Марию. Но скоро она стала замечать, что Вельский казался рассеянным при вечерних разговорах; часто отвечал невпопад, мрачно ходил по комнате, и кресла подле пялец оставались по целым часам праздными. Иногда он останавливался в дверях залы, безмолвно слушая пение Софьи, и вдруг поспешно оставлял комнату и не возвращался более во весь вечер. Только после Мария видала, как он бегает скорыми шагами по дальней аллее сада или задумчиво сидит на берегу реки. Однажды вечером услыхали в комнате Вельского звуки флейты, и на другой день он должен был аккомпанировать Софье. Она находила особенную прелесть в игре его, уверяла, что никто так не аккомпанирует, как г-н Вельский, и с тех пор прощайте приятные вечера! Правда, склонясь на пяльцы, Мария слушала с упоением игру его; каждый звук, каждая нота отдавались в сердце ее; но ревность шептала ей: «Не для тебя играет он, не ты одушевляешь

его!» Есть необыкновенная прелесть для любящего сердца в голосе или игре милого; в звуках слышится душа его; она как будто говорит ему, относится к нему; оно угадывает чувствования ее. Но если это чувство, это вдохновение, эта божественная игра для другой? Что сравнится с подобным мучением! Мария испытала его; она выпила, капля по капле, все страдания любви неразделяемой, неизвестной, каждую минуту трепещущей, чтоб не изменить себе. Есть что-то унизительное в любви безнадежной; но она редко знакома женщинам, одаренным красотою. Чего не сделало первое впечатление, произведенное ими, то довершает самолюбие мужчины. Невзначай брошенный взгляд говорит ему, что он может быть любимым прекраснейшею женщиною, предметом желания столь многих, и он предается ей со всею пылкостию страсти. Но дурная? Какая участь ждет ее, если проникнуть ее тайну?— Сожаление? О, самая взаимность показалась бы слишком дорого купленною за подобную цену! Нет, лучше навсегда похоронить в душе и любовь, и страдание, и мгновенные надежды, когда-то озарявшие душу Марии. Не для нее счастие взаимной любви; по крайней мере сожаление не оскорбит сердца ее.

В один вечер она говорила Гутенгерцу: «Так, друг мой, он любит ее, нет более сомнения! Понимаете ли вы положение души моей? Любить и не быть любимой ужасно; но это несчастие, не возбуждающее отчаяния: любимый предмет кажется нам столько превосходящим все творение, столько высшим всего, что мы любим его, не смея желать взаимности, любим, как божество, как дикий перуанец любил свое солнце: он не осмеливался желать на себя одного привлечь лучи, животворящие равно всю природу. Но видеть, что существо, подобное мне, заставляет трепетать сердце его, делается властителем его участи: это сближает нас с небом, о котором мы не смели мечтать. Мысль о божестве теряется; видим только человека превосходнейшего из всех; воображение рисует участь, которая могла бы быть моею... понимаете ли вы, что значит тогда каждый взор, исполненный любви, брошенный им на счастливицу, каждое слово, каждое движение, весь этот иероглифический язык любви, темный для посторонних, понятный для любви? А ревность? О, ревность искуснее всех Шамполионов в мире!» — «Но очки ее не всегда верны, Мария, остерегитесь,— сказал Гутенгерц.— Не одни цветущие луга, не одни зеленые кущи представляет путнику разгоряченная атмосфера Аравийских пустынь или fata morgana

берегов Сицилии; страшные скалы, темные ущелия ужасают так же взор его. Посмотрите, вот там, на западе, эти разноцветные массы облаков: лучи уже скрывавшегося светила дают им различные формы; ваше воображение придает им определенность: видит то страшных гигантов, то вереницы обитателей иного мира, дружно играющих в пространстве эфира, то дымящиеся волканы, то пару белых лебедей. Прислушайтесь вечером к смешанным звукам плещущей волны, ветра, играющего в листах, или бури, воющей в расселинах, и вам послышатся то стон отчаянья теней подземных, то сетование души, нисшедшей на землю, о милых, здесь оставленных, то тихие отголоски незримых арф серафимов; я говорю вашим же языком, Мария, повторяю слышанное от вас же; и эта разница происходит не от звуков или облаков. Что они вблизи? Масса тумана, дыма, одинокая нота, отдельно взятая из стройного аккорда. Верьте мне, страсть могущественно правит воображением, а счастие и несчастие в жизни чаще, чем вы думаете, зависит от его магического прутика».— «Может быть, вы и правы, может быть, но вчера... воображение ли мое придало лицу его этот восторг, это выражение нежданной радости при виде Софьи? Вы знаете, гроза застала нас на самом конце деревни, там, где хижины солдаток и вдов, помните? Молнии падали змейками, гром гремел не переставая, дождь капал уже крупными каплями, и ветер сбивал нас с ног; мы были подле избушки Катерины. Вы знаете домик ее, полувросший в землю? Бури и непогоды стащили половину драниц, которые служили ему кровлею; одно маленькое волоковое окно пропускает слабый свет. Бог знает, как живут эти люди! Мы вошли к ней; мне давно знакома эта дорога, и в темноте я пробралась первая к двери, отворила ее и остановилась. Катерина — вы, может быть, не знаете, что она упала на камень, расшибла ножную кость, и с тех пор нога избита ранами; бедная сидела на своей кровати, поставя больную ногу на скамье; мальчик прикладывал перевязки, старшая дочь стояла подле и светила лучиною; двое маленьких детей тихонько таскали куски белого хлеба из корзины, покрытой белым полотном и стоявшей на другой скамье. Вельский был тут. Если б вы видели небесное выражение лица его! Он то давал наставления мальчику, то помогал ему, то, держа руку больной, утешал ее словами надежды и участия! О друг мой! Сколько велико показалось мне в эту минуту назначение врача! Не есть ли он друг человечества, ближайшее подобие божества, ангела-утешителя, скорбящего об уча-

сти смертного! От трона до хижины — везде доступ его благотворной деятельности; но здесь, у постели безвестной страдалицы, где бедность человечества являлась во всем ужасе своем, сколько цель его показывалась мне возвышенною, священною! Что может сделать богач золотом? Превратить хижину во дворец — о, это много! Но скажет ли страдальцу: возьми одр свой и ходи! Уврачует ли хотя одну рану, облегчит ли хотя одно страдание?..»

Гутенгерц улыбнулся. «Продолжайте, Мария, продолжайте; нам часто случается смотреть на картину с другой стороны... что далее?» Мария закрыла руками горящее лицо свое и, помолчав несколько, продолжала: «Он не заметил нас. Вой бури и раскаты грома заглушали легкий шум, произведенный нами. Из разговора Вельского с больною узнала я, что корзина с провизией не в первый раз принесена им. Благословения, которыми осыпала его Катерина, доверенность и любовь, с которыми смотрела она на Вельского, открывали ясно всю красоту души его. Наконец он увидал нас... нет, Софью, которая плакала, смотря на эту сцену. Грудь моя была полна, сердце билось, Гутенгерц; но я не плакала; я не умею плакать: плачут люди, привыкшие давать волю чувствованиям. Слезы — привычка. Надобно было видеть изумление его при виде Софьи; радость еще более оживила лицо его, блиставшее состраданием. О, как он был хорош! Обыкновенная холодность в обращении его с Софьею исчезла; он почти принес ее на скамью, окутывал шалью, согревал руки ее, стряхивал ручьи воды, текущие с ее платья. Если б вы видели, какой трепет пробежал по всему телу его, о, это было заметно по содроганию его, когда рука коснулась ее локонов... Какое смущение овладело им! Нет, нет! Он любит ее, любит! А она... едва понимает она высокость души его! Не верит или не хочет верить его чувствам!— За нами прислали карету; взойдя в комнату, он вдруг сделался холоднее, мрачнее обыкновенного и скоро удалился. Я видела его после здесь, на террасе, окружающей церковь. Он сидел долго за полночь, поддерживая рукою голову. Гроза давно стихла, молния только изредка сверкала вдалеке, месяц высоко плыл в небе, а он все был там еще...»

Мария замолчала. Гутенгерц также не говорил ни слова, и что мог он сказать! Рассудок говорит языком, непонятным страсти. Они сидели на скамье под печальною ивою, осеняющею могильный памятник матери Марии, близ церкви, из окна которой проливался слабый свет лампады, чуть теплившейся перед образом Моления о чаше;

лучи месяца падали на кресты; скромные памятники поселян белелись невдалеке. На каком языке сострадание человеческое или мудрость его могли бы сказать красноречивее то, что так выразительно говорили здесь и храм и убогий крест, мрамор гробницы и безмолвие ночи?..

Осенний ветер гудел в поле; крупный дождь хлестал в окна; небо облекалось мраком ноябрьского вечера. Князь, страдавший подагрою, нетерпеливо ворочался в креслах, непрестанно спрашивая доктора, браня его и посылая смотреть, нейдет ли он. Княгиня, Софья, старая француженка сидели вокруг рабочего столика подле его кресел; Мария смотрела в окно, прислушиваясь к завыванью ветра.

«Что ты смотришь в окно, Мария?— сказал сердито князь.— Темно; что увидишь? Спроси лучше, не возвратился ли Вельский?» Без ропота, о, совсем без ропота повиновалась Мария; она простерла послушание гораздо далее: она побежала сама в беседку на берег, где были, по приказанию, данному Мариею именем князя, расставлены люди, которым было поручено стеречь возвращение доктора, поехавшего на другую сторону реки, и в случае нужды быть готовыми подать помощь; потому что река сердито рвала оковы, положенные на нее сильным морозом, который продолжался уже с неделю, и с шумом несла довольно толстые льдины на пенящихся волнах своих; низовый ветер сильно вздымал волны и бушевал в пустынном поле; паром изломало, канаты оборвались, и переправа в челноке была опасна; рыбак, крестясь, закрывал окно и прибирал сети.

Два человека подходили к реке с противоположного берега. «Ну, барин, нече сказать, погодка! Эк ее ревет! Словно полоумная!» — говорил молодой парень в синей рубахе и с армяком, перекинутым через плечо, указывая на реку своему спутнику. «Опасна переправа?» — спросил тот, следуя за крестьянином. «Коли пить неопасна, батюшка? Гляж-ка, как месяц-то проглянет, так беляки и ходят! Да и ледок-то! Вишь, господь какую зиму послал было! Ан вот, не тут-то было». Между тем они сошли к реке, и крестьянин начал отвязывать веревку, которою был привязан у берега небольшой челнок. Товарищ его задумчиво смотрел то на небо, по которому неслись быстро разрезываемые ветром тучи, то на реку, шумно ревущую. «А что, батюшка,— сказал крестьянин, становясь в челнок и встря-

хивая кудрями,— вашей милости не ночевать ли в деревне? У священника домик хоть куда, да и у старосты изба хорошая».— «Разве ты боишься?» — спросил его спутник. «Нашему брату, батюшка, за-обычай; мы не то, что ваша милость; для вас дело непривычное, боязно». Вельский, ибо это был он, задумался. «Вишь, этот Ванька!— продолжал крестьянин.— Баял ему батько; не ходи; вишь, тает, да и погода-то разыгрывается. Александр Иванович не спесив и милостив; ну переедет реку, а после, как ее взорвет, что станем делать? Нет; так воет себе да вопит: вишь, отец-то умирает». В душе Вельского боролась мысль об опасности и долге; князь был болен, ожидали его. Не для него ли был он в доме? Не имел ли права тот требовать от него строгого исполнения его обязанностей? Мысль о долге всегда была непоколебимою в душе его. Он надвинул шляпу, застегнул плащ и приблизился к лодке. Но мысль, что он подвергается опасности не один, остановила его. «Если я не поеду,— спросил он крестьянина,— ты останешься здесь или переедешь?» — «Как же, батюшка? А то дома и невесть чего надумаются! Да ее и не перереждешь! Эк сердится! А на заре барская молотьба».— «Ну так поедем»,— сказал Вельский, садясь в челнок. «Э, батюшка, смелым бог владеет. Господи, благослови!» Он перекрестился и сильною рукою толкнул веслом в берег; челнок понесся по волнам.

Долго, искусно пробирался он между льдинами, которые напирали со всех сторон, потому что ветер, противный течению реки, останавливал стремление их и громоздил одна на другую. Вельский и спутник его работали дружно; но течение уносило их вниз, волны непрестанно грозили опрокинуть легкое судно, и стремление льда вырывало весла из рук их. «Посмотри,— сказал Вельский,— нас далеко отнесло вниз. Видишь, где горит огонь на берегу?» — «Видно, для вашей милости разложили огни»,— отвечал крестьянин и принялся сильнее работать; вдруг сильный порыв ветра нагнал новую льдину; столкнувшись с другими, она сшибла одну, взгромоздившуюся на другую, падение ее очистило воду около лодки, но тем с большим стремлением ударилась льдина о весло и понеслась вниз по реке, увлекая его за собою. «Что будем делать!» — вскричал крестьянин, еще стараясь остальным противиться стремлению. С некоторым отчаянием привстал он с места и, смотря в ту сторону, где был огонь начал кричать. «Авось услышат!— сказал он.— Нет ли кого на берегу?» Тррр... Новая льдина, нанесенная волною, опроки-

нула челн... Крестьянин вскочил на нее, подавая руку Вельскому, и оба понеслись, предавшись ярости реки.

Все встревожено в доме князя З...., все бегает, суетится. Комната Вельского наполнена людьми; на турецком диване лежал Вельский; зеленый сафьян подушки, на которую склонилась голова его, отражает бледность его прекрасного лица, покрытого тенями смерти... Где же ты, Мария? Для чего так безмолвно, в отчаянии, стоишь ты, неподвижная, как безжизненный друг твой? Для чего не подойдешь к нему? Смотри: он ждет твоей помощи. Еще не совсем угасла надежда. Люди, посланные тобою, подоспели к нему тогда, когда последние силы начали изменять ему. Ты не боялась бури, ни дождя осеннего, когда смотрела в темную даль реки и ждала его возврата; ты стояла на коленях, когда вынесли на берег любимца твоего; ты согревала дыханием руки его; ты хотела возвратить ему жизнь... Не красней! Я не открою девической тайны! Никто не видал, как уста твои коснулись благородного чела его. Ты почитала его погибшим; это извинительно: то был первый и прощальный поцелуй любви. Почему же теперь не подходишь ты, не поддерживаешь рукою головы его, не собираешь кудри с чела? Для чего Софье предоставила ты эту заботу? Твой взор устремлен на нее; на лице ее, орошенном слезами, ты хочешь прочесть свой приговор. Софья на коленях возле дивана, на котором лежит Вельский; она трет ему виски, руки; плачет; княгиня также старается привести его в чувство; но вот улыбка озарила лицо плачущей девушки; видишь, Мария? О, на колени! Он жив, он открывает глаза! Первое слово его: «Софья! Мой ангел-спаситель!..» Мария! Знаешь ли ты, что образ девушки, виденный им на береге, когда на минуту ты привела его в себя, слился теперь в душе его с образом Софьи? Разуверишь ли ты его, скажешь ли: «Не Софье, мне обязан ты жизнию?» Нет; я знаю тебя. Робость никогда не допустит тебя сказать того. Всем жертвовать для других, не оставляя ничего для себя, есть удел прекрасной души в этом мире; любить с самоотвержением есть удел женщины. Ее награда нередко одно сознание пользы, часто никем незнаемой жертвы...

Горячка не оставляет Вельского. Вот уже несколько дней привезенный из ближнего городка врач не подает никакой надежды. Больной никого не узнает; но бред изменяет тайне души его. Несвязные слова непонятны для

других; но сердце Марии собирает их, а может быть, и надменной подруги ее. Умирающий Вельский был теперь только великодушным другом человечества, прекрасным, любезным, образованным и страстно любящим молодым человеком: доктор в нем забыт. Его опасность говорит в пользу его воображению молодой девушки.— Бедная, бедная Мария!

Смерклось; в комнате больного никого нет; две подруги прокрались тихо к постели его. Он дышит тяжело; лицо его, покрытое краскою горячки, обращено к стене. Софья положила руку на сердце его; облокотясь на плечо ее, Мария смотрит.— Но вот дыхание его становится тише, краска исчезает, он вздохнул; взор его устремляется на Софью. «О, повтори,— сказал он, приподнимаясь, озаренный внезапной радостью,— повтори, Софья, божественное признание: ты любишь меня! Не сейчас ли ты была здесь, ты говорила мне: «Люблю!» О, это слово возвратит мне жизнь! Скажи, скажи его теперь!» — говорил он, привлекая на грудь свою девушку, и лицо его сияло неземным счастием. Софье все это: и болезнь его, и признание, и странный бред — все казалось тайным указателем судьбы. Она не смела, да и не для чего было противиться роковой силе, когда и собственное сердце говорило в пользу несчастного! Она обняла его одною рукою, положила слабую еще голову его на грудь свою. «Так, Вельский,— сказала она,— я люблю тебя и клянусь тебе здесь, священным этим часом, вечно, о, вечно любить тебя!» И поцелуй, первый поцелуй любви, запечатлел эту клятву. Существенность и грезы больного воображения слились в одно в уме Вельского; он предался счастию любви безотчетно, не зная, как это случилось; он был счастлив в своем полудействительном существовании.— А Мария? Выходя из комнаты его, она судорожно прижала Софью к груди своей; две крупные слезы канули на лицо счастливой девушки. «Составь его счастие, Софья!»— сказала она и скрылась быстро: она ушла на могилу матери, и там долго, долго слезы ее капали на холодный мрамор.

Выздоровление Вельского было быстро: любовь и счастие подавали ему фиал жизни. Скоро, хотя слабый еще, он мог явиться в залу. Кто испытал счастие видеть любимца души своей, возвращенного жизни после болезни, грозившей похитить его, тот поймет чувствования двух подруг, и хотя положение их было очень различно, но чувства в этом отношении одинаковы. Мария не думала: «Он не для меня воскрес»,— воспоминание страшного опасения

навсегда потерять его было еще слишком живо, чтоб могло допустить личность. Нет; Мария наслаждалась мыслию, что он спасен, что он живет, что она опять видит его, что страшный призрак смерти не грозит ей более. Смерть!.. Ужасное слово! Вечная разлука! Как жить в мире, где нет его? Видеть солнце в прежнем блеске, прежнюю красоту небес, тишину природы, всеобщую жизнь, тогда как для нас все изменилось?.. Счастлив, кто, вознося взоры к небесам, читает в них надежду: *там!* Мария нашла бы это утешение; другая, может быть, как знать?.. предпочла бы его известности, что он живет не для нее; но любовь Марии была истинная любовь женщины, которой сущность есть самоотвержение, жизнь в другом: и, смотря на Вельского, она наслаждалась тем тихим удовольствием, которое едва ли есть не верх счастия земного, когда душа, полная сознанием минувшей опасности и счастия настоящей минуты, дорожит ею, как мать тихим сном своего перворожденного. Сознание, редкое в жизни, может быть, знакомое только тем, кто после непогод жизни вдруг находит верную пристань. Мы знаем счастие в мечтах, признаем его в воспоминании; но в настоящем оно является к нам всегда как незнакомое, гостит неузнанное, и только по удалении его мы говорим, как некогда благочестивый израильтянин*: «То был посланник бога».

И Вельский был счастлив! Он пил чувство жизни и наслаждения из полной чаши. Может быть, еще слишком слабый, чтоб осветить лучом рассудка свое положение или проникнуть в таинственный мрак будущего, он предавался прелести настоящей минуты, как младенец. Для него настало время, когда безделка наполняет душу неизъяснимым счастием, когда однообразная, по-видимому, жизнь богата ощущениями; та таинственная, внутренняя жизнь, которая извлекает все из сердца, мало заимствуя от внешности, и кажется длинною цветочной цепью, в которой всякий листочек, самый малый, имеет цену важную; жизнь, мало знакомая мужчине, может быть, способному любить сильнее, пламеннее, но... голова его слишком высоко от земли, чтоб приметить цветы мелкие, хотя и ароматные, из коих с таковою радостью женщина сплетает венок жизни. Он любит, как учится философии, когда назначение его есть математические науки: в объеме целого, а не в подробностях. Но выздоровление есть полужизнь, а в полужизни преобладает чувство, а не разум... следственно... но

---

* Маное, отец Самсона. *(Примеч. автора.)*

я не выведу следствия, чтоб не нахмурилось иное миленькое личико.

Опять Софья пела, и Вельский слушал ее в тихой мечтательности; она сама казалась ему дивным аккордом в гармонии создания. Иногда сидели они подле княгини, Мария читала, и взоры любовников встречались, когда мысль автора имела отношение к чувству, наполнявшему души их. Но отец, но предрассудки его, но рассудительность Вельского, надменность Софьи? Э! Им было двадцать три и семнадцать лет, а любовь их считалась еще днями!.. Подождем.

Яркий свет, изливавшийся из окон огромного дома на Литейной, заставлял останавливаться прохожих и возбуждал минутное любопытство проезжего, несущегося в легких санках. Не одна красавица, выставив из окна кареты разрумяненное морозом личико, утóнувшее в черном соболе, обвившемся около шейки ее, с тайной завистью говорила: «Какой съезд! Верно, огромный бал!»

Это был бал блестящий. Князь З.... назначил день для приема, и вечера его открывались балом. Дочери его было семнадцать лет; пора!.. Ему хотелось вступить снова в службу; полно же жить для себя, пора служить отечеству... Бал был прекрасный: дипломаты, знать, все было тут. По обыкновению, дом казался садом цветущей Греции, где между зеленью и цветами порхали нимфы, очаровательные, как пленительные мифы древних сказаний ее. Танцевали двенадцатую кадриль; веселье было во всем разгуле; все шумело, кипело, горело: и взоры красавиц, и желания, и надежды; по местам составляли вторую партию виста, начиналось тинтере, экарте. В дверях танцевального зала, прислонясь к стене и сложа на груди руки одна на другую, стоял знакомец Вельский в черном платье, всем чужой, в роли наблюдателя, с странным выражением во взоре. Как он попал сюда? Он и сам того не знал. Запискою Гутенгерца его просили приехать на бал. Уже две недели, как он видал Софью только сквозь двойной лорнет, сокращающий расстояние между кресел и первым ярусом лож, в окно кареты, мельком на Невском, набережной или в магазине, куда, как бабочка, влетала она в сопровождении отца или какой-нибудь тетушки княжны, живым каталогом родословных. Софья кивала Вельскому головкою с тем неподражаемым, необъяснимым взором, который посторонние принимают за взор

светской приветливости, а любовник — за целый лексикон нежностей. Ему не хотелось явиться в свете, ему незнакомом, где он не у места, где он увидит Софью в блеске, напоминающем ему различие их состояний. Захочет ли она бросить этот фантасмагорический мир роскоши и блеска для мирной жизни, хотя бы и привольной, человека, которому положение его в свете назначило круг, не смежный с настоящим кругом Софьи? Он мог бы оставить этот круг, конечно; но тогда должно будет жить именьем жены... Студентская гордость юноши еще не стерлась в сердце его частым соприкосновением света и жизненных потребностей; немногие сохраняют на всю жизнь эту неугомонную подругу юности; но случается! Вельский еще не потерял ее; нет, он будет иметь довольство жизни; но им обязан будет единственно себе; еще мысль нравственного унижения не разучилась вызывать пламенную краску на лицо его; еще положительность не обняла всего бытия его; еще отвлеченные слова: благородство, честность, чистота души, великодушие звучали громко в ушах его, были понятны ему в отвлеченном смысле, а не в приложении их к домашнему обиходу светского искателя. Так думал он, может быть, стоя в дверях залы, в которую привлекла его мысль: «Где же иначе увижу ее, узнаю наконец, чем должна кончиться эта тягостная жизнь, несносная сердцу любящему?» Но на бале место ли объяснений? Он видел Софью, летающую по зале в вихре вальса: как лебедь, любующийся стройными движениями своими в светлом зеркале пруда, она, едва касаясь земли, являлась в кадрили каким-то божеством, разделяющим забавы смертного: раза два встретясь с ним, она тихо пожала руку его; взор ее был тогда печально выразителен; но что хотел он сказать? «Позову ее на круг вальса»,— решительно сказал Вельский, надевая белую перчатку.— В это время оркестр повторял резвые такты вальса, но где она?— Сердце его билось немного при мысли вальсировать в этой аристократической зале, не потому, чтобы он чувствовал себя недостойным попирать прах ее, нет; но потому, что внутреннее чувство говорило ему, что здесь достоинство его как человека не может быть оценено, что здесь является всякий в ливрее, данной обществом, а его не носила ярких цветов, господствовавших в кругу, где находился он. Скромное назначение, высоко возносившее его в хижине страждущего человечества, могло быть унижено здесь, где оно являлось, по мнению многих, только с клеймом наемника...

Тихий удар по плечу прервал размышление Вельского

и заставил его оглянуться: это был Гутенгерц. Молча дал он ему знак рукою следовать за собою: они прошли, также молча, несколько ярко освещенных комнат; по мере удаления от центра веселия свет, звуки музыки, говор людской, шум бала — все слабело; не зная сам отчего, Вельский чувствовал, что сердце его билось. Куда ведут его? Он входит во внутренние комнаты особ, к которым еще недавно, месяц тому назад, имел свободный доступ и к которым ему не позволено теперь являться: его просили о том запискою милой руки. Зачем он на бале? Зачем в этом уединенном, темном кабинете, куда свет проникал только из другой комнаты сквозь легкую цветную кисею, натянутую по решетке готической двери, ведущей в другой кабинет?— Отворить эту дверь?.. Он подходит, берется за ручку замка; но голоса останавливают его; он смотрит сквозь розовую ткань кисеи; он видит княгиню: в бальном платье она стояла посреди комнаты, держа в объятиях Софью, также богато одетую, с обнаженными плечами, по которым скользил бледный свет лампы, разлившей сквозь алебастр таинственный полусвет в комнате. Они обе плакали; но, казалось, то были слезы нежности, а не горести. Лицо Софьи представляло странную смесь чувствований; она была восхитительно хороша! Вельский не смел дышать. Княгиня говорила: «Так, Софья, бог наградит тебя за покорность; детская любовь никогда не остается без награды. Мечты останутся мечтами, милая,— прибавила она, улыбаясь с нежностью,— любовь, богатство, историческое имя графа вознаградят тебе утрату их». В эту минуту боковая дверь в комнату, где была Софья, отворилась, князь вошел в сопровождении молодого, незнакомого Вельскому человека с приятной наружностью, изнеженного баловня гостиных и будуаров. «Рекомендую вам сына, княгиня,— сказал князь, представляя незнакомого.— Граф,— продолжал он, взяв за руку Софью,— вот невеста ваша: вам приятнее будет слышать от нее самой ее согласие». И что же? О торжество детской покорности! С веселой улыбкою, несколько краснея, но с уверенностию светской девушки, Софья подала руку графу, которую он поцеловал с восторгом жениха... Вельский не слыхал ответа ее; в глазах его потемнело... Что-то холодное, падавшее ему в лицо, привело его в себя. Он стоял на тротуаре набережной Невы, там, где Фонтанка вытекает из нее, теперь окованная и неподвижная в гранитных берегах своих. Ни одна звезда не горела в небесах, свинцовым куполом нависших над столицею; все было тихо кругом его; редко проезжал запоздалый

извозчик, насвистывая унылую песню; снег пудрил его бобровый воротник.

На другое утро, едва открыв глаза, он получил записку от приятеля своего:

«За большое удовольствие поставляю себе, Л. Д., известить вас, что начальство назначает вам место инспектора в ...; конечно, полторы тысячи верст далеко; к тому же это не исполняет желания вашего служить в глазах начальства; но в ваши годы, подобный знак доверенности, и проч. и проч.».

— Кому обязан я этою милостью?— спросил Вельский своего приятеля, встретясь с ним при разъезде Большого театра.

— Вы родитесь в сорочках, милостивые государи,— отвечал тот.— За вас, не так, как за нас, маленьких людей, ходатайствуют дамы; говорят,— примолвил он, улыбаясь лукаво,— княжна З.... невеста графа В....

— А!..— сказал Вельский, надевая шляпу и поспешно оставляя удивленного приятеля.

Летом 183*** года, через десять лет после того, как Вельский сел в дилижанс и отправился в ...ск... Через десять лет! Как многое должно было перемениться в течение этого времени! Итак, в 183*** году, в июле месяце, в один из тех дней, которыми природа дарит северных жителей изредка, как расчивившийся скупец (известно, что в подобных случаях подарки их отличаются пользою и изяществом), в небольшом, но красивом домике на Черной речке, на покойном турецком диване лежала женщина в щеголеватом полунаряде больной, которая еще имеет довольно жизни, чтоб выходить на террасу любоваться темной зеленью садов и принимать друзей. Она была лет тридцати. Впалые щеки, живой румянец и глаза, блестящие не свойственным им огнем, показывали ясно болезненное состояние. В комнате стояло фортепьяно; в открытое окно вместе с теплым воздухом полудня вливались ароматы цветника, пестревшегося перед окнами. Больная держала в руке маленький золотой медальон, который рассматривала, продолжая разговор, по-видимому занимательный, с старичком, сидевшим возле ее дивана в больших креслах.

— О, теперь я всякий день позволяю себе это удовольствие,— говорила дама,— в течение шести лет, то есть со дня моего замужества, я не смела открывать заветный

медальон. Вы помните этот день, друг мой?— прибавила она, помолчав минуту, с меланхолическою улыбкою.

— Когда по воле княгини вы отдали руку вашу ее родственнику...

— Да; не все ли было мне равно, что бы ни случилось со мною? Он не существовал для меня; Софью я не находила более в вихре удовольствий, увлекавших ее. Сергей Антонович желал, кажется, больше всего моего маленького именьица, которое было у него под рукою, может быть, чтоб избежать чресполосного владения; строгое исполнение обязанностей супруги и дружеское расположение было все, что нужно для его счастия. Отдавая ему мою руку, я исполнила желание княгини; этим некоторым образом платила долг мой за ее попечение о сироте... К тому же любовь была тогда в душе моей не то уже... ничего нет вечного на земле, добрый мой Гутенгерц... даже и страдания; все сглаживает привычка. Поверите ли? Мне жаль и жизни по привычке к ней. Здесь останется у меня много друзей,— прибавила она с улыбкою, между тем как слеза трепетала на реснице ее,— вы, небеса, липы, вечерняя заря...— Она посмотрела на медальон; батист сильно поднимался на груди ее.

— Полноте, моя милая, старинная ученица; к чему эта грусть?— сказал с принужденною веселостью Гутенгерц, взявши ее за руку.— Мы опять поправимся, опять примемся за наше фортепьяно. Какие вариации Черни я принес сегодня! Чудо! А хор бардов из «Нормы»? А? Да мы достанем что-нибудь из «Гугенотов» и «Еврейки»! Мы еще попируем на свете. А новый романс вашего божественного, как вы его называете... а? В том же тоне, как и «Trost in Thränen», который вы так хорошо поете... О, мы еще споем!— Она улыбнулась.— Спрячем опять медальон,— продолжал старик, протягивая руку к медальону, но она прижала его к груди, приметя его движение.— Здоровым ведь не позволены подобные игрушки...

Она вздохнула...

В эту минуту отворилась дверь. Сергей Антонович взошел с веселою улыбкою.

— Ну что, душа моя, какова ты?— сказал он, целуя ее в лоб.— А я очень доволен моею поездкою. Дядюшка Иван Павлович рекомендовал мне доктора, который теперь в славе; прекрасный человек, в лучших домах и, говорят, чудеса делает! Он сейчас будет сюда.

Больная покачала головою.

— К чему ты все беспокоишься обо мне,— сказала

она ласково и с признательным взором.— Это пройдет! Право, нет опасности.

— Пройдет! Пройдет! Вот уж третий год, как я это слышу. Положим, нет опасности; но это непрестанное страдание, биение сердца? Во всех ваших повестях только и говорят об аневризмах; ты и начиталась о них! Вот приедет доктор и разуверит тебя, что никогда его у тебя не было.

— Да я и не думаю. Зачем же доктор? Я очень верю моему старому Кларку...

— Ну, а этот нестарый,— сказал с живостью Сергей Антонович, остановясь перед больною,— но, верно, знает побольше. Он у всех знатных, ты слышишь?— Взор, брошенный на страждущее лицо больной, умерил пылкость его. Он подошел и взял ее за руку, продолжая просящим голосом:— Ты посоветуешься с ним для моего спокойствия.

Больная пожала его руку.

В это время послышался стук колес; легкая колясочка остановилась у ворот домика.

— Можно ли видеть больную?— спросил тихий голос человека, вошедшего в комнату и остановившегося за ширмами, заслонявшими от входа кровать больной. Она затрепетала.

Доктор подошел к ней.

Легкое стенание вырвалось из груди ее; взор, исполненный радости и любви, остановился на лице доктора; он взял ее за руку... что-то упало к ногам его. Доктор наклонился: раскрытый медальон лежал на полу с портретом Вельского...

Доктор затрепетал.

— Мария!— вскричал он...

Но Марии уже не было!

— Доктор говорит, что у нее точно был аневризм,— сказал Сергей Антонович, отирая горючие слезы, обильно лившиеся по его полным щекам.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ее сиятельству
княгине Софье Алексеевне
ГОЛИЦЫНОЙ

Простите мне, Княгиня, что беру смелость украсить именем вашим ничтожный труд мой; примите его как слабый знак глубочайшей преданности моей и позвольте надеяться, что вы станете смотреть не на достоинства дара моего, но на чувство, которое вам его приносит.

Сочинительница

Давно уже на вечерах доброй старушки нашей не было и помину о повестях; мы собирались к ней по-прежнему, но все как-то были заняты другим: то приносили новый роман, то случались гости, которые не принадлежали к ее домашнему обществу, а в подобном случае повестей не бывало, и Наталья Дмитриевна (могу ли надеяться, что читатели мои вспомнят ее?),— Наталья Дмитриевна становилась обыкновенною светскою дамой, которой любезность заставляла забывать о картах, а добродушие останавливало пересуды и злословие. Наконец в один вечер около столика ее собрались одни короткие; я была в том же числе; мы посмотрели друг на друга, на стол; на нем не было ни одной книги, ни даже журнального листа: это значило, что старушка приготовляется слушать повесть. Она уже окинула беглым взором шляпы своих посетителей: не глядит ли откуда

кончик рукописи; но, кажется, была недовольна обзором; однако молчала. Любинька придвинула к ней корзинку с работою; доктор занял свои креслы; Горский во впадине окна рассказывал Проновскому городские новости; в это время Вельский, который искал в углу скамеечку для Натальи Дмитриевны, заторопился, задел за пяльцы Любиньки и тррр! Ножницы, наперсток, картонки с клубками шерсти, узоры — все полетело в разные стороны! Горский и Любинька бросились помогать бедному артиллеристу, который покраснел, как — нет, нельзя сказать: как роза; как роза, краснеют только девушки; а щеки Вельского, смуглые, покрытые загаром, не могли бы выдержать подобного сравнения, и потому, когда Наталья Дмитриевна, вздрогнув от стуку, начала журить своего Дон-Жуаника, Любинька выдернула из букета, который стоял подле нее в фарфоровой вазе, полную, пышную, малиновую далию и поднесла ее проворно к щеке Вельского.

— Не браните же, тетенька, г-на Вельского,— сказала она,— посмотрите, он покраснел, точно эта далия. Взгляните, взгляните! Право, не бледнее ее!

— Ну помиримся, мой любезный Жуаник; бог тебя простит! Видишь ли: я, как искусный дипломат, хочу показать гнев свой гораздо сильнее, чем он есть, для того чтобы иметь право требовать больших вознаграждений. Вы, милостивый государь, за вину вашу должны рассказать мне повесть.

— Я, Наталья Дмитриевна? Да разве прикажете мне рассказывать о наших школьных сражениях, хитростях, шалостях и тому подобном? Или о последних маневрах и жизни на биваках?

— Все это прекрасно, ты знаешь, с каким удовольствием я читаю военные рассказы.

— Марлинского?— Но посудите, после этого имени найду ли я хоть слово!

— Как хочешь. Не ронять бы пялец. Я слушаю, г-н Вельский, я слушаю.

— Дядюшка! Да вступитесь же в мое горе.

— А что же я могу сделать? На приговоры дам нет апелляций, мой друг.

— Хоть завтра, Наталья Дмитриевна!

— Сегодня же, и непременно.

— Повинуюсь.— Но позвольте по крайней мере рассказать вам повесть, случайно слышанную, и к тому же взятую не из нашего времени.

— Я не люблю спорить; быть по-твоему; но все ты должен будешь рассказать мне когда-нибудь повесть из собственных воспоминаний.

— О, с радостью! И я вам припомню это приказание.

— Увидим; а теперь без отговорок! Садись сюда вот, возле меня.

— По крайней мере будьте же снисходительны.

— Ничего, ничего! Мы люди добрые,— сказал Проновский,— если и услышишь, то Иван Карлович скажет спасибо! Наталье Дмитриевне это нужно.

— Вы знаете...— начал Вельский.

— А заглавие-то? Как же заглавие?

— Заглавие?— Как бы! Пусть будет хоть:

НЕМАЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА.

— Смотри,— сказал Проновский,— ты напомнишь нам инока Натальи Дмитриевны.

— Мне это будет очень невыгодно, я не смел бы состязаться с нею.

— Шутите, шутите! Друзья мои, смейтесь над старушкою, если это забавляет вас. Не станем же терять времени, Вельский. Ну! «Вы знаете...»

— Но я не могу рассказать, Наталья Дмитриевна; если вы позволите, я привезу из дому записки.

— Ты несносный человек, мой Жуаник; поезжай, привози, да бога ради скорее.

Через четверть часа Вельский возвратился с тетрадью в руках. Он положил ее подле Натальи Дмитриевны и начал:

— Мне надобно прежде сказать вам, как достались мне эти записки. Вы знаете, что дядюшка года четыре тому назад, то есть тогда, как я, получа чин поручика, вышел из школы, жил в деревне в Тверской губернии. Он позволил мне приехать к себе, и я, разумеется с восторгом, полетел в места, где так счастливо протекло мое детство.

Из Новгорода мне надобно было своротить с большой дороги, чтоб по приказанию дядюшки заехать к одной пожилой родственнице, жившей неподалеку от Порхова, этого хорошенького городка с развалинами старинной крепости и живописными окрестностями, некогда бывшего одним из пригородов великого Новагорода. Смиренные граждане его проходят теперь равнодушно мимо высоких башен, господствующих над городом, не думая о праотцах, которых сердца некогда трепетали при звуке вечевого колокола, а оружие с зубчатой стены громило, может быть, ряды литов-

цев. Теперь все тихо на полях около Порхова; одни башни его, возвышаясь в синеве, еще издали чернеются, говоря сердцу о событиях минувшего.

Я проехал Порхов рано утром и пустился по проселочной дороге; вы знаете, как они вообще узки и худо содержаны; мне пришлось ехать вскоре после больших дождей; дорога была изрыта в колеях, рытвины наполнены водою, и в некоторых местах не было даже мостов, или были, но очень плохие. Не доезжая еще верст пятнадцати до последней перемены, бричка моя опрокинулась на косогоре, ось переломилась пополам, и я остался на распутьи, что называется, как рак на мели. Что было делать? До деревни еще было далеко; нигде кругом ни малейшего признака жилья, влево крутоберегая Шелонь, вправо сжатое поле, по местам еще несколько несвезенных копен; вдали все поле, гладкое поле с вьющеюся дорожкою, а далее темный лес. Ни одной души, ни одного звука, который обещал бы близкое селение. Нечего было делать! Мы принялись с ямщиком кое-как увязывать нашу бричку. Пока мы хлопотали, мне послышался скрып колес; я оглянулся: на косогор взбиралась сноповая телега с огромным возом гречи. Молодая женщина, довольно красивая, вела под уздцы лошадь, на которой сидел верхом румяный, довольно запачканный ребенок и с торжеством погонял жгутом, свитым из ракиты, тощую лошадь, едва-едва тянувшую свой груз. Крестьянка показалась мне по крайней мере нимфою, может быть, потому, что тот всегда хорош, в ком имеем нужду. Я спросил ее о ближней деревне, где мог бы достать хоть телегу, и моя сельская нимфа сказала мне, что верстах в трех есть господское селение, где починят мою бричку. Я поблагодарил добрую вестницу...

— Как же вы ее благодарили?— спросил Горский.

— Боже мой! За кого приняла бы она меня, если б я не поцеловал ее с добрым: спасибо!

— Не прерывайте его бога ради,— сказал Проновский,— а то он, как Санхо-Панса, начнет опять с первого слова.

— Мы припомним, где он остановился... но я... виноват, забыл. Помогите, Любовь Ивановна.

— Г-н Вельский, верно, пошел в ту сторону, куда указала ему его нимфа.— Вы, верно, хотели знать, слушаю ли я, г-н Горский?

Наталья Дмитриевна погрозила пальцем, и все замолчали. Вельский начал.

— Да, мы пошли по каменистой дороге возле нашей

брички, которую, кое-как увязавши, везли бережно, как воина, с честию павшего на поле битвы.

Мы остановились на самом краю деревни, против небольшого, почти развалившегося строения, внутри которого трещал огонь и слышались удары молота. Это была желанная кузница. Но что было делать, пока чинят нашу бричку? Мне сказали, что за рекой есть барский дом с садом и церковь, и я отправился ходить. Местоположение деревни было очень приятно. Около тридцати, а может быть и более, дворов с садиками были рассеяны по высокому холму, который отлого сходил к реке, где и оканчивался крутым обрывом. На этом же берегу другой холм, покрытый зеленою озимью и также с деревенькою, рассеянною по вершине; по другую сторону реки, прямо против лощины, образованной отлогостями двух холмов, круто поднимался высокий берег, по которому раскидывал широкие тени свои старинный сад, богато убранный всеми пестрыми цветами осени; яркие лучи полдневного солнца играли на его разноцветной зелени. Мелкие кустарники разнообразными массами свешивались над рекою, которая текла внизу голубою лентою, вырываясь из-под мельничной плотины, служившей сообщением между деревнями и усадьбою. Из-за саду виднелся господский каменный дом с двумя флигелями и заколоченными наглухо окнами, обвалившийся, поросший травою по кровле, но еще сохранивший следы барской жизни прежних хозяев. Далее возвышались небольшие готические башенки старинной деревянной церкви и колокольни в виде осьмиугольной башни с чешуйчатым куполом. Этот вид пленил меня; я перешел плотину и по заросшим аллеям сада, покрытым мягким ковром опадающих листьев, вышел на широкую площадь, посереди которой возвышалась церковь, обнесенная каменною оградою с крытыми воротами в виде часовни. Без всякого сомнения можно было предположить, что не одно столетие видело ее крепкие сосновые стены. Я вошел в ограду и к удовольствию моему увидел пожилого человека, в котором по одежде легко узнал священника. Он шел ко мне навстречу и по просьбе моей согласился показать мне церковь. Это было древнее здание в виде совершенно неправильного многоугольника с маленькими неровными окнами, из которых одни еще сохранили остатки слюды, в других видны были железные решетки. Узкая галерея, до половины забранная тесом, окружала его со всех сторон, так что крыша, поддерживаемая столбиками, разделяющими каждое звено галереи, и примкнутая к глав-

ной стене, обрисовывала столь же неправильную угловатую линию, как и основание храма. Мы вошли. Темнота, царствовавшая во внутренности, мрачность стен, расписанных алфреско, большими темными фигурами, почерневший иконостас с позолоченными столбиками, которые разделяли его от верху до низу на множество неравных прямоугольников, тяжелые резные царские врата грубой работы, задернутые малиновою завесою, два придела, совершенно отделенные от церкви и соединенные с нею только низенькими узкими дверями, которые, будучи отворены, казались входом в какие-то пещеры,— все это внушало невольный ужас. Я остановился: яркий луч солнца проходил в церковь в отворенную дверь правого придела, как таинственный луч небесного света сквозь мрачные своды пещеры молящегося отшельника. Я невольно подошел к клиросу. Подле самой двери большой черный киот с почерневшими от времени золотыми украшениями поразил взор мой. Я подошел ближе, чтоб рассмотреть его. Внутренность киота была обита черным бархатом, посередине был врезан небольшой золотой крест, на верхнем конце которого надето было кольцо того же металла с бирюзовым камнем; золотая довольно тонкой работы цепь окружала его в два ряда. На нижней части киота под стеклом находилась золотая резная надпись церковными буквами: ѡѰНА ГД҃Ъ.

Я спросил священника, что это значит.

— Не могу вам сказать,— отвечал он,— киот поставлен еще до меня.

— Не сомневаюсь, батюшка; но, может быть, вы слышали что-нибудь.

— Я как-то не любопытствовал.

— Не знает ли кто-нибудь из церковнослужителей или стариков деревенских? Да здесь, я думаю, есть и дворовые люди. Вероятно, это было поставлено здешними помещиками.

— Навряд ли сыщется кто-нибудь, кто мог бы вспомнить, когда принесен и кем поставлен киот; все так уже привыкли видеть его, что никому и не вздумалось, вероятно, спросить у стариков, которые могли бы это помнить. Мы живем здесь, как видите,— прибавил он, улыбаясь,— мало заботясь о том, что не имеет к нам прямого отношения. Впрочем, если вы так любопытны, то мы можем спросить тестя моего, на место которого я поступил сюда. Он живет с нами, очень уже слаб, но, может быть, и помнит еще что-нибудь... если вам угодно, я приведу его сюда.—

Священник пошел, а я остался, спрашивая сам себя: как могло случиться, что человек столько не глупый, как казался мне, и, вероятно, учившийся в молодости, имел так мало любопытства, которое я всегда почитал признаком образованности? Так много значит для человека навык! Теряя с каждым днем привычку заниматься предметами отвлеченными, он заключается мало-помалу в тесном объеме мелочной жизненной деятельности и становится чужд всему, что не входит в круг его обыкновенных занятий; с каждым днем тускнеет умственный взор его, остающийся в праздности, и скоро он становится совершенно подобным тем, которые никогда ничего не знали дальше полосы земли, засеянной их руками.

Через несколько минут священник возвратился, ведя под руку старичка, белого как лунь, в темно-зеленом нанковом полукафтанье; остатки седых волос на затылке и висках были собраны в пучок и перевязаны снурком; он опирался на толстую желтую палку с вызолоченным набалдашником, подарок помещика, как узнал я после. Чугунный крест 12-го года на Владимирской ленте украшал грудь его. Наружность его дышала спокойствием безмятежной жизни и внушала невольное почтение. С ним пришла девочка, лет осьми, с большими черными глазами, румяная и жеманная, в большом желтом платке, который беспрестанно охорашивала, кажется, чтоб обратить на него мое внимание. Младший священник подал старику стул, обитый черною кожею; он сел на него, извиняясь слабостью ног, бог ведает отчего приключившейся, как говорил он; внучка, держась за полу его платья, стала подле него, смотря на меня своими быстрыми глазками.

— Вам угодно знать, каким образом достался этот киот в церковь нашу,— сказал он мне, после того как я подошел принять его благословение.— Вот изволите видеть: он привезен сюда не издалека — из села Ясок. Я был тогда еще мальчиком лет осьми или десяти, вот не больше Малаши; родитель мой был дьяконом, а я прислуживал в Ясецкой церкви, носил связи, подавал кадильницу и все, что следует для службы. Верстах в сорока отсюда в верховьях Шелони есть обширная дача села Ясок, которая снабжает всю безлесную часть уезда и топливом, и строевым лесом; тогда это был темный, непроходимый лес, деревья, как говорят у нас попросту, что шапка валится. Теперь он уже посмельчал, но все еще много хорошего лесу сплавляют каждую весну вниз по Шелони в Порхов. Там, в ближних дачах погоста Дегжо, протекает небольшая речка, Се-

вера, в тех местах, откуда отцу Иакову присылают Ясецкие наши родственники такую вкусную ягоду морошку. Славная морошка! Не угодно ли будет откушать? Покорнейше просим! Сегодня утром отец Иаков, дай бог здоровье, завез ее нам, приехав из Ясок.

Я поблагодарил и просил продолжать.

— Там, в болотной глуши на самом берегу Северы, стояла пустынька, и народ много рассказывал о трех отшельниках, некогда в ней спасавшихся. Говорили, что они истинно святого жития; я еще чуть-чуть это помню. Вот как последовал указ блаженной памяти государыни императрицы, чтобы отнюдь не позволять отшельникам жить по лесам в особых пустынях, двое из них скрылись неизвестно куда, а третий остался, и я еще помню его, пустынник Кассиан, вот как теперь гляжу. Теперь нет уже ни хижины, ни забора, но видны еще грядки и несколько плодовитых кустарников. Вот через несколько времени после того, как скрылись отшельники, как теперь помню, это было накануне Троицына дня; точно так. Мы убирали церковь березками да расстилали траву по полу; вот смотрим, батюшка, отец Макарий, идет; священник такой был строгий да осанистый,— а за ним монах, высокий, седой. Дьячков сын, мальчишка, постарше меня годками тремя, толкнул меня да и говорит: «Ведь это отшельник-то, что пропал!» Батюшка взглянул на нас так строго, что мы замолчали. Смотрим: монах поставил на столик киот, начал молиться в землю; батюшка окропил его святой водой и отнес в церковь; когда же он определился священником в наш погост, то перенес его сюда и велел поставить здесь, где вы теперь его видите. Вот все, что я знаю о нем.

— И вы никогда не слыхали от вашего батюшки или от священника, что это был за монах?

— Может быть, и слышал, но не упомню.

Не было надежды узнать ничего более; я подошел к киоту и начал его рассматривать. Дотронувшись до дна, мне показалось, что оно уступает давлению пальца. Я прижал сильнее, и дощечка, вероятно от времени сгнившая, выпала, и с нею сверток бумаги. Священники совершенно ничего не знали о нем; по долгом совещании они наконец решились позволить мне прочесть его. Между тем как мы думали, где сесть, черноглазая Малаша дергала дедушку за полу и шептала: «А форель-то, дедушка!» Священник вспомнил свое ласковое предложение, и на этот раз я не удовольствовался благодарностию. Мы пошли в дом свя-

щенника, Малаша побежала вперед, и там, между тем как приготовляли форель, я прочел вслух записки отшельника.

— И вы сообщите их нам? — сказала Наталья Дмитриевна.

— Если прикажете. Мне жаль, что я не мог списать рукописи и должен буду прибегнуть к запискам, которые тогда же набросал из памяти, придав им форму обыкновенной повести.

НЕМАЯ,
или
ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА

. . . . обо мне
И о судьбе моей жестокой
Ты, может быть, в стране родной
Слыхал не раз . . . .
***

Quand je te parlais pour la'première fois, tu vis cette croix briller sur mon sein; c'est le seul bien que possède Atalla... Reçois donc de moi cet héritage, ô mon frère! conserve le en mémoire de mes malheurs.

*Chateaubriand**

1

Около 1736 года левый берег Фонтанки, служивший тогда границею городу, был совсем почти не застроен. Огромные пустыри, редко даже обгороженные, несколько загородных домов, небольшие избушки бедных людей, инде остатки леса, пни срубленных деревьев, мелкий кустарник, болото, по которому по местам возвышались насыпи, служившие сообщением между рассеянными зданиями,— вот что представлялось взору там, где теперь в гранитных берегах пышно течет красивая река, отражая в светлых водах ряд великолепных каменных зданий. Недалеко от теперешнего Чернышева моста стоял небольшой красивый домик, примыкавший одною стороною к лесу, который в этом месте не был еще вырублен и, казалось, кудрявыми вершинами защищал смиренное жилище от резкого морского ветра. Домик был в один этаж, с высоким крытым крыльцом, черепичною кровлею и заваленною около стен;

* Когда я в первый раз говорила с тобою, ты увидел этот крестик, который блестел на моей груди при свете огня; вот единственная драгоценность, какою обладает Атала... Прими как залог любви моей, брат мой! сохрани его на память о моих несчастьях! *Шатобиран (фр.)* («Атала», перевод В. Садикова)

низменный частокол окружал чистый дворик и огород, и на воротах, по обоим углам крышки, красовались искусно вырезанные кораблики. Вправо от калитки три плакучие березы раскидывали гибкие ветви над зеленым лугом, по которому вилась светлою тесьмою узкая тропинка; несколько разостланных по мураве холстов возле самого забора служили белою каймою этому красивому ковру; маленькая семья желтобоких гусенят щипала траву под надзором и покровительством матери, которая посматривала вокруг с заботливостию, поднимая гордо белоснежную головку, или шипела, как змея, вытягивая шею, когда резвая черноглазая девочка в синем сарафане, с распущенною косою дразнила ее, разгоняя хлыстиком небольшое стадо. В самых воротах, настежь отворенных, что случалось чрезвычайно редко, опираясь на руку молодого человека очень привлекательной наружности, стояла молодая дама и с участием смотрела на эту простую и новую для нее картину. Одежда ее показывала женщину высшего сословия; богатое шитье украшало белую атласную юбку чрезвычайно широкую; корсаж такой же материи плотно обхватывал тонкий стан; целое облако кружев, тонких, как паутина, обвивались около белой полной руки, которой не постыдился бы и греческий резец; густые локоны под легкой пудрою, как игривые волны тумана, окружали прелестное лицо, оживленное веселою и вместе несколько насмешливою улыбкою. Все в ней: и небрежное наклонение головы, и поступь, и взор — показывало изнеженность и своеволие; она, казалось, баловник судьбы, который играет жизнию, как розою, заботливой рукой мамушек лишенною шипов, и если б не пламенный взор, вырывающийся иногда из-под длинных ресниц, как искра скрытного огня, можно было бы подумать, что ей в жизни было знакомо одно беспечное веселье. Она посматривала вкось с лукавою улыбкою на другую даму, также богато одетую, которая стояла подле нее, бережно осматриваясь и, кажется, боясь, чтоб соседство бедной избушки не повредило блеску ее атласного платья и шитых золотом башмачков; на лице ее изображалось что-то вроде отвращения или тайного страха, как при виде предмета, прикосновение которого пробуждает в нас неприятное чувство, и это-то чувство, кажется, забавляло красавицу. И в самом деле, посещение бедной хижины знатными дамами в то время было такою редкостью, что одна странная прихоть женщины могла произвести подобное явление. Впрочем, надо сказать правду, своевольная красавица не решилась войти в избу:

это слишком уже выходило бы из обычаев времени; она велела остановиться тяжелому рыдвану у ворот и вошла только на чистый зеленый двор, где нарочно, кажется, оставалась долее, чтоб забавляться смущением своей прекрасной черноглазой подруги. Товарищ ее, молодой человек в богатом военном наряде, статный и высокий, имел в осанке своей что-то величавое, легко воспламеняющее воображение женщины. В наряде его заметна была изысканность, показывающая несколько кокетства, которого не совсем чужды и мужчины. Посмотря в большие голубые глаза его, без ошибки можно было сказать, что мужество и великодушие были столько же свойственны благородному характеру его, как беспечность, любовь к наслаждениям и — прекрасному полу. В приемах его была видна утонченная вежливость придворного и навык к гостиным; он был равно любезен с обеими дамами, но — впрочем, замечаний делать было некому. Посещение таких знатных особ до того смутило обитателей бедной избушки, что они не знали, что делать. Хозяин, старый инвалид с открытою головою, на которой кой-где еще серебрились сединки, в серой шинели, довольно изношенной и накинутой на одно плечо, стоял перед дамами вытянувшись, как молодой рекрут, и слеза радости блистала на реснице его под нависшими седыми бровями; несколько поодаль молодой парень, угрюмый, но свежий, смелый и красивый, как приволжский житель, стоял возле сгорбившейся старушки, которая, не помня себя от радости, подгорюнясь, смотрела с умилением на красавицу. Одна черноглазая гонительница гусей оставалась чуждою общей радости, не понимая, какое великое по тогдашним нравам событие совершалось перед глазами ее.

— Не правда ли, граф,— говорила молодая блондинка, обращая свои прекрасные глаза на товарища,— эта маленькая азиатка будет прелесть как хороша в моей уборной, на табуретке, между Фимочкой и Ганькой? Ведь настоящая азиатка! Какие огненные глаза! Я наряжу ее в пунцовую феску. Каковы при ней покажутся мои карлики? О, они тотчас возненавидят гостью!

— Разве это не обыкновенная участь красоты? Я знаю только одну женщину, которой суждено всегда внушать зависть, не имея возможности испытать ее,— отвечал граф вполголоса и потом прибавил громко:— Года через три она будет опасна не одним вашим карликам.

— Вы меня пугаете; но я не ревнива и не завистлива; не правда ли, Анюта?

— Позвольте мне отвечать за вас обеих: взаимная ваша дружба служит лучшим тому доказательством.

— Так вы мне советуете взять ее, граф?

— Почему же нет? Но посмотрите, ваше намерение, кажется, здесь не всем приятно?

— Можно ли это думать, граф?— сказала другая дама.— Эти люди будут очень счастливы, если Зенеида возьмет к себе их приемыша.

— Не правда ли, Кондратий,— спросила Зенеида.— Ведь ты отдашь мне свою дочку?

— Как не отдать, матушка! Мы не противники твоей барской воли. Я помню милость батюшки свекора твоего, да и твоею милостью всегда доволен! Помню, как родилась ты, да и на руках тебя однажды удостоился держать, как покойный батюшка твой, блаженной памяти, приезжал к нашему.

— Да вот, говорят, Яков хмурится что-то...

— Что на него смотреть! Он всегда такой. Яков! Смотри же! Знаешь, не люблю.

— Ах, я и забыла! Граф! Этот малый и спит и видит вступить в ваш полк, и отец на это согласен; нельзя ли будет его принять?

— Вот редкость! Хочет сам в солдаты?

— С измаленьку, батюшка,— сказала старуха, отирая глаза рукавом,— ничего-де не надо, матушка; служить хочу.

— Очень рад. Нам охотники нужны. Милости просим! Он славный молодец.

— Вот видишь, Яков! Ведь граф шеф Измайловского полку и согласен принять тебя.

Лицо Якова прояснилось; нежданная радость совершенно изменила его угрюмую физиономию. Черноглазая девочка подбежала к нему, но, встретив взор молодого господина, остановилась и покраснела.

Граф подозвал ее к себе; девочка дичилась, но старый инвалид подвел ее к дамам.

— Как зовут тебя, душенька?

Девочка устремила на графа свои большие черные глаза и засмеялась, открыв два ряда крупных перлов.

— Вы угадали ее имя, граф; ее называют в семье Душенькою.

— Странное имя! Познакомься же со мною, Душенька; будешь ли любить меня? Что ж ты мне ничего не отвечаешь? А! Тебя занимает это кольцо!— Граф снял бирюзовое прекрасное кольцо с пальца и надел его на руку

Душеньки.— Носи его в знак будущей нашей дружбы.

Девочка поглядела с радостным изумлением на перстень, потом на графа и вдруг бросилась к Якову, показывая ему свое приобретение. Глаза ее блистали, все телодвижения были столько живы, столько свободны, что она казалась каким-то особенным существом. Граф смотрел на нее с изумлением и не без удовольствия: кто знает, какие думы бродили в голове его? Да и что нам до того, когда и прекрасная белокурая Зенеида, которая, может быть, более на то имела права, совершенно беззаботно любовалась прекрасным выражением лица его.

— Она немая, ваше высокородие,— сказал Кондратий, приметя внимание графа.

Дамы засмеялись.

— Для чего же бы иначе я хотела взять ее?— сказала Зенеида.— Ведь это сокровище.

Граф, вероятно, лучше нашего знал, почему Немая могла быть сокровищем; может быть, и в тот век бессловесные были в моде.

— Так мы оба делаем здесь важное приобретение; может быть, это примирит несколько и вас, графиня, с нашим путешествием? Славный молодец,— продолжал граф, смотря на Якова,— не правда ли, графиня?

— Прошу любить да жаловать!— сказала Зенеида.— Это сын кормилицы вашего приятеля, деверя моего. Вот эта старушка, его кормилица, Кондратия отдала в рекруты от семьи, не зная, что Авдотья была беременна. Батюшка, узнавши это, взял ее во двор, и когда родился Яков, ее взяли в кормилицы, а ему дали отпускную.

— Мы познакомимся!— сказал граф, отдавая Якову приказание явиться к нему.

Но между тем не познакомиться ли и нам с молодым солдатом и черноглазою Душенькою? Ведь теперь уже наши дамы не боятся ни крестьянской избы, ни крестьянского быта и, не страшась унизить своего достоинства, ходят по деревне без гайдуков и полдюжины лакеев.

Кондратий был крестьянин из Псковского имения Л......ых и отдан в рекруты, как видели мы, свекром прекрасной Зенеиды. Лет восемь уже, как он вышел в отставку за ранами и, получа позволение бывшего помещика своего выстроить избушку на принадлежащем ему по Фонтанке пустыре, поселился тут с женою и сыном. Ремесло его было сапожное мастерство; никто лучше Кондратия не шил смазных сапогов, и потому работы у него всегда было вдоволь. Он также промышлял и рыбною лов-

лею и часто по целым дням в легком рыбачьем челноке разгуливал по реке и в море, а вечером, сидя на завалине, рассказывал сыну о походах против шведов, о прежней веселой, бурной жизни; зимою же при свете лучины шил сапоги, а Яков вязал или починивал сети, читал четиминею или слушал рассказы старика. Кондратий знал лично великого Петра; несколько раз гулял с ним по волнам залива, был во многих походах, удостоился из собственных рук его получить серебряный рубль, который всегда после того носил на кресте, дорожа им более, чем самою медалью за Гренгамскую победу*,— любимый предмет его рассказов. Глаза старика горели, когда он говорил о днях удалой молодости; он с благоговением открывал голову, произнося имя великого царя, и нередко при воспоминании о нем слезы навертывались на глазах его; любовь к Петру, уважение к праху его сделалась религиею каждого солдата, и горе тому, чей язык осмеливался произнести в присутствии его без должного благоговения имя обожаемого монарха! Другою страстию его была Зенеида и приверженность к дому бывшего помещика. Он по целым часам говорил о Петре, по целым часам рассказывал о Зенеиде. Каждое воскресенье являлся у высокого крыльца дома ее и ждал, когда тяжелая колымага въедет на широкий двор, окруженная скороходами и гайдуками, и Зенеида, прекрасная, как день летний, величавая, как царица, обратит на него большие голубые глаза свои, с ласковым приветом скажет несколько слов и отдаст приказание дворецкому попотчевать старого служивого. Он возвращался в хижину веселый и счастливый и снова принимался за рассказы о Петре и Зенеиде.

Слова его падали в душу Якова, как семя на добрую почву. Во всяком состоянии есть люди, преимущественно перед прочими одаренные природою. С самого детства заронятся в души их искра поэзии. Они, по-видимому, живут как все; но внутренняя жизнь их так отлична от жизни других, как цветущая долина Кашемира от мертвой пустыни каменистой Аравии. Они видят, слышат, чувствуют не так, как другие люди, сердце их открыто для всех впечатлений, и страсти рано разгораются пламенем неугасимым. Таков был Яков. С детских лет явления природы производили чудное впечатление на душу его. Шум лесов наполнял его священным трепетом; заходящее солнце пробуж-

---

* Победа, одержанная князем Голицыным над шведским генералом 1720 года, 27 июля. *(Примеч. автора.)*

дало грустные думы в душе его; он любил слушать рассказы о духах, о таинственных явлениях неведомого мира; любил в воображении одушевлять природу; вечером, сидя на берегу речки и прислушиваясь к шуму скачущей по мельничному колесу волны, ожидать, что в облаке влажной пыли появится седой, угрюмый дедушка, неведомый жилец мельницы; прятаться за кустом с трепетом сердца, когда в глухую ночь в чаще леса раздается внезапный хохот лешего; на посиделках в длинный осенний вечер, когда молодежь поет и играет, подсесть в уголку к старикам и расспрашивать о траве разрыве, о цветке папоротника; любил по зарям ходить в полях и рощах, уверенный, что в это время духи, играя в небе, совершают чары над землею. Он выучился читать, и новый мир открылся глазам его. Четиминея с своим пламенным энтузиазмом, чудесами, явлениями бесплотных и венцами мучеников овладела его воображением; таинственные судьбы народа израильского явились ему во всем величии своем. Он плакал с Агарью в пустыне, он завидовал призванию Гедеона, ревновал славе Иудифи, он жаждал участи Маккавеев. Когда же отец перевез его в Петербург и в долгих рассказах познакомил с жизнию великого преобразователя России, он прилепился к памяти его, и Петр сделался предметом всех мыслей его; сердце его трепетало при рассказах о делах его; слезы невольно лились из глаз, и, казалось, душа хотела разорвать оковы, чтоб найти поле более сродное для беспокойной деятельности. Часто, опустя сети в светлые воды реки, он переносился мыслию в прошедшее, и воображение чертило ему грозного Великана севера, повелевающего стихиями, и самодержца, с топором в руке, с подъятым челом, сияющим величием, объясняющего простое искусство плотника изумленным матросам; иногда, сидя на камне, на берегу взморья, он смотрел на синие волны и припоминал бытописания родной земли. Они не были чужды ему: сыздетства он с жадностью слушал рассказы о Мамаевом побоище, о Шемяке, Самозванцах; четиминея познакомила его с тягостным игом татарским, и теперь, когда он увидел Россию в блеске славы ее великого законодателя, он еще более старался выискивать все, что открывало ему судьбы ее. И прежде он был задумчив, теперь сделался мрачен; по целым дням ходил один; песни изредка раздавались по реке; еще реже участвовал он в забавах товарищей; все веселье его было в прогулках около Стрельны, Петергофа, по взморью, везде, где он думал находить следы своего полубога.

В одну из подобных прогулок, года три спустя после переселения своего в Петербург, случилось, что Яков с ружьем в руках возвращался домой поздно вечером. Ночь была ясная и тихая; звезды горели ярко, было холодно, сжатая нива золотилась на лучах месяца; дорожка вилась темною змейкою между полей и вела к небольшой деревеньке, пролегая мимо ограды сельского кладбища. Яков шел задумавшись; вдруг жалобный плач ребенка пробудил его внимание. Он поднял голову: перед ним чернелись темные стены деревянной старой церкви; низкая ограда окружала небольшую площадь, усеянную камнями и могильными крестами. При блеске месяца он увидел на одной еще свежей могиле ребенка лет семи, который, дрожа от стужи, в одной рубашечке и едва прикрытый остатками нагольного тулупчика, сидел на холодной земле, поджав ноги, и громко плакал. Яков перелез через забор и хотел подойти, но в эту минуту в двух шагах от него из-за большого камня блеснули два яркие огня, и прежде чем он мог сообразить, что такое это было, огромный волк бросился на ребенка и смял его под собою. Не понимая сам, что делает, молодой охотник со всею силою ударил животное прикладом ружья по самой голове, и удар был так верен, что волк зашатался и упал к ногам его. Яков, которого голова горела и волосы становились дыбом, приколол животное охотничьим ножом, высвободил ребенка, схватил его на руки и побежал с кладбища. Дитя было еще без чувств, когда он постучался в калитку отцовского дома.

Кондратий сидел за столом; Авдотья, жена его, собирала ужинать; лучина проливала неровный свет на все предметы. Появление Якова привело в ужас стариков. Весь в крови, с ребенком на руках, также окровавленным, бледным и с чудным блеском во взоре, он был так хорош, но не для сердца матери: она видела одну опасность сына в прекрасном выражении ужаса на лице его. Яков положил ребенка на скамью и успокоил стариков, рассказав им происшествие. Ребенок казался совершенно мертвым. Его положили, по обыкновению, в передний угол, обмыли, но когда студеная вода попала на лицо его, он вздохнул, открыл глаза, приподнялся, но напрасно неясными звуками хотел что-то выразить. Это была девочка лет семи, худая, черная, во всем неряшестве сиротства. На шее у нее висел на серебряной цепочке мешочек из темного сукна; в нем был довольно большой золотой крест. Тонкая рубашка и остатки платка, которым была повязана голова девочки, показывали, что она знала лучшую участь. Раны ее

были не опасны: животное не успело еще растерзать своей добычи; но зло, сделанное им, было не менее ужасно: ребенок лишился употребления языка.

Прошло несколько дней, никто не спрашивал девочки. Яков ходил в деревню, близ которой нашел ее; никто не хотел отвечать на его вопросы. Иные качали головою, другие смеялись над ним; наконец одна старушка, крестясь и чураясь, сказала ему, что девочка была дочь солдатки, которая жила на самом краю деревни. Солдатка осталась после мужа молода, продолжала старуха. Все тосковала да тосковала; вот *он* и начал к ней ходить. Возьмется огненным шаром из-за лесу, пролетит над деревнею и рассыплется над ее огородом. И с тех пор все пошло иначе: солдатка зажила славно; дом как полная чаша; рядится, убирается; кокошник не кокошник, сарафан не сарафан. Вот она родила дочь, но, видно, в изобличение ей бог дал ребенку такие огненные глаза, что как взглянет, так, кажется, искры и сыплются. Вся деревня заговорила о змее; солдатка не стала уж и на свет показываться; ни на посиделках, ни в хороводах — нигде ее не видно было. Она извелась, как былиночка, так сокрушил ее злодей, а была первая красавица на селе! В один вечер девчоночка прибежала к старосте и сказала, что мать ее умерла. Ее похоронили, но девочку никто не хотел призреть: все боялись взять в дом бесовское отродье. Она скиталась от окна к окну, большею частью жила на кладбище, почасту сыпа́ла на завалине и питалась только тем, что добрые люди, сжалясь, бросят ей. Никто не знал, как и зовут ее; но она была крещена, что было видно по кресту, который у нее был зашит в мешочке и висел на шее.— Все эти рассказы опечалили суеверного Якова, и вместе с тем таинственность их пленила его воображение. Самая опасность объявить себя покровителем ребенка, которого рождение было так странно, имела для него свою прелесть. Он решился утаить от своих слышанное и объявил отцу, что хочет оставить у себя безродное, богом данное дитя. Старикам не нравился приемыш больной, худой и дрянной, но должно было уступить Якову.

Вскоре все переменилось; привольное житье, раздолье, ласки Якова переродили сиротку. Дрянное дитя превратилось в полную, свежую, румяную девочку; черные глаза ее зажглись как две звезды; прекрасные ямочки поместились по обеим сторонам алого ротика; веселость оживила смуглое личико ее, и в непродолжительном времени сиротка сделалась любимицею всей семьи. Она резвилась и

прыгала по избе, как молодой ягненок, рвала пряжу старушки, стаскивала на пол донце и ручник и поджигала кудель на гребне; или летом, взбираясь на деревья, как легкая векша, качалась на ветвях, бросая листьями в старушку, которая пахтала масло на завалине или собирала холст с луга. Старый Кондратий, смотря на шалости ее, смеялся от души и ободрял знаками. Авдотья сердилась, ворчала; а резвушка прыгала на землю, обвивалась около шеи ее полными ручонками, и мир заключался. Яков назвал ее Авдотьею, по имени матери; но простодушная нежность его, не справляясь ни с какими законами уменьшительных имен, переименовала ее Душенькою, и Душенька казалась ему таинственным существом — покровителем его семейства. Он с важностию кивал головою, когда мать говорила ему: «Ну, право, Яков, Душенька-то пришлась нам ко двору. Смотри-ка, как бог благословляет нас! В огороде, слава богу, и скотинушка-то, грех сказать! Все хорошо!»

Душенька сделалась обыкновенною собеседницею Якова; он выучился понимать немой язык ее, говорил с нею по целым часам и любил смотреть, как отражались в глазах ее все чувствования сердца его; жизнь его слилась с жизнию ее, и потому, когда он узнал, что прекрасная Зенеида имеет столь враждебные против него намерения и единственно для того приехала, чтоб посмотреть на прекрасную немую, о которой много наслышалась, он не мог представить себе, как будет ему разлучаться с Душенькою. Он смотрел на нее с горестью и думал: «Да как же это будет? Я приду домой, и никто не выбежит навстречу мне; в ясный вечер, когда буду сидеть на берегу реки и на душе сгрустнется так сладко, никто не приляжет ко мне на плечо, черные глаза не устремятся на меня, как бы желая вызнать мысль мою; в жаркий полдень никто не заснет, положа голову на мои колени; мне некому говорить о моих желаниях, о моих мечтах... глупых мечтах... Ей одной я смел говорить о них...» Он закрыл обеими руками рот, как бы опасаясь, чтоб нескромное слово не обличило мысли его.

Но делать было нечего. Воля старого Кондратия была свята, и потому на другое утро того дня, когда прекрасная Зенеида с графом Левенвольдом и прекрасною Ягушинскою, ее приятельницей, посетили хижину, Яков сам отвел свою милую Душеньку в каменный дом Л......а, где на крыльце в последний раз поцеловал плачущую девочку.

Тяжел
Привычек сердца перелом,—

сказал один из любезнейших поэтов наших*; может быть, легче отказаться от величайшего блага, бывшего давно единственною целию всех наших желаний, отказаться в самую минуту достижения, чем лишиться тихого счастия, которым наслаждались постепенно, почти не подозревая его существования. Первое забудется скорее, потому что не сделалось еще, как последнее, потребностию сердца, не вошло в привычку ему и не слилось с жизнию его так, что разрыв уничтожает самое бытие его.

2

В старые годы жизнь деревенских помещиков была не то, что нынче. Теперь молодой барин, женясь и порастратившись в столице и путешествиях, берется за ум, удаляется в деревню, делается агрономом, вводит пятипольное хозяйство, сеет клевер и рассчитывает каждую копейку. Он строит небольшой красивый домик, раскидывает английский сад по муравчатому лугу; в зале у него поставлена богатая рояль с партициями Россини и Мейербеера, по столам разбросаны журналы: лесной, земледельческий и проч.; папки с гравюрами, traité de l'économie politique или de la philosophie**; в соседнем кабинете огромная библиотека в готическом вкусе; две, три служанки во всем доме, считая тут и няньку, и ключницу; отличный повар, часто нанятой, и два, три служителя, вот весь верхний штат. На дворе все чисто; службы все с иголочки; в мастерских видите новые плуги, бороны, молотильни; со скотного двора приводят на цепи перед окна похвастаться перед редким гостем колмогорского огромного быка с кудрявым лбом и атласною шерстью. Все чисто, все блестит, как на английской ферме. Кухня не уступает голландской в чистоте; хозяин везде сам, все видит, всем занимается; мужик охает, но начинает видеть пользу улучшений. Есть и приказчик и дворецкий, но хозяйский глаз и над ними; хозяйка в свою очередь также занята детьми, чистотою комнат, оранжереею, цветами. В доме не видно бронз, ни богатого фарфору; но изящество и вкус уборов, но лучшие вина на столе и лакомый обед напоминают из-

* Князь Вяземский. *(Примеч. автора.)*
** сочинения по политической экономии <...> по философии *(фр.)*.

балованность петербургского денди и утонченную роскошь столицы; а цветы, эти безответные друзья печального затворника, обращают в рай светленький домик, в котором прихотливая рука хозяйки-затворницы собрала произведения всех стран и климатов.

Но в этих садах, в этом игрушке-домике пусто, тихо. Соседи проезжают мимо, выглядывая с любопытством из коляски на зеленую живую ограду элизиума, для них затворенного. Собравшись на именинном обеде у городничего или исправника, толкуют о приезжем, говоря, что он горд, спесив; смеются над его затеями, хотя заседатель и уверяет, что он ласков и обходителен и что у него рожь молотится кругом сам-десят, тогда как у соседей на лучших десятинах едва ли сам-сем. Дамы, случайно встретив в поле статного молодого человека верхом на английском вороном коне, умирают от желания видеть его в обществе; наконец встречаются на вечере у предводителя, и тут-то начинается беда! Весь дамский собор поднимается на гордена и предает его анафеме: он горд, он важничает, он много думает о себе! Мы видали графов и князей! Ах, князь С...! Как он мил! Ах, граф В...! Он прелесть как любезен, а уж, верно, бывали в лучшем обществе. А этот, бог знает, что он такое? Что за манеры! Что за тон! Тут две, им избранные, то есть удостоенные гостем особенного внимания, берут его сторону; по их мнению, он и мил, и хорош, и совершенно светский, лучшего тону человек. Но после этого быть беде им! Они остаются в подозрении, и если случится, что одна из защитниц приезжего побывает в его элизиуме,— горе ей. Шаги ее, все движения замечены, и если, может быть, не скажут из самолюбия, а уж, верно, подумают: «Заспесивилась! Горда стала». Да простят мне добрые наши провинциалы! Я не думаю огорчать их; не у них одних ведется так, и в большом свете бывает все то же! Часто бранят вельможу, терзают имя светской красавицы, до небес превозносят другую; рассмотрите ближе: вельможа обошел нас поклоном, красавица блестит слишком ярко и затмевает нас собою; другая умела польстить нашему самолюбию: лесть — мелкая пыль, которою туманят глаза, если они слишком слабы, чтоб переносить чужой блеск. Поверьте мне: люди везде одни и те же; черты грубее; вот и вся разница.

Но это отдалило меня от моего предмета; я хотел сказать, что в старину образ жизни помещиков был совсем не таков, как теперь; тогда черта, отделяющая богатое дворянство от бедного, состояла более в наружных формах,

чем в сущности. Теперь помещик живет в деревне единственно по необходимости и при малейшей возможности едет сам или посылает детей в столицу. Там он нечувствительно оставляет прежние понятия, сообразуясь с новыми, общепринятыми; образ его жизни, образ мыслей изменяются; он воспитывает детей не так уже, как воспитаны дети его соседа, и, возвращаясь в деревню, он приносит с собою нравы и привычки столичного жителя и европейской образованности, между тем как сосед его, никогда не оставляя деревни, подвинулся очень мало вперед с точки, на которой был за тридцать лет перед тем, и немногое изменил в нравах и понятиях своих. У нас столичная жизнь шагает быстро вперед и стала наряду с общеевропейскою, тогда как провинциальная тихохонько, трух-трух шажком бредет за нею, и хотя обрила бороду и не подставляет, как прежде, спины богатому соседу, понимая достоинство человека; но еще не умеет, как в столице, носить волосы в кружок и толковать о национальности, одевшись по французскому или английскому журналу. И потому столичный житель, неволею возвратясь в деревню, где жили отцы и деды его, не может постигнуть, что может быть общего между им и потомками прежних собеседников его отца и деда; столичная дама скажет: «Меня здесь не поймут!» — и ни тот, ни другая не захотят сблизиться с соседями.

Не так было в старину; образ жизни, понятия, воспитание — все было одинаково между богатым и бедным помещиком; различие было в том, что не составляло непременного условия бытия их — в богатстве; так что при перемене обстоятельств оно исчезало, не оставляя никаких следов. Если богатый почитал себя в праве унижать или оскорблять бедного, и в свою очередь пользовался им против тех, которые были беднее его. Он ниже богача по принятию общественному, но нравственно они были одинаковы, следственно, там, где не сталкивались их выгоды или где самолюбие оставалось в стороне, они могли быть совершенно равными, между тем как теперь это невозможно. Теперь бедного соседа не оскорбят грубостию, не унизят словом, примут его с вежливостию, может быть, излишнею, но станут говорить с ним только о предметах, не выходящих из тесного круга понятий его, и эта вежливость, этот разговор напомнят ему более, чем старинная грубость, различие между им и хозяином, различие, состоящее не в случайных условиях общества, но в понятиях и образовании. Вот почему сближение между обоими труднее теперь, чем прежде. С одной стороны, мысль о превосход-

стве, с другой — оскорбленное самолюбие полагают тому преграды. Но пускай бы сталкивались почаще: жизнь провинциальная от того развилась бы быстрее.

В старину дом богатого помещика был сборным местом соседей; они приезжали с женами и детьми, жили по нескольку дней, и потом хозяин с домашними и со всеми гостями отправлялся к другому; веселился там, пил, ел, охотился, и, забравши хозяина и гостей его и своих, все вместе ехали к третьему, и так делали круг, возвращаясь опять туда, откуда выехали. Дом богатого помещика, покойный, со множеством комнат, сеней, переходов, кладовых и флигелей, был всегда наполнен народом; особенная слобода занималась дворнею, охотничий двор выстроен и содержан царски. Народ оборванных конюхов, псарей, лакеев, поваров роился на дворах; девичьи наполнены кружевными подушками и пяльцами, за которыми бесчисленное множество горничных в домотканых платьях, часто босиком плетут и шьют неусыпно. Не заглядывайте в кухню! — А то сытный стол хозяина не очень взмилится! Барыня взыскивает уроки с горничных, но, верно, не унизится до того, чтоб зайти в кухню! Фи! — Барин целый день порскает за зайцами с толпою гостей и псарей, платит сотнями за гончую, конский завод его славится красотою породы; певчие, шуты, карлы, скороходы, каждый день открытый стол для соседей — но не ищите утонченного вкуса в доме: лакеи его часто в домотканых сюртуках; мебель, экипажи, комнатные уборы, все домашние изделия и, верно, хуже, чем теперь у самого бедного помещика; дом как полная чаша, всего раздолье, разливанное море; но провизии идут со скотного двора, и мед и пиво заменяют дорогие вина; в амбарах сусеки ломятся под хлебом, на гумнах ржаного и ярового в скирдах видимо-невидимо! А поля обрабатываются как было при дедах, и боже сохрани от новизны! Это ересь. Хозяин любит гостей; он утром толкует с приказчиком, творит суд и расправу: он не враг правежа* и тому подобного; в полдень отдыхает после сытного обеда, а вечером, когда булавочка заберется в голову, дворня в залу; певчие вперед, и Яшка или Ванька, подбоченясь, расстилаются вприсядку, между тем как дородная Груня плывет павою и пожимает атласистым плечиком, и хор ревет:

---

* Может быть, некоторым неизвестно это слово: правеж, телесное наказание, введенное в Россию монголами для вынуждения дани. До монголов телесные наказания неизвестны в России. *(Примеч. автора.)*

и восхищенный барин велит подносить отличившимся по стакану домашней водки или браги. Барыни стыдились заниматься работами; выезжали не иначе как с большою свитою, рядились, танцевали важно менуэты, а под веселый час иногда, после ужина на именинном пиру, прекрасная пройдет и русскую — но тогда уж и старики закричат: «Камаринскую!»

Такова была жизнь помещиков, и так жил отец прекрасной Зенеиды Л......й, которая так безжалостно похитила Душеньку у бедного Якова. В одно утро, когда со смехом и шумом полдюжины барышень, здоровых и румяных, в сопровождении стольких же горничных вбежали по крутой и темной лестнице в антресоли, где были их комнаты, старушка, в темном шугае и подвязанная белым платком, с необыкновенно важною улыбкою встретила их на самом пороге. Это была няня, гувернантка, наставница, все что вам угодно; других гувернанток тогда не было.

— Полно, бегать, дитя!— сказала няня.— Смотри-ка, как разгорелась: словно маков цвет! Нет, что ли, дворни у батюшки? Али некого послать за земляникою? Смотри-ка, все чулки мокрые! Знать, в роще была!

— В роще, мамушка! Да ведь как весело! Мы бегали, бегали! Агашку в лужу столкнули! Такой смех!— отвечала высокая, стройная девушка лет шестнадцати, полная, как месяц на всходе.

— Полно, сударыня, стыдно. Девушка на возрасте, барышня! Уж женихи прививаются, а тебе все баловство на уме.

Девушка перевернулась на одной ноге, прыгнула, как козочка, и поминай как звали! Громкий смех ее раздавался уже в другой комнате. Подруги побежали за нею веселою гурьбою; одна мимоходом вешалась на шею няне, другая хлопала ее по плечу, третья обнимала, и все смеялись и кричали. Няня ворчала, хлопала руками по бедрам и ковыляла за резвушками.

— Да ты не уйдешь от меня, сударыня! Эй, дитя! Матушка изволила приказывать одеваться: гости будут.

— А мне какое дело!

— Слышишь, гости! Жених, сударыня,— прибавила она таинственно.

---

* Слышанное от одной современницы, которая с слезами вспоминала, как славно плясывала, бывало, под эту песню. *(Примеч. автора.)*

Девушка посмотрела на нее своими большими голубыми глазами, подруги окружили нянюшку. «Как жених? Какой? Откуда? Хорош ли?» Вопросам не было конца. Голубоокая красавица топала ногою и говорила одно: «Неправда, вздор».

— Будет тебе вздор!— говорила няня.— Вот как сама-то придет!

И в это самое время — вещь чрезвычайно редкая, потому что тогда маменьки не очень любили посещать детские, особенно комнаты взрослых дочерей, которые обыкновенно живали на антресолях,— вошла сама барыня, дородная и важная. Разговоры тотчас смолкли. Все встали как вкопанные, и красавица, потупя глаза и стараясь спрятать под платьем запачканные чулки, подошла к матери, ожидая объяснения этого необыкновенного посещения.

Боярыня посмотрела ласково на всех девушек, взяла за руку дочь и с важностию пошла в другую комнату, приказывая няне следовать за собою и затворить дверь. Что говорили они, неизвестно; но красавица к обеду нарядилась в широкий робронд и фижмы, на глазах ее видны были следы слез, но на них и тогда смотрели немного; а вечером священник обручил ее перед налоем золотым кольцом с Петром Васильевичем Л........

Жених ее был человек лет сорока пяти, занимал важную должность и был тогда уже генерал-комиссаром по морскому ведомству. Фамилия его гордилась свойством с знатнейшими домами, и потому он был в связи со всем, что было лучшего при дворе и в городе. Будучи вдов, он женился на Зенеиде более по фамильным связям, чем по любви, привез в Петербург молодую жену и жил барски, со всеми атрибутами тогдашнего дворянства: шутами, дворнею и хлебосольством, но не с домами; потому что был не из числа тех, которые опережают свой век. Различные обстоятельства долго препятствовали ему представить Зенеиду ко двору; в свете говорили, будто главною причиною тому была ревность; но как верить всему, что говорится в свете? Наконец воля императрицы положила конец препятствиям, и красавица явилась во всем блеске осьмнадцатой весны.

Мы не последуем за нею в шум света, на придворные балы, куда она явилась царицею, ни на праздники, которых была украшением; не станем подслушивать, что шептали о ней мужчины, что говорили дамы, как судили старые фрейлины. Нет, нет! Это было и будет всегда одинаково. Красавица об руку с пожилым мужем, веселая и

полная жизни, всегда напомнит историю Марино Фальеро: посеет надежды и желания в сердца одних, досаду и зависть в других. Не нами так заведено; так было, я думаю, и при дворах Карибертов и Хильпериков, до времен Карла Великого, так будет, пока свет стоит. Была ли счастлива Зенеида, это знала, может быть, одна только Анна Гавриловна Ягушинская, с которою они были дружны с самого детства до житья ее девушки.

Императрица Анна Иоанновна редко оставляла Петербург, особливо в последние годы царствования своего; двор носил отпечаток уныния, которому невольно предавалась царица; но случилось как-то, что ей вздумалось переселиться на несколько дней в Петергофский дворец. Время стояло чудесное, и север, кажется, нарочно рядился в лучшие одежды, чтоб развеселить свою владычицу. Л......ы последовали за двором. В одно прекрасное утро небо было ясно и безоблачно; лучи солнца играли прекрасными радугами в блестящих брызгах, разливавших прохладу около высоко бьющих фонтанов; ветерок молчал, как бы не смея шелестом листов прервать гармонический шум скачущей по граниту волны. Императрица сидела в зале, против отворенных дверей балкона, с которого взор, пробегая широкую аллею, по каналу, над хрустальным сводом фонтанов, пересекающих один другого, останавливается на светлой полосе моря, блестящего золотою чешуею. По правую руку ее сидела задумчивая Анна, принцесса Браунштейгская, и кроткий взор ее терялся в отдалении с выражением тайной грусти; по левую — супруга знаменитого Бирона. В самых дверях, несколько позади кресел императрицы, стояла Зенеида с молодою, прекрасною брюнеткою: это была Юлия Менгден, неразлучная и любимая спутница принцессы, разделявшая славу ее и бедственную участь. Внутри комнаты было несколько любимых шутов; но императрица была так занята разговором с старым Остерманом, что не обращала внимания ни на них, ни на дам, разговаривавших у балкона.

— Неужели он так хорош, как говорят о нем?— спрашивала Зенеида вполголоса.— Ведь вы его хорошо знаете, баронесса.

— Графа Левенвольда? Боже мой! Он также из Ливонии, как и мы; хотя имение его все около Дерпта, недалеко от Синолена, замка баронов Менгденов, где провела я детство, но он часто бывал в Риме. И потом я столько раз видела его здесь.

— Он не женат?

— Нет; он ездил в Ливонию к брату, и говорят, будто...

В эту минуту в залу вошел молодой человек, высокий, стройный, с одною из тех физиономий, которые привлекают на себя внимание между сотнями и забываются годами. Странное дело! Инстинкт молодого человека одержал в эту минуту верх над придворным — первый взор его упал на прекрасную чету, стоявшую у дверей балкона; но это было так мгновенно, что ускользнуло даже от внимания придворных и могло быть замечено только женским самолюбием, и одноземка, и любопытная красавица приписали каждая себе это нарушение почтения к государыне дерзкого, осмелившегося видеть других там, где была она; но которая из них была права, решить мог один граф Левенвольд,— так назвала прекрасная баронесса вошедшего, наклонясь к уху Зенеиды.

— Добро пожаловать, граф Карл Иванович,— сказала императрица, милостиво приветствуя графа.— Мы не хотели дождаться возвращения вашего в Петербург, чтоб видеть вас. Как оставили вы брата вашего? Надеюсь, что он здоров?

— И всегда, как и прежде, предан всею душою милостивой монархине своей,— отвечал граф, и глаза его выражали то пламенное усердие, которое отличало обоих братьев и было известно императрице, которая во всю жизнь помнила, что граф Рейнгольд известил ее первый о избрании ее на престол. Она была очень весела и долго шутила с графом.

— Мы без вас сделали важное приобретение, граф,— сказала она с улыбкою.— Петр Васильевич Л..... привез к нам наконец молодую жену свою. Я хочу, чтоб вы познакомились с графом, моя любезная Зенеида Ивановна,— продолжала императрица, обращаясь к Зенеиде.— На первом бале вы составите прекрасную парочку.

Но Зенеида Ивановна не помнила уже сама себя. Яркий румянец покрыл ее щеки; долгий, внимательный взор графа слился с ее взором; сердце ее замерло; она не помнила, что отвечала императрице, но, казалось, ни она, ни Левенвольд не заметили ее смущения.

Таково было первое свидание Зенеиды с графом Левенвольдом; следствием его было... Но последуйте за мною в комнату красавицы, и мы узнаем следствия.

Это было через шесть лет после описанной сцены; в доме Л......а шумно; в окнах огни; люди бегают как угоре-

лые, звенят стаканы, и ходят кубки; гости сидят за столом с самого полудня: он празднует день рождения жены своей. Но где же она? Для чего не видно новорожденной? Для чего не идет она принимать шумные поздравления друзей — за чашей все друзья — и жаркие желания их за бокалом венгерского? Для чего окна угольной комнаты не блестят как прочие и один трепетный луч лампады бежит сквозь туманное стекло? Для чего в нем мелькает изредка одинокая тень, тогда как в других толпится, суетится народ, словно на рынке?

— Охти, горе!— говорит старая знакомая нам мамушка, сидя в девичьей на теплой лежанке.— Ох, девыньки! Не спросту! Дитя такое было здоровое; да румяное; а теперь, посмотри-ка, извелась в ниточку, моя ластынька!

— Какое у тебя там дитя, бабушка?— спросила горничная, мотая с ручника пряжу на тальку.— Семь, восемь, девять...

— Какое дитя, девынька? Прости господи! Я все дитей! Ну, барыня-то.

— Двенадцать, тринадцать,— продолжала горничная, считая нитки,— а ведь больно, пятнадцать, она прихворнула, семнадцать, бабушка? Восемнадцать.

— С глазу, девынька. А может, и напущено.

— Двадцать,— сказала горничная и начала завязывать пучок.— Как же это делают?— спросила она таинственно, садясь на печку подле старухи, и положила пряжу на колени.

— Ну так напущено; мало ли злых людей и в Питере?— сказала старуха с необыкновенною важностию, как будто бы она знала все тайны другого мира.— Может, на след, а может, и по ветру.

— Да как же это по ветру, бабушка? Вот так дунут, да и напустят.

— Ну да тебе это на что? Где тебе это знать, мало ли премудростей на белом свете? Знай себе свою пряжу.— Это была маленькая хитрость старушки, которая не знала, что отвечать.

— Да я не то, бабушка; а вот изволишь видеть: говорят, на Якова Кондратьева было так же напущено. Бывало, как он придет к Душеньке, встретишься с ним на сенях или в коридоре: «Здравствуй, мол, Яков Кондратьевич!» — «Здравствуй, Палаша!» Да и ущипнет тебя! Такой проказник! Ведь не то, чтобы оно что-нибудь такое другое, Агафья Матвеевна, а так, для шутки,— прибавила девушка, закрасневшись;— а вот уж в последнее время, пе-

ред несчастьем-то, придет, поклонишься, он и слова не молвит, словно не видит.

— Ну, что же? Может, загордился. Слышь, сам-то, шеф-то их, больно любил его; все-де хвалит да других им в глаза колет. Ан вот и попутал грех!

— Нет, бабушка; он, слышь, спознался с нечистым, наше место свято! Говорят, все ходит, бывало, по лесу, да к нему и выйдет из трущобы; слышь, по лесу идет, так с лесом равен; в траве — так в траве не видать! А денег, денег у него сколько! Все в трактире, бабушка, да с каким-то немцем. Так, слышь, деньгами и сорит. И ночью, слышь, постучится к нему, он и пойдет.

— Постой-кась, я посмотрю, что дитя-то, не заснуло ли? — И няня, скинув башмаки, на цыпочках, сгорбясь, подошла к двери и приложила ухо.— Нет, девынька! Все Фимка сказки сказывает. Видно, не спится! Взошел бы, да, может, забылась. Ведь больно ее схватило, лапыньку!

Но в самом ли деле была больна Зенеида? Конечно; еще со вчерашнего дня слегла она в постелю, не спала всю ночь и теперь приказала запереть дверь и не велела впускать к себе никого, даже и мужа. Он уже подходил к дверям, но сказали, что забылась. С нею только ее кормилица и Немая.

Зенеида сидит в больших, с высокою резною спинкою креслах; ножки ее, обутые в шитые золотом туфли, покоятся на мягкой подушке; голова обвязана тонким белым платком, из-под которого вырываются прелестные ненапудренные локоны и, обвившись около прекраснейшего личика во всей подсолнечной, путаются в белых, легких как дым ободках пудроманта; слабый свет лампады, скользя по позолоте тяжелой мебели, по овальным зеркалам в резных золоченых рамах и наполняя комнату таинственным полусветом, не может скрыть огня, блистающего в глазах больной, и яркого румянца на щеках ее. Движения ее беспокойны; она то приподнимает голову и будто бы прислушивается, то закидывает ее на подушку, положенную за спину. Кажется, горячка пожирает внутренность ее, но она прелестна в этом волнении, в этом беспокойстве. Трепетный свет лампады, то ярко разливаясь, то умирая, придает какую-то неосязаемость ее очаровательным формам; она кажется видением, явившимся по манию чародея, или прелестной тенью бесплотного мира. Все предметы, ее окружающие, способствуют очарованию, наполняя душу ожиданием чего-то необыкновенного, как в преддверии таинственно затворенного храма. Высокий темно-зеленый

занавес, раскинутый на четырех столбах над кроватью красавицы, с белыми атласными подзорами, плотно закрыт, как святилище; возле него, у стены, шкаф черного дерева, украшенный золотыми рисунками в китайском вкусе; между окон уборный столик с пышными густыми уборками из тончайшей кисеи; овальное зеркало в серебряной раме, наверху которого связаны пучком лавровые листья снурком того же металла. У ног красавицы на низенькой скамеечке сидит существо какого-то особенного роду; это ее карлица, толстая, с огромным лицом оливкового цвету, в высоком чепце, так что голова с убором составляют ровно половину всей фигуры. В маленьких ручках ее вертится на толстых спицах шерстяной чулок; глаз почти не видно под опухлыми веками, и сиповатый голос однообразно бормочет какие-то слова.

— Ну, барынька; так это Иван-царевич и говорит: «Доложите Василисе-премудрой, не угодно ли ей будет со мною в карты поиграть и в тавлеи пометать...»

Зенеида с беспокойством привстала и смотрела на маленькую дверь за кроватку, которая вела в комнату, где спали обыкновенно Душенька и Фимочка.

— Ты не слушаешь, барынька?

— Говори, говори, бормочка; Василиса-премудрая...

— Э, барынька! Не то; Иван-царевич...

В эту минуту дверь позади кровати отворилась; на пороге явилась Душенька в пунцовой шапочке; темные косы упадали вокруг открытой шеи; узкое темное полукафтанье обтягивало стройный стан, и широкие шаровары, как у греческих женщин, падали полными складками около маленькой ножки; яркий румянец покрывал смуглые щеки ее, и глаза выразительно блестели, как бы одушевленные важною новостью. Она приложила палец к губам и едва приметным знаком указала на отворенную дверь. Зенеида упала в кресла, и лицо ее вспыхнуло живым румянцем. Карлица продолжала, ничего не замечая:

— Ну так, этот царевич и говорит: «Доложите Василисе-премудрой...»

Немая спрыгнула с порога и в один скачок очутилась подле карлицы. Она наклонилась к ней и знаками начала что-то говорить, смотря на нее с живейшим состраданием.

— Да пора бы!— сказала карлица, робко смотря на госпожу,— вот ты и Немая, да знаешь, что язык устанет и во рту засохнет. Барынька, я пойду поужинать? Чай, Матвеевна собралась; ждать будет.

— Нет, нет! Еще рано,— сказала с досадою прихотли-

вая красавица,— досказывай, досказывай! Ну что же Василиса-премудрая?

Немая с нетерпением снова показала на свою комнатку, думая, что ее не понимают. Зенеида улыбнулась и, будто не примечая ее, продолжала: «Успеешь поужинать! Тебе оставят. Меня сон клонит: сказывай!» Она опустила голову на подушку и закрыла глаза. Карлица была в отчаяньи и просила Душеньку и знаками и шепотом вступиться в ее горестное положение. Немая подошла к креслам, стала на колени и, взяв белую полную ручку прекрасной госпожи своей, с умоляющим взором показывала на карлицу.

— Ну, добро! Ступай! Бог с тобою! Ты такая жадная! Да, скажи, чтоб никто не входил. Авось либо мне уснется; слышишь, Фимочка? Я за тобою пришлю Душеньку.

Фимочка оскалила с радости два ряда белых зубов; маленькие глазки ее совсем спрятались. Раскачиваясь, как утка, и распрямив крошечные пальцы, как гусиные лапы, она подошла проворно, как могла, к барыньке, приложилась к ее ручке и еще проворнее побежала вон из комнаты, то есть побежала, шагая по вершку.

Зенеида приподняла голову, смотря за нею; только карлица затворила дверь, она проворно встала, обняла Душеньку и молча указала ей на дверь. Понятливая Немая побежала за карлицею, заперла дверь и бросилась в свою комнатку, но в ее движениях, в ее взоре было что-то грустное и нерешительное. Через минуту она снова явилась на пороге и стала подле кровати, потупя глаза. Высокий мужчина, наклоня голову, показался за нею... Это был Левенвольд.

Да как же это! И как это? Левенвольд — нет! кажется, он не доктор; да, помнится, и не было тогда доктора этого имени,— что ж это такое?..

Понимаю удивление ваше; подобное явление непонятно при наших благочестивых нравах. Станем на колени и воздадим благодарение небесам за столь счастливую перемену.

Но если теперь непонятен поступок Зенеиды, то понятно еще, надеюсь, чувство, которое было виною его. Ужели же ни один голос не отзовется в оправдание ее, хотя тайно, хотя в глубине сердца?.. Нет? Все хладно молчит, и руки наших красавиц, вижу, протягиваются к камням, приготовленным для казни. Погодите, она не так виновна, как вы думаете; послушайте разговор любовников; узнайте историю любви их и тогда судите. Да! Она была не так винов-

на, как все вы думаете. Боже мой! Ужели же и это непонятно в наших нравах?

Посудите. Она явилась в свет семнадцати лет, хороша, полна жизнию; сердце ее жаждало, искало любви, и когда с приветом на устах, с нежностью во взоре она подходила к супругу, ее встречал холодный взор, суровое: «Отойди, матушка! Мне некогда; у меня дел куча!» — Иногда, возвратясь с балу, с сердцем, трепещущим от удовольствия, она бросалась на грудь его, рассказывала ему свои невинные забавы, сообщала успехи и хотела с ним поделиться воспоминаниями, ее останавливали выговором, грубыми упреками, ставили ей в вину ее веселость, ее успехи, ее красоту и оскорбляли самолюбие выражением, извинительным только одной вспыльчивости. Сердце ее было непонято, не оценено; а известно, что значило во все времена подобное обвинение в устах женщины! Она увядала, как бедное растение под чуждым солнцем, под ударами непогоды, как странник в земле далекой, неизвестной! И вдруг приветный голос раздался родною песнию над ушами ее; дыхание теплой атмосферы согрело этот увядающий цветок; луч солнца заблистал над ним ярко, живительно. Скажите, как же было не обратить головки к животворному светилу, как не откликнуться на зов родного голоса? Он напевал так сладостно любимые мечты, любимые сны... и сердце Зенеиды отозвалось на голос сердца, на голос любви, радостно, со всею доверчивостию души, жаждущей счастия. Вот вина ее!

Взоры графа сулили ей целый мир блаженства, внимание его окружало ее всем очарованием любви; куда ни обращала она взоры, везде встречала его, страстного, преданного, исполненного почтения, боготворящего. Бывала ли она в обществе, взор его искал одну ее между всеми красавицами; присутствовала ли при важных церемониях двора, огненные глаза его следовали за нею; говорила ли с кем с большею живостию, чуткое ухо его прислушивалось к ее шепоту; но прислушивалась — не холодная ревность, не обидная недоверчивость самовластного супруга. Нет; прислушивалась любовь, причудливая взыскательность, нежное беспокойство любви, а сердце женщины охотно прощает подобный надзор. Часто, когда вечером, развеселясь иногда в кругу друзей, супруг подзывал к себе красавицу и, поднимая чарку, пил за ее здоровье и она, изумленная нежданной ласкою, обнимала его белою ручкою и взоры ее нечаянно обращались к тусклому стеклу — там, в отблеске огней, отражающихся на белой

скатерти снега, она примечала черную тень: то был человек; он пристально смотрел в окно и стоял неподвижно, закутанный в медвежью шубу: сердце называло ей таинственного прохожего. Иногда ночью, когда бессонница томила прекрасную и в отворенное окно свежий воздух ночи, вливаясь, освежал ее горящие щеки, приятный голос раздавался под окном, и звуки знакомой песни говорили красавице, что она не одна считает скучные часы ночи. Часто на заре, пробужденная лучом солнца, она выходила на балкон, и статный всадник на вороном коне останавливался под балконом, и конь, сгибая шею, бережно ступал, боясь разбудить лишние два глаза.

Ну скажите, как было устоять против подобного обольщения, против любви столь нежной, почтительной, беспредельной? Какая женщина может равнодушно видеть у ног своих гордого властелина своего пола покорным невольником, на коленях, в почтительном молчании ожидающего приговора из уст красавицы? Может быть, в наше изнеженное время, когда нет уже охотников простоять на морозе под окном милой или вставать с петухами на заре, чтоб прокатиться под балконом ее, когда и женщины неохотно взбираются на мраморные пьедесталы, чтоб с высоты их внимать молениям и гимнам своих поклонников, хотя как знать? роль Дианы, нисходящей в луче луны к счастливому смертному, может быть, и не совсем показалась бы... но это не мое дело; я хотел только сказать, что, может быть, в наше время женщины и не тронулись бы подобною любовию, но тогда было иначе; тогда в пышных виршах знаменитый Тредьяковский переводил поездку на остров любви, тогда читали Скюдери; следственно, об этих вещах думали иначе. Тогда не полагали, что одного пламенного взора довольно, чтоб обнять все существо женщины и заставить ее принести в жертву своему идолу и честь, и доброе имя, и семейство, и веру, и испивали наслаждение капля по капле, покупая дорогою ценою каждую новую милость красавицы. Предки наши рвали цветы и на могилах любовались зеленым плющом, вьющимся по развалинам; в благоговейном ужасе трепетали, когда огненные столбы, прыгая по горизонту, возвещали им бедствие, войну и кровь. Мы не смущаемся кровавыми следами в небе, сводим громы в определенную точку; но сушим цветы на могилах и обнажаем развалины, выпытывая, что скрывает зелень и цветы, и безобразный остов одевает холодом воображение наше. Мы стали умнее, но счастливее ли? Предки наши наслаждались, а мы спрашиваем: где наслаждение?

Левенвольд любил по-старинному, окружая всеми радужными цветами предмет любви своей, благоговея перед ним, как перед божеством, и почитая себя наверху блаженства, когда божество милостиво улыбалось ему, не смея простирать далее дерзновенного взора... так, по крайней мере, говорят записки отшельника.

Радость и любовь сияли в глазах Левенвольда; он остановился у порога, не смея подойти, как дитя, которое не верит своему счастию, думая, что с ним шутят. Что ж делать? Истинное чувство делает нас детьми, глупыми детьми, которые, уважая каждое слово маменьки, не смеют подойти к столу, когда другие докушивают варенья.

Грудь Зенеиды трепетала; пламенная краска покрывала лицо ее; но Левенвольд ничего не замечал, и важный вид, принятый красавицею, еще более озадачил полусчастливого любовника.

— Я призвала вас, граф... не удивляйтесь этому... Мне надо сказать вам многое... и очень важное... поверьте: одна опасность ваша заставила меня решиться...

— Моя опасность! Зенеида! Божество мое! Я заплатил бы жизнию за подобную минуту.— Он стал на одно колено и завладел рукою красавицы; счастие любви разливало необыкновенную жизнь по прекрасному и мужественному лицу его.— Скажи мне одно слово,— продолжал он шепотом,— одно слово: Левенвольд не совсем ли не чужд сердцу твоему?

— Граф, я сказала вам: есть опасность...

— Скажи мне одно слово и после говори, что завтра я должен умереть. Жизнь ничтожная цена за любовь твою. Что мне жизнь? Завтра или через год потерять ее, не все ли равно? Но любовь твоя — мое добро, мое достояние, я унесу ее с собою и во гроб.

— Любовь, Карл! Где для нас счастие любви? Не разлучены ли мы навек? Самое чувство это не есть ли уже преступление?

— Преступление? Моя чистая, святая любовь преступление? Но не невольна ли она, как аромат цветка? Не чиста ли, как дыхание ангела?..

Но я увольняю вас от продолжения разговора! Любовь всегда красноречива и убедительна, когда ее слушает любовь, хотя бы она произносила всегда одно и то же слово.

Изученная холодность красавицы уступила место более нежному чувству. Через несколько минут она сидела уже на своих больших креслах, Левенвольд у ног ее, на место Фимочки, только несколько поближе к креслам, рука Зе-

неиды покоилась на плече его, взоры сливались с его взорами; но вы можете себе представить, как это было невинно, непорочно!

— Зенеида! Целые веки прошли с тех пор, как я не видал тебя так, как теперь.

— Минуты счастия для нас так редки!

— С тех пор, как помнишь? В Царском...

Зенеида не дала ему договорить и склонила голову к его щеке. Я не знаю, как кончил Левенвольд прерванную фразу; но Зенеида, как будто вспомнив что-то ужасное, приподняла голову.

— Но кто знает, Левенвольд, что ожидает нас за этими минутами блаженства? Вы слишком беспечны, Карл, а орел не спит и строит ковы в тишине.

— Что, моя мечтательница? Чего боишься ты? Не опять ли нашего Заневского льва? Но он уже на той стороне реки; опасаться нечего.

— Ты смеешься, Карл! Но Миних раздражен, а самолюбие честолюбца не знает пределов мщению.

— Правда; но если Миних заносчив, как лев, он также не менее и благороден; он никогда не унизится низким мщением.

— Почему же низким? Разве он не может исторгнуть власть, которую сам вручил? Разве не может прикрыть мщения своего желанием народа, благом отечества и пристать к партии недовольных?

— Каких же недовольных? Россия отдыхает теперь после Бироновских ужасов. Регентша любима; везде спокойствие, тишина; правление кротко и снисходительно. Друзья России не могут не признать счастливой перемены.

— Но они знают, что есть царевна, дочь Петра, монарха боготворимого; что она имеет права на корону, что император в колыбели, а правительница окружена иностранцами. Карл! Дворянство неохотно видит доверенность, которую Анна имеет к вам.

— Мы также русские, Зенеида, подданные одного монарха, и народ знает преданность нашу трону. К тому же разве мы одни пользуемся милостию правительницы? Головкин, родственник по жене покойной императрицы*, пользуется полною доверенностию ее.

---

* Граф Михаил Гаврилович был женат на княжне Ромодановской, внучке кесаря Ромодановского, которого супруга была родная сестра матери императрицы Анны Ивановны. *(Примеч. автора.)*

— Честолюбие ищет не справедливости, а благовидных предлогов, Карл. Не нам сомневаться в том, Карл; еще недавно в глазах наших прошли, сменились и исчезли с шумом Меншиковы, Долгорукие, Бироны, могущественные Бироны... Не Анне удержаться там, откуда пал Бирон; он также был правителем!

— О, как хороша ты, моя Зенеида! Говори, говори еще! Я рад слушать тебя целый век.

— Карл! Карл! Правительница показывает Остерману новое платьице императора, когда он говорит ей об опасности, а ты играешь моими локонами!

— Но где же опасность? Поверь мне, что она существует более в воображении некоторых голов, везде и во всем находящих страшилища. Откуда придет она? Со стороны цесаревны? Но разве не знаем мы ее беспечность? Вы боитесь ее, как боялись Миниха, когда правительница, как Кромвель, переменяла каждую ночь комнату, страшась бог знает чего со стороны отставного министра. Пускай Шетарди* и его единомышленники строят ковы, если и в самом деле есть у них намерения; пока они найдут случай убедить цесаревну решиться на что-нибудь, Анна примет священный титул императрицы, и Елисавета должна будет отдать руку герцогу Курляндскому**; тогда мы посмеемся над всеми кознями и шведов, и французов.

— Но знаешь ли ты, что дня два тому назад — вот для чего я хотела видеть тебя,— дня два тому назад в новом трактире на углу Греческой улицы Лесток, доктор цесаревны, явно говорил при всех, что при дворе быть переменам, и пил за здоровье цесаревны. Если б они не были уверены в успехе, стал ли бы он говорить таким образом? Он близок к цесаревне; его видят очень часто у французского посланника. О, если б ты знал, как все это страшит меня! Погибель Анны повлечет твою неминуемо: ты в связях с Менгденами, молодым Минихом... о, я боюсь за тебя! С тобой погибну я!

— Зенеида! Ты ли говоришь это? О, повтори, повтори!

Лицо Зенеиды покрылось пламенною краскою; она опустила голову на грудь Левенвольда.

— 18-е декабря близко, Зенеида,— говорил граф, ста-

---

* Маркиз de la Chetardie, посланник французский при дворе правительницы. *(Примеч. автора.)*

** Людовик, брат Антона Улриха, избранный в герцоги Курляндские на место Бирона. Он был при дворе правительницы, и говорили, что она имела намерение женить его на царевне. *(Примеч. автора.)*

раясь успокоить красавицу,— в этот день, день рождения Анны, она торжественно примет корону из рук дворянства, верь мне.

— А до 18 еще много времени!— сказала Зенеида с тоскою.

— Но время летит, милый друг! Слышишь? Кукушка встрепенулась — она напоминает нам, что часы бегут невидимкою. Для чего отравлять мрачными предчувствиями немногие минуты, которыми судьба дарит нас! Прошедшее — забвенью, Зенеида! Все, что было в нем горестного, все, что было до времени, когда я узнал тебя. Сегодня, друг милый,— наслажденью; а завтра — пусть завтра провидение бросит меня хоть в снега Камчатки; но сегодня твою любовь! Твой взор, Зенеида!

В эту минуту что-то стукнуло за кроватью; граф встал; но взоры его встретили Душеньку, которая бледная, как мрамор, стояла у стены; глаза ее впали, глубокое страдание изображалось во всех чертах.

— Что с тобою, Душенька?— сказал граф, подходя к трепещущей девушке. Он хотел взять руку ее, но она упала к ногам его.

Но чтоб объяснить движение Душеньки, я снова должен перенестись в хижину Кондратия.

В один ясный зимний вечер, когда месяц изливал полное сияние на белые ковры, под которыми дремлет целые полгода наш угрюмый север, против Преображенских казарм остановилась небольшая толпа солдат; несколько поодаль стоял человек небольшого росту, широкоплечий, в солдатской шинели, и, опираясь на ружье, смотрел внимательно на темную группу, которая рисовалась неопределенными формами при блеске месяца. Казалось, что-то важное занимало душу его; наблюдатель прочел бы не одну тяжелую думу на челе его, нахмуренном и мрачном. По некоторым движениям его видно было, что шумный и веселый разговор товарищей был ему неприятен; при каждом восклицании, вырывавшемся из толпы, выражение досады изображалось на лице его; он с беспокойством осматривался кругом, и иногда негодование срывалось энергической бранью с языка его. Вдруг он остановился как вкопанный, как будто дыхание северного ветра обратило его в ледяную массу; вся душа его перелилась в слух и взоры; он завидел издали легкие санки парою; лошади, взвивая снег и жарко дыша густым паром, остановились прямо против толпы, которая в одно мгновение раздалась с глухими восклицаниями восторга и совершен-

но окружила сани; но молодой солдат имел время рассмотреть стройный, величавый стан женщины, обтянутый бархатной шубою, и черный соболь, обвившийся около прелестного лица, сияющего величием и кротостию. Высокий мужчина, закутанный в медвежью шубу, отделился от толпы и с открытою головою подошел к саням; более он ничего не мог видеть; по молчанию, царствовавшему в толпе, можно было догадываться, что воины с благоговением внимали словам, как видно было, боготворимой ими повелительницы. Потом снова все зашумело, заговорило; казалось, слова ее потрясли восторгом души старых служивых; они с трудом удерживали восклицания, которыми готовы были наполнить воздух. Невольное чувство повлекло молодого солдата вперед, он приблизился к толпе; но в эту минуту высокий худощавый солдат в преображенском мундире сильно схватил его за плечо и втолкнул в кружок, который снова сомкнулся за ними. Через несколько минут толпа раздалась, и сани снова полетели вдаль, бороздя снег резным полозом. Толпа рассеялась; но незнакомец остался на том же месте и смотрел вслед за удаляющеюся парою: слеза катилась по щеке его.

— Это была... цесаревна?— сказал голос под самым ухом незнакомца и заставил его вздрогнуть.

— Может быть,— отвечал он,— ты знаешь, что цесаревна милостива и изволит иногда останавливаться, когда встретит старых служивых покойного императора, отца ее.— Он пошел; но товарищ, которого появление, кажется, было неприятно незнакомцу, последовал за ним. Оба были в измайловских мундирах и казались почти одних лет. Они повернули на пустырь, к гостиному двору. Месяц склонялся за лес, и синеватые тени ложились длинными полосами по пустынному полю. Изредка переносный ветер, свистя, перелетал метелью, увлекая за собою мелкую снежную пыль; сугробы, насупясь седыми вершинами, белелись около заборов; никакого шуму, никакого звуку; как бы гений безмолвия с вершин косматых сосен сторожил долгий сон природы.

В это время по берегу Фонтанки шел старый знакомый нам инвалид; мороз, кажется, снял с плеч его несколько десятков лет: так бежал он легко и бодро. Падучая звезда скатилась по небу; он перекрестился. В это время невдалеке раздался крик, как будто глухое стенание; еще... но тише... и все смолкло. Старый служивый не раз видал смерть в различных видах на поле битвы, он был на славном сражении при Грэнгаме; но невольный трепет пробе-

жал по членам его; волосы стали дыбом, он остановился, приложил ухо: еще стон... он удвоил шаги, снова остановился; но ничего не слышно: только ветер гудит в соснах и качает вершины. Старик еще перекрестился и, задумавшись, пошел вперед.

Огонек светился в хижине его; он постучался; тяжелая дверь отворилась, и желтоватый, светлый пар одел его теплым облаком. С порога спрыгнула резвая стройная девушка; она схватила шапку старика, повисла ему на шею, отряхивала иней с седых усов его, и сердце старика отошло, как говорится, под огнем черных глаз ее. Он сел на переднюю лавку и вздохнул тяжело, как человек, которого грудь стеснялась долго под тяжким бременем. Он весело посмотрел на Душеньку, которая стояла против него; старушка Авдотья пряла волну, поправляя по временам в каганце лучину, которая с треском бросала искры, вспыхивая вдруг ярким пламенем, и снова стихала, чуть-чуть перебираясь синеватым огоньком. Неверный отблеск ее играл на румяном личике Душеньки и, освещая его полным светом, напоминал прекрасные фигуры Рембрандта, так ярко отделяющиеся от темного полотна в его неподражаемых картинах. Девушка положила одну руку на плечо старушки, как бы желая остановить ее работу, чтоб докучный ручник, вертясь и шаркая об пол, не мешал вслушиваться в слова старика; приложила другую руку к сердцу и потом указала на пустой угол, где обыкновенно сиживал Яков, что значило: «Где он?» — глаза ее выражали живейшее беспокойство.

Старик покачал головою и вздохнул. Душенька оказывала живейшее нетерпение.

— Плохо, Душа,— сказал Кондратий, уставя неподвижный взор в землю.— Яков наш хоть брось! Вот уж три дня, как и в глаза не вижу.

— Мати пресвятая богородица!— сказала Авдотья, утирая глаза концом передника.— Словно на него что напущено! Час от часу хуже да хуже! Вот так на свет божий не глядит.

— Да что плохо-то, Душенька,— продолжал инвалид,— связался бог знает с кем! С какими-то немчурами, прости господи! Ну немцы, что же? Они люди честные, и христиане, хоть и не по-нашему молятся; мы это знаем; по свету потаскались, бывали и в их земле; да эти-то мне не по сердцу: нашему брату не под стать связываться с барами. Один-то ходит все в медвежьей шубе, да закутается по самый нос, да не взойдет, а только вызовет. Как-де в избу

взойти к солдату! Батюшка блаженной памяти Петр Алексеевич, бывало...

— А другой-то, желанная моя*,— прервала старуха,— худой да длинный, так что не взглянешь. Такой нехристь!

— Какой тебе нехристь! Все ты врешь, баба!

— Да уж что хочешь говори, Васильич, а уж он погубил Яшутку! Малый в рот ничего не брал, а с ним повадился и по рюмочку.

Душенька затрясла головою в знак сомнения.

— Да он и сам не рад; что бога гневить. Напустил, вражий сын! Вот хоть ты режь, Васильич, а напустил.

Душенька опустила печально голову и потом вдруг сильно топнула ногою; на лице ее изображалась недоверчивость и досада.

— Ну тебе далось: напущено да напущено. Он не пьет как дома, а заберется с приятелями в рожок али в кружало, да еще в трактир, вишь ведь, барин стал, с сержантами повадился! то и давай. Нет, у батюшки Петра Алексеевича, блаженной памяти, не знали, что напущено, как взглянет да гаркнет, так и черт в конурку спрячется! Бывало...

— Да ты полно, Васильич. Ты послушай-ка, Душенька. Вот как тебя у нас не стало, малый-то у нас встосковался; все, бывало, сидит на берегу повеся нос. «Что, мол, ты, дитятко, словно в воду опущен? Ты бы погулял да потешился; смотри-ка, ваши солдатики гуляют, слышь, на Песках».— «Ничего, матушка, ничего!» Ну так, ничего. Службу царскую справляет как и быть, в церковь божью ходит, и дельце из рук не валится. Ан вот, матушка моя, и пришел он, вот годок был на Лександров день, и пришел он домой поздненько. Васильича дома не было; смотрю я, за ним идет в избу какой-то высокий, с значком, офицер, што ли, аль сержант, и навеселе; идет и не крестится. Как я на него взглянула, так сердце у меня и оторвало.

— Ну что! Так он небось поддал чаю Якову!

— Уж он ли, не он ли, а до того Яшутка и духу не знал, чтобы те водка аль настойка, а тут ни с того ни с сёво: «Матушка! Дай-ка, слышь, настойки! Человек-то добрый!» Ну добрый! И себе на уме держу; подала настойки да эдак и стала к опечку; Яшутка-то, не знаю зачем, отвернулся, а он обернулся ко мне задом да и взял рюмку. Господь его ведает, что он нашептал ли что али бросил

---

* Выражение новгородских и псковских крестьянок. *(Примеч. автора.)*

какого зелья, только с той поры Яшутка сам не свой. И в трактир повадился, и траву нечистую тянет,* прости господи! — продолжала она, оплевываясь, — и по целым дням и в глаза не видим. И все с проклятым немцем, Гаритиев, что ли, какой-то, и все шепчутся да пойдут в лес, ажно страшно!

В эту минуту дверь отворилась. Яков вошел. Лицо его было бледно, угрюмо; он, казалось, не заметил ни матери, ни Душеньки, поклонился отцу и сел на лавку.

— Да перекрести лоб-то, Яков! Вишь, с немцами-то повадился! — сказал Кондратий, не вставая с места и с выражением насмешливого упрека. — Подумаешь, и часу нет, как вышел, а, чай, уж дни три как не был.

Яков, не говоря ни слова, встал, положил три поклона и поклонился матери. Душенька подошла к нему с робостию: выражение лица его страшило девушку. Яков обнял ее, казалось, не понимая сам, что делает, так глубоко была занята чем-то душа его.

— А уж мы ждали, ждали тебя, Яшутка, — сказала мать, забывая все горе при виде милого сына. — И сегодня все глазыньки повыглядела: погодка такая разыгрывается, знать, бог снежку даст. Нет, мол, знать, уж он и сегодня не придет, а уж и ужинать пора бы. Да и что это, Яшенька, никак, у тебя на щеке-то кровь, да и на рукаве-то? Не ушибся ли ты, дитятко? Дай-ка потру.

Яков отскочил с ужасом.

— Кровь? Нет; ничего, ничего! Это мы боролись с товарищами. Да! Это ничего.

— Да дай же потру! Непригоже.

Яков отнял руку; старушка посмотрела на него с робостию.

— А Душенька-то к нам ночевать пришла, — сказала она, стараясь победить непонятный ей самой ужас. — Вишь, с тобой давно не видалась, так и отпросилась у барыни.

Яков не отвечал ни слова и молча глядел на Душеньку. Она стояла перед ним и печально смотрела, как вьюга заносила окно мелким снегом, но, верно, не думала ни о вьюге, ни о снеге. Яков, казалось, боролся сам с собою и хотел вывести душу из странного оцепенения, в котором она находилась; наконец, как бы пробудясь, он подошел к Душеньке и крепко обнял ее.

— Ну, Душенька, не забыла ты меня в высоких хоро-

---

* Табак. *(Примеч. автора.)*

мах твоей боярыни? А! Мы давно не видались с тобою. Вот больше уже трех недель.

Душенька прижалась к груди Якова и смотрела на него, как голубка.

— Ты все такая же пригожая, Душенька!— сказал Яков, с грустию продолжая смотреть на девушку.— Матушка! Ты что-то говорила об ужине — за чем же дело стало? Давай-ка что есть в печи.

— Сейчас, сейчас, желанный мой!— сказала старушка, заботливо хватаясь за ухват; но глаза ее невольно остановились на темном пятне на рукаве Якова.

— Ты все об этом, матушка?— сказал он, дико улыбаясь и стараясь преодолеть внутреннее чувство.— Я говорю тебе, что я... боролся с товарищами.

Отец покачал головою; он во все время сидел насупясь и, кажется, не слушал разговора.

— То-то товарищи-то не доведут до добра,— сказал он.

— Э, батюшка! Чему быть, тому не миновать!

Вьюга выла за окном.

— Что ты смотришь на меня, Душенька? Я переменился? А?— В самом деле Яков переменился; с некоторого времени он был неузнаваем. Всегда трезвый, воздержный, теперь он возвращался домой иногда очень навеселе, но наутро не ходил опохмеляться, как водится, и был недоволен собою. По целым дням бродил по лесу или по полям, и Кондратий часто видал его с каким-то господином в шинели. Яков редко бывал дома, и хотя по-прежнему был добрым сыном, но видимо чуждался стариков; самое присутствие Душеньки не имело для него прежней прелести. Бывало, только стукнет она в окно, он бежит навстречу к ней, не наговорится, не насмотрится на нее. Узнает ли, что она будет в хижину, ничем не заставишь его идти со двора: сидит на завалине и ждет. Теперь тут ли Душенька, нет ли, ему все равно; он редко улыбается, смотря на ее живые, быстрые телодвижения — этот язык, созданный ею самою и столько понятный для него; узнает ли, что Душенька должна прийти, он уходит с самого утра, особенно если немец постучится в окно и вызовет его, он не остановится, хотя она была бы и на пороге. Душенька замечала перемену в Якове и плакала тихонько, бедное дитя! Она живет в свете, как на чужбине, как между иностранцев, где никто не понимает языка ее, где смеются, когда она говорит о страданиях сердца, и равнодушны, когда душа ее горит желанием поделиться радостью. Был один человек, который понимал ее, делил ее чувства; она рассказы-

вала ему все, что видела, что слышала, что чувствовала; но теперь он чуждается ее; она не смеет говорить с ним, молча сидит подле него; сердце ее томится желанием излить чувство, переполняющее его; но напрасно взоры ее ищут его взора: он не смотрит на нее, а если глаза его и встретят ее умоляющий взор, он улыбается, целует ее, как дитя, и уходит; а она остается опять одна, и тоска свинцовой гирею ложится к ней на грудь. Многое хотела бы она открыть Якову. Но кто мог знать, что это было такое? Она была между людьми как те неузнанные существа, которые, будучи раз обмануты в сердечной доверенности, заключаются в себе самих и живут гробницами между живых, скрывая в глубине души тайну своего нравственного существования, как неразгаданная руническая надпись на диком камне, мимо которой беззаботно идет путник, не подозревая сокровище, которое, может быть, обогатило бы науку. Зенеида... О, она любила ее, как человек любил когда-нибудь существо, сделавшееся ему необходимым! Она не уснула бы ночи, если б узнала, что Душенька больна. Но страдания сердечные ведь не антонов огонь и не горячка: они не убивают и не мешают быть полезными. Да и каким у нее быть страданиям? Она не замужем, не у двора, уж верно не влюблена, как ей сметь? Что же еще? Люди признают те страдания действительными и стоящими внимания, которые испытали сами.

Но было еще одно существо, которое с участием, если не с удивлением, останавливало иногда взоры на Душеньке: это был Левенвольд. Зенеида редко видала его; казалось, чем более она любила его, тем более удалялась. Не приписывайте этого, однако же, осторожности или расчетам, нет: Зенеиде и в голову не вошло бы, чтоб благоразумие ее имело нужду в посторонней помощи; это был какой-то инстинкт, как у животных, которые удаляются безотчетливо от опасности. Но гордая красавица не умела отказать себе в удовольствии каждый день знать что-нибудь об Левенвольде, и ее Ириса-Душенька, не на облаке, конечно, не светлою радугою, но не менее прекрасная, пробиралась потаенной дверью в кабинет Левенвольда и так же возвращалась, принося письмо или один поклон. При свиданиях любовников Душенька была всегда третьею, и иногда посереди живого, сердечного разговора, нечаянно взглядывая на смуглую Ирису, которая неподвижно стояла в уголке, устремя черные, блестящие глаза на счастливую чету, он был поражен и бледностью щек ее, и странным огнем взоров, в которых, кажется, сосредоточивалась

вся жизнь ее. Если б он читал Месмера или Эккартсгаузена или говорил почаще с Авдотьею, то подумал бы, что глаза Душеньки одарены в высшей степени магнетическою силою, могущественно действующею на душу его, только не усыпительным образом, или сказал бы с Авдотьею: «Вещий глаз, недобрый глаз!» Ему хотелось часто разгадать это непостижимое выражение страсти и страдания, но до того ли было ему? Зенеида присвоила все минуты жизни его, все биения его сердца, все порывы его мысли. Иногда, принимая письмо из рук посланницы, он нечаянно касался ее руки или платья и чувствовал, как внезапный трепет обнимал все существо девушки и сообщался ему электрическою искрою; но у него в руках было тогда письмо: некогда было думать о Душеньке. Но это заставило меня забыть хижину. Чуть-чуть еще брезжилось пасмурное утро, когда Яков вышел из избы. Скрыпнувшая дверь разбудила Душеньку; она подняла голову и снова опустила ее на подушку, и ни один из светлых духов, собиравших с небес покровы ночи, мимолетом не шепнул ей, что друг ее не возвратится более в хижину.

Около полудня хозяин привел на пустырь позади гостиного двора несколько подвод с сосновыми бревнами; их начали сваливать и заметили в стороне взрытый снег и на нем подозрительные темные пятна. Начали разрывать и нашли мертвое тело. По платью узнали измайловского солдата; голова его была проломлена; в руке, сжатой последней судорогой, был оторванный лоскуток сукна.

Хозяин объявил полиции; назначено следствие; начались розыски.

Несчастный был молодой ливонец, лет за пять перед тем поступивший в полк, тихий, смирный и особенно любимый шефом, которому был предан душою. Никогда ни малейшей жалобы не доходило на него до начальства; он уклонялся от шумных пирушек, не братался с молодежью, и обыкновенным товарищем его был угрюмый, уединенный Яков, также известный в полку примерным поведением. Яков когда-то имел случай оказать, с опасностию жизни, важную услугу молодому ливонцу, и с тех пор самая искренняя дружба всегда соединяла их. По следствию оказалось, что накануне дня, когда найдено было тело Ганса, так звали молодого ливонца, оба товарищи были вместе в казармах целое утро; часа через два после полудня Яков вышел. Без него приходил к нему сержант Преображенского полку Грюнштейн и, не найдя его дома, скоро ушел. Через час после того вышел и Ганс, и вечером, поздно, один

из товарищей видел его с Яковом на большой перспективе; более никто ничего не знал. Спросили Грюнштейна: он был целый вечер с товарищами в трактире, возвратился в полночь в казармы с ними вместе и не выходил до самого утра. Тело было совершенно замерзшее, следственно, убийство было совершено еще с вечера. Призвали Якова.

— Господи! Для чего дожил я до такого дня!— сказал старый Кондратий, затрясясь, как вершина подрубленного дерева, когда сказали ему: лоскуток сукна, найденный у мертвого, пришелся точь-в-точь и цветом и величиною к вырванному лоскуту, которого недостает у шинели Якова.

Но Яков упорно запирался или не отвечал на вопросы. Решили: пытать.

Для этого-то Душенька упала к ногам графа; она умоляла его доставить ей случай видеть Якова прежде страшного дня. Она была убеждена в невинности его, и хотя многое обвиняло Якова, хотя сам Кондратий не оправдывал его, объявя в суде откровенно о кровавых пятнах, виденных на платье сына его в последний вечер, но она не могла верить, чтоб он мог быть убийцею; она знала любовь его к Гансу, знала строгую честность его, любовь к добродетели и не могла понять, как мог он совершить преступление.

Старый Кондратий не взят был под стражу, но оставлен под присмотром. Увы! И он был обвинителем своего сына!

Это дело сильно тревожило графа и Зенеиду; беспокойство о судьбе молодого солдата было также одною из причин, побудивших красавицу воспользоваться праздником, который супруг ее давал друзьям своим, и, притворившись больною, принять графа. Впрочем, я был бы в затруднении, если б должен был сказать, какая причина была главною.

3

В низкой и сырой тюрьме, на деревянной скамейке, крепко скованный тяжелою цепью, в белой русской рубашке толстого холста с расстегнутым воротом сидел Яков, подпирая обеими руками голову. Слабый свет зари проходил красноватым столбом сквозь железное продолговатое окно, пробитое вверху стены, и падал прямо на узника, так что наклоненная голова его, с которой катились в беспорядке русые кудри и широкие плечи, одна принимала отражение света, между тем как остальная часть фигуры

темными красками рисовалась во мраке, царствовавшем вокруг. Посмотря на неподвижность молодого солдата, можно было подумать, что видишь перед собою мраморное изваяние или картину, наброшенную творческою кистию Сальватора или Мюрилло. Никакой звук не прерывал глубокого безмолвия темницы: это было жилище смерти или преддверие храма ее.

Вдруг раздался звук тяжелых ключей за дверями. Яков содрогнулся невольно. «В неопределенный час? Ужели настала минута страшной пытки? О отец мой! Может быть, в этот час тяжкого испытания, когда молитва и благословения твои столько нужны мне, чтоб не изменить правому делу, твое проклятие падает на виновного сына. О! Пусть умру я! Но чтоб твое прощение освятило прах мой!»

Он с ужасом посмотрел на дверь; сердце его изнемогало под бременем ожидания бедствия, для перенесения которого он чувствовал в себе еще довольно силы.

Дверь отворилась; он закрыл глаза, боясь удостовериться в страшной истине, и тихо читал молитву.

Но это был не сторож темничный, не страшный исполнитель мучительных казней. Нет! Это была женщина. Слабый луч света, проникнувший в отворенную дверь, освещал милое, пленительное лицо ее. Она дала знак, и дверь затворилась; но глаза ее, не привыкшие к темноте, не могли различать предметов. Она закрыла их рукою, как бы желая свыкнуться с мраком.

Встань, Яков, встань! Это друг твой, твоя Душенька! Она уже на груди его, и теплые слезы ее смочили грубую ткань рубашки. О! Каким целительным бальзамом падали они на сердце Якова! Как они согрели его! Как глубоко дали почувствовать ему, что человек не рожден для одиночества, что сочувствие, собратство всегда были и будут потребностию сердца его!

Если б знали, что значит слеза участия, пожатие руки, которое говорит несчастному, отверженному обществом, что в нем видят еще человека, брата, падшего, но не утратившего величие природы человеческой! Отчуждение! Это страшилище ада гнетет человека бременем, превышающим силы его; он изнемогает под взором презрения собратий. Напрасно ищет он свидетельства совести, чувства собственного достоинства — печать отвержения на нем, презрение преследует его, зияет над ним во мраке, и одиночество налагает ледяные оковы на душу его. Напрасно плачет он, напрасно покрывает кровавым потом почву, над которой трудится. Нет! Слеза раскаяния отворяет небеса

и капает на сердце человека, как на холодный мрамор, с которого стекает, не оставляя следов.

Душенька села на скамье, только что оставленной Яковом; он поместился на соломе, разостланной на полу, у ног ее: рука его сжимала ее руку; он смотрел на нее и не верил, что взор участия, взор любви опять устремлен на него. Он не думал, что ему суждено еще иметь на земле минуты радости; но таково все земное: лучшие минуты наши отравлены мыслию о кратковременности наслаждения, и посереди величайших страданий внезапный луч радости озаряет сердце человека; улетевшая радость оставляет грустный след в душе его; и отдаленность, притупляя горькое, являет прошедшее страдание в приятном, отрадном свете глазам его. Нет совершенства даже и в несчастии.

Душенька положила одну руку на плечо Якова и смотрела на него глазами святого сострадания. Она казалась ангелом с миссиею утешения, слетевшим в юдоль плача.

— Мучения не страшат меня,— говорил Яков.— Я знаю, что терплю за дело правое, и эта мысль возвышает душу мою превыше страданий телесных. Без сожаления принимаю смерть, если это быть так должно; я знаю, что поступал по совести, хотя закон и обвиняет меня. Закон судит дела, и закон свят для меня; без ропота подвергаюсь суду его, потому что не могу и не должен говорить в мое оправдание. И что я могу сказать? Цель моя была велика, возвышенна; но цель не оправдывает средства. О! Клянусь богом! Она была возвышенна! Но дело, которое должен был совершить, чтоб удалить препятствие, удалявшее меня от нее, есть преступление перед законом, и закон осудит меня. Осудит и тогда, когда б я открыл цель... О, Душенька! Как слаб, ничтожен разум человеческий! То, что мне кажется благом, есть зло в глазах других; я жертвую жизнию, честью, совестью, надеждой будущей жизни для достижения цели, в святости которой убежден, убежден, как в бессмертии души моей! Но эта цель покажется преступною другим; они обременят меня презрением, цепями, позорною казнию... Ты содрогаешься? Глаза твои с изумлением смотрят на меня; я вижу в них один вопрос: «Убийца ли ты?..»— Да; я убийца!

Душенька с воплем откинулась назад и, закрыв глаза руками, снова упала на грудь его.

— Оставь меня, проклинай, как и все,— сказал он, отталкивая ее.— Я не хочу твоего сострадания; я не хочу сожаления о преступнике. Поди. Яков преступник должен внушать тебе ужас. Тебе, чистой, незнакомой с страстями,

не ведающей роковой силы необходимости!— Голос его смягчался по мере того, как он говорил, и выражение свирепого ожесточения, с которым он отталкивал бедную девушку, уступало место тихой, глубокой скорби. Вид Душеньки, совершенно убитой мыслию, которая возмущала душу ее, невинную и чистую, пробудил сострадание в душе его. Он понял, что есть существо еще несчастнее самого преступника: существо, любящее его. Преступный иногда находит в глазах своих извинение в причине, побудившей его к преступлению, в силе страсти, овладевшей им, силе, непонятной другому; но какое оправдание найдет посторонний? Он видит ужас преступления и напрасно ищет призрак извинения; сердце его изнывает в борьбе между необходимостию осудить и привычкою любить.

Яков сидел угрюмо, опустя голову на грудь. Он понимал страдание, раздиравшее душу девушки.

— Оставь меня, Душенька,— сказал он,— довольно с меня и собственного страдания.

Душенька бросилась на грудь его. Слезы ее лились; но лицо выражало одну любовь, святую, братскую любовь. В минуту краткой борьбы она узнала, что не перестанет любить Якова преступного, виновного, таким, как он есть; что она будет нести тягость его преступления как собственного: страдая, но не отвергая, как нельзя отвергнуться себя самой. Таково чувство самоотвержения женской любви, доказанное опытами: она так сливается с предметом нежности своей, что бытие его становится ее собственным, и как, негодуя на проступок свой, нельзя возненавидеть себя и разделиться с собою, так ей невозможно оставить виновного, понимая всю силу вины его.

И, однако ж, она любила Якова не более как брата; это была не одна благодарность: нет! Благодарность есть долг, а ее чувство было свободное, вольное, как всякая любовь: это была часть души ее.

Яков понял чувство ее, и слезы ее не оскорбляли его более. Может быть, одно сострадание, неоскорбительное для несчастного, есть сострадание любящего сердца.

— Душенька!— сказал он, взяв обе руки девушки;— сердце твое достойно доверенности несчастного. Я ничем не могу заплатить тебе за любовь твою, как открыв тебе сердце мое, и, может быть, ты найдешь Якова не столько ненавистным, как думаешь. Никакие мучения, пытки не исторгли бы из меня то, что заставляет открыть тебе одна слеза твоя. Я не требую от тебя клятвы — не изменять ни одним знаком вверенной тебе тайне: ты поймешь сама

важность того, что сообщу тебе. Об одном прошу тебя: когда меня не будет, приведи отца моего на мою могилу и скажи ему, что я совершил преступление, но что сердце мое осталось чистым.

Если б горесть Душеньки не была столько сильна, что не оставляла ей времени думать о чем-нибудь постороннем, то язык Якова удивил бы ее. Но язык наш принимает обыкновенно характер предмета, исключительно нас занимающего: предмет возвышенный поведет ряд мыслей высоких, благородных, часто глубоких; низкий пробудит идеи низкие, ничтожные: образ выражения заимствует колорит мысли. Следственно, Душенька не должна бы была удивляться, если Яков говорил языком, может быть, необыкновенным в устах простого солдата, зная, что сыздетства мысль его всегда носилась выше тесного круга его ограниченной деятельности и что высокое рано сделалось ему понятным; но могла ли она тогда размышлять таким образом? Не думая о выражениях Якова, она смотрела на него и с нетерпением хотела прочитать в глазах его роковую тайну.

— Помнишь ли ты, Душенька,— начал Яков,— уединенные беседы наши на берегу реки или в глуши лесной, на мшистом пне срубленной сосны? Как часто я говорил тебе о великом Петре, о подвигах его, о любви моей к памяти великого человека! Отец мой первый бросил в душу мою искры пожара, долженствовавшего после обнять все существо мое. Рассказы его о покойном государе заставили меня боготворить самодержца-преобразователя; боготворя его, я не мог остаться равнодушным к его творению: судьба России, дитяти его, России, пересозданной творческою рукою его, занимала всю душу мою; я искал беседы стариков, слушал рассказы людей знающих; расспрашивал, что сталось с великими планами Петра; хотел знать, кто и как правит кормилом, на котором оставила следы твердая десница исполина. Перемены властей, двора, законы, войны, учреждения — все занимало меня. Я следовал взором за Меншиковым, Долгоруким, Шереметевым, Остерманом, великими сподвижниками Петра. Я видел, как закатилась над Березовым светлая звезда счастливого любимца величайшего из монархов; видел, как заблистали и померкли Долгорукие; как пал могущественный Бирон; видел, как играли короною бояре, передавая ее с условиями чуждым нравам нашим, но по праву, по собственным выгодам; видел смуты, козни, окружающие трон, и Россию жертвою крамол и власти колеблющейся,

неопределенной; Россию, творение Петра, так высоко, так, быстро вознесенную; Россию, отдохнувшую от долгих бедствий под сению десницы Романовых и великого Петра; корону ее на главе младенца, власть в руках женщины слабой, управляемой безвестными иностранцами; Миниха, славу войск наших, удаленного от двора. «Россия покойна,— говорят мне,— она отдыхает от долгих страданий». Правда; но кто поручится, что эта тишина будет продолжительна? Где мощная рука, готовая остановить какого-нибудь нового Бирона, Телепнева-Оболенского? Рука ли младенца или рука отца его, забывающего в недостойных связях, что девочка, ливонка, отнимает у него власть над супругою и служит щитом... я не повторяю клеветы и не хочу верить тому, что, может быть, выдумано врагами... Не мне судить судьбы царств, но я следую голосу сердца: оно указывает мне спасение России, и тайный голос говорит мне, что одна отрасль Романовых, отрасль Петра, достойна занимать трон его. И эта отрасль, она посреди нас, с нами; рука ее могущественна и тверда; в ней душа великого отца ее; одна она упрочит счастие России. Ошибаюсь ли или нет, не знаю; но я твердо верю, что счастие России неразлучно с домом Романовых, что род Петра высоко вознесет судьбу ее. Прости мне, всевышний! Я виновен; но благо России было моим страстным желанием, единственным помыслом души моей! Я хотел видеть Елисавету на троне отца ее, и теперь, если нужно отказаться от будущего блаженства... О моя родина! Все, все в жертву тебе! Лишь бы ты была счастлива под сению дома Петрова!..

. . . .

Душенька! Ты видишь во мне врага правительницы и сына ее... Не корысть, не личная выгода заставили меня забыть смиренное назначение мое и вступить в круг мне неприличный. Что выигрываю я в случае успеха, я, ничтожный, безвестный труженик общества? Другие украсятся трудом моим, имя мое исчезнет в куче других имен, и мой правнук, внук даже не узнает, что я участвовал в славном деле. Мне достанется, может быть, несколько золота, чин, дворянство.— Ужели все это стоит того, чтоб жертвовать жизнию, спокойствием, честию? Может ли все это быть положено на одни весы с тем, что теряю я в случае неуспеха? Какая участь ожидает меня, если намерения мои открыты? Ненависть современников, которые судят дела по успеху, имя мое, преданное презрению и выставленное на позорном столбе, а потомство?— Подданный вну-

ков Иоанна произнесет имя мое как имя изменника и убийцы; сограждане почтут его укором и стыдом как имя изменника Мазепы... Но что это все? В случае неудачи разве мы не ввергали в бездну бедствия Елисавету!..

Но что я говорю? Не мне участвовать в великом деле. Богу не угодно было, чтоб я видел совершение его. Всесильная рука его остановила меня у самой цели... Имя мое пронесется в народе как имя ничтожного убийцы, и презрение потопит могилу мою, не закрытую свежим дерном рукою друга! Но да не пропадет безвестная жертва моя! Преступление менее тяготит душу мою, когда я думаю, что ценою его, может быть, я способствовал благу родины. О всевышний! Да не оскорбится величие твое молитвою преступника! Доверши начатое, и да падут враги Елисаветы...

Душенька опустила руку Якова; она смотрела с благоговением на молящегося преступника; лицо его, освещенное бледным светом сумерек, одушевлялось пламенною молитвою; глаза горели огнем энтузиазма; мрак темницы, вдохновенный взор его, сжатые руки, его молчание — все делало глубокое впечатление на душу ее; не смея дышать, она ждала неподвижно, когда сердце окончит молитву, которой не разделяли уста.

Он опустил голову; восторг, оживлявший лицо его, уступил место обыкновенной мрачности. Помолчав несколько, он начал:

— Помнишь ли ты этот день, когда пожар опустошил весь берег Мойки от самого истока ее до Зеленого моста*? Это было осенью; загорелось в самую полночь**. Я поспешил на пожарище: огонь разливался по низменным кровлям, гостиный двор пылал; вопль несчастных, треск пылающих бревен, стук скачущей пожарной команды, крик, шум, летящие головни — это был настоящий ад. Я продирался сквозь толпу ближе к страшному месту действия; мне казалось, что какая-то сила влекла меня; я шел и действовал как будто против воли моей. Вдруг подле меня раздался вопль: «Матушка! Матушка!» — и человек бросился к объятой пламенем избе. В эту минуту волны народа, отхлынув далеко, отнесли его назад, но голос его потряс всю душу мою; не знаю, откуда взялись у меня силы; я продрался сквозь толпу и бросился в дом, к которому пробирался незнакомец. Пламя обхватило меня, но я

---

* Полицейского моста. *(Примеч. автора.)*

** 1737 г. *(Примеч. автора.)*

проник во внутренность; глухое стенание указало мне место, где была жертва: я нашел ее и вынес... за мною обрушился горящий потолок.

Не помня сам себя, я бежал с моею ношею из этого ада; пламя следовало за мною; я слышал свист его около головы моей; вопль, стоны, крик народа оглушали меня... Толпа раздавалась передо мною. Добежав до первого свободного места, я бросился на землю и потерял чувства...

Какой-то холод, пробежавший по лицу моему, привел меня в себя: около меня толпился народ, восток загорался; над пожарищем вился сизый дым, и по местам, между обгоревшими развалинами, вспыхивал огонь. Кто-то лил мне на голову воду; молодой, совершенно незнакомый мне человек прижимал к сердцу руки мои и называл меня своим благодетелем. Подле меня сидела на бревне бледная худенькая старушка; она также что-то говорила мне на языке, которого я не понимал. Вдруг толпа зашумела и раздвинулась. Богато одетая дама, статная и величественная, медленно шла, кланяясь на обе стороны. Величие сияло в больших голубых глазах ее, уста ее дышали кротостию и ангельскою добротою; восклицания народа сопровождали шаги ее... О, никогда не забуду я этой минуты... Вот, смотри: здесь в этом мешочке зашита цепь, которую она сняла тогда с шеи и надела на меня в награду, как говорила она, за мое доброе дело... В награду!.. Мало целой жизни за подобную минуту. Вот она, эта цепь! Ни муки, ни самая смерть не разлучат меня с нею!

Я видел, как улыбка ее разливала милость и утешение вокруг нее; видел, как взор ее искал несчастных в толпе, ее окружающей; видел, с какою доверенностию народ теснился к ней, называя ее матерью, и какими восторгами сопровождал ее карету; слышал благословения, которыми осыпал ее долго после того, как скрылась она из виду...

С тех пор жизнь моя принадлежит Елисавете; с тех пор она овладела всеми помыслами, всеми желаниями души моей и с тех пор также я приобрел друга.

Это был Ганс, молодой человек, которого мать я имел счастие спасти от смерти. Ганс вступил в полк наш, и мы сделались неразлучны. Он привязался ко мне, как к отцу, как к старшему брату; я полюбил его, как родного, как будто бы он был моим. Он видел во мне защитника и покровителя, я вступался за него, как за меньшего брата. Его молодость, слабость, сиротство на чужой стороне, самое добро, которое я сделал ему,— все привязывало меня к нему. Да; я любил Ганса, как сына!

Яков опустил голову с выражением глубочайшего страдания; казалось, ему трудно было преодолеть тяжелое чувство, объявшее душу его. Наконец он начал опять:

— Видно, нам свойственно любить тех, кому удалось нам сделать доброе: может быть, потому, что вид их напоминает нам лучшие минуты, какими мы только можем похвалиться перед богом. Сердце мое усыновило Ганса.

Молодой ливонец познакомил меня с приятелем своим, Грюнштейном; он был сын обанкрутившегося купца и служил сержантом в Преображенском полку. Мы сдружились; сердце его было предано цесаревне, как и мое, и потому он легко овладел моею доверенностию. Я открыл ему душу мою, говорил ему об опасениях моих за будущую судьбу России, о желании моем видеть Елисавету на троне ее отца, и в один вечер он увлек меня в глубину леса и там открыл мне, что есть небольшое общество приверженцев Елисаветы, которые под начальством многих значащих людей поклялись умереть за нее или возвести ее на трон предков.

Тебе не нужно знать ни планов, ни имен товарищей моих, равно как и имен начальников наших, я скоро сделался одним из главных орудий их, и с тех пор жизнь моя изменилась совершенно. Я редко видал батюшку, убегал тебя; одна мысль занимала меня; я жил только ею; все постороннее, не относящееся к предмету, исключительно занимавшему меня, было мне тягостно и скучно. Более всех убегал я Ганса: я боялся, чтоб он не проник тайны моей, потому что знал преданность его к нашему шефу. Он не потерпел бы замыслов против правительницы, падение которой увлекло бы и приверженцев ее, и первого Левенвольда...

Но что значит эта бледность, этот трепет, Душенька? Ужели любовник госпожи твоей дороже для тебя блага родной страны?

Душенька потупила глаза; грудь ее вздымалась; она старалась казаться покойною; принуждала себя улыбаться и смотреть на него; но взор ее был робок, как взор дитяти, ожидающего гнева своей матери.

— Дитя!— продолжал Яков, лаская Душеньку.— Я вижу, рассказ мой страшит тебя; он нов, ужасен для тебя. Ты трепещешь, когда когти ястреба грозят смертию голубке, приютившейся к старому пню; мудрено ли же, что повесть моя смущает твою детскую неопытную душу, которой непонятны превратности судьбы? Но я скоро кончу.

С горестью видел я, что не только товарищи мои, са-

мые начальники не наблюдали необходимой осторожности. Действия их были медленны, не оживлены должным усердием. Особенно перед кончиною покойной императрицы казалось, что партия наша совершенно рассеялась. После кончины ее некоторые приверженцы герцога Бирона давали нам чувствовать, что он охотно примет сторону нашу. Бог знает, какие имел он намерения: трудно верить, чтоб при всей дерзости своей он мог осмелиться простирать взор свой на руку августейшей цесаревны для сына своего, как говорят в народе. Миних предупредил намерения его; но надежды наши оживились. Герцог как будто пробудил деятельность начальников партии, особенно с тех пор, как приезд герцога Курляндского, брата генералиссимуса, открыл намерения Анны в рассуждении цесаревны: правительница хотела соединить ее с Людовиком. Но если этот предполагаемый брак возбудил деятельность партии нашей, мы не сделались ни осторожнее, ни предприимчивее; откладывали решительную минуту день ото дня, и между тем Грюнштейн и другие товарищи, самый Лесток везде говорили о переменах, пили за здоровье цесаревны, произносили громко имя ее, и со всех сторон стали доходить до двора уведомления о существовании заговора. Остерман больной велел себя принести к правительнице, чтоб предупредить ее об опасности: безымянные записки уведомляли самого герцога, беспечность их спасла нас. Впрочем, они взяли некоторые предосторожности, и мы узнали, что Головкин, Левенвольд, Менгдены и другие замышляют провозгласить Анну императрицею. Это решило судьбу нашу. Благородный Лесток, этот чужеземец русский сердцем, которого боготворит душа моя, убедил цесаревну низойти на просьбы наши и для блага всего отечества назначить день для исполнения заговора. Цесаревна согласилась. Что ты смотришь так быстро на меня, Душенька! Этот день... Он уже близко! И между тем неосторожность Грюнштейна едва не разрушила было труды стольких лет!

В тот вечер... В последний, когда я видел тебя в хижине,— я вышел со двора в сумерки и, встретив Грюнштейна, узнал от него, что он был у меня; он сказал, что три батальона гвардии, в которых находилось много наших сообщников, получили приказание присоединиться к Выборгской армии. Это расстроивало наши намерения, и мы ожидали приказаний. Поздно вечером я стоял еще против Преображенских казарм, когда Ганс нашел меня. Не могу тебе описать, как появление его было неприятно мне: как

будто ангел-хранитель, испуганный предведением того, что должно было случиться, шепнул мне на ухо: «Беда!» Сердце мое сжалось, и я совершенно против воли последовал за Гансом. Долго мы шли, не говоря ни слова; предавшись совершенно мысли, занимающей меня, я забыл, что иду не один, и невольно вздрогнул, когда Ганс, вдруг остановясь, назвал меня по имени.

Я поднял голову: мы были на пустыре. Ветер завывал в лесу; поле, деревья, заборы, кустарники — все как бы дремало, закутавшись в белые саваны, и месяц, как чародей, плыл высоко в небесах, усыпляя всю природу вещим глазом. Ганс смотрел на меня пристально; выражение лица его поразило меня.

— Яков,— сказал он мне,— у тебя на уме есть что-то недоброе.

— А что бы это такое?

— Напрасно таишься; я знаю все. Вы замышляете против императора.

Я остолбенел; внезапный удар грома менее бы поразил меня.

— Это ложь!— сказал я наконец, стараясь оправиться.

— Ложь! Нет, Яков; это истина. Для чего тебе таиться от меня? Упорство твое ни к чему не послужит, потому что я убежден в истине слов моих.

— Ты вздор болтаешь, Ганс: тебе привиделось во сне или — уж не забралось ли что в голову? Э, милый! Кажется, я до сих пор за тобой не замечал.

— Нет, я не пил, Яков; но в самом деле голова моя как шальная. Не могу сообразить понятий моих: ты замышляешь против законной власти! Ты идешь против царя и присяги! О, если б я мог верить, что это неправда!

— Кто ж мешает? Ганс! Ты, право, немного рехнулся. С чего ты взял?

— Что тебе до этого? Вы замышляете против правительницы; если я назову тебе главных начальников ваших, станешь ли еще упорствовать?

Я смотрел на него, не говоря ни слова. Он назвал мне Лестока и обыкновенное место свиданий его с нашими.

В ужасе я схватил его за руку, но, опомнясь еще, притворился и шуткою просил у него доказательств.

— Послушай, Яков,— сказал он мне,— прежде чем покажу тебе неоспоримые доказательства, которые убедят не одного тебя, верь мне: я хочу поговорить с тобою. Ты видишь, я основываюсь не на одних слухах, следственно, давно уже мог бы идти и открыть все начальству, и те-

перь, может быть, оно было бы уже в безопасности и заговорщики ваши перехватаны. Но ты погибнешь, я это знаю. Я должен буду доносить на тебя, спасителя моей матери, моего благодетеля, друга! Это выше сил моих! Я скорее умер бы, чем погубил тебя. Умоляю тебя богом, откажись от твоего намерения! Пойдем со мною; открой все начальству сам: оно простит тебя, видя добровольное признание твое...

— Никогда!

— Заклинаю тебя. На коленях прошу тебя! Возьми что хочешь, возьми жизнь мою... ради старого отца твоего! Он не перенесет твоего несчастия! Яков, Яков! Сжалься надо мною! Я не могу погубить тебя и не могу изменять присяге: я целовал крест.

— Чего ты хочешь, безумный! Ступай, доноси! Ты исполнишь свой долг, а тебе так же не поверят, как и другим. Да и до того ли им, чтоб слушать всякий вздор: правительница ждет гостей из Польши*, а генералиссимус хлопочет с шведами. Ведь Вильманстрандская победа не конец; мы еще порассчитаемся с шведами.

— У меня есть доказательства, доказательства письменные, говорю тебе!

— Покажи.

— Нет; упорство твое доказывает мне, что я не должен иметь к тебе доверенности.

— У тебя нет их! — сказал я, притворно засмеявшись, и пошел от него.

Ганс бросился за мною.

— Смотри, безумный! — сказал он, поднося к глазам моим развернутую бумагу. — Знаешь ли ты эту руку?

Это была записка Лестока, потерянная Грюнштейном, — мы были открыты. Некоторые слова записки не оставляли никакого сомнения о существовании заговора; были даже имена, вполне написанные.

Что было делать? Оставалось или склонить Ганса на нашу сторону, или...

Я решился на первое; но напрасны были мои убеждения, мои просьбы. Он не понимал меня, он видел в деле моем одну измену, вероломство; с негодованием отвергал меня и снова падал к ногам моим, умоляя идти с ним к Левенвольду и признаться во всем. Мы оба остались непоколебимы.

---

* Графа Миниха, посланника польского двора, насчет которого рассказывали много клеветы. *(Примеч. автора.)*

Душенька! Ты не знаешь, что значит посвятить одной мысли целую жизнь, в ней сосредоточить все желания, все надежды, любить ее, лелеять, как свое перворожденное дитя, чувствовать в себе готовность жертвовать ей жизнию, всем, что дороже жизни, и вдруг, в минуту, когда почитаешь себя у цели, видеть, что неумолимый рок одним ударом готов разрушить все здание надежд наших! О! Это выше сил человеческих! Этого не может вынести рассудок... Ганса не стало!

Дурно ли я сделал, хорошо ли, богу судить! Не личная выгода подняла руку мою: этого требовала необходимость. Видишь ли, Душенька: отечество взывало мне: «Возьми первенца твоего, возлюбленного...» Я послушался голоса его, я принес в жертву моего Исаака, моего сына, моего брата...

И теперь образ его преследует меня; я вижу его днем, вижу ночью; печальный взор его говорит мне последние слова его: «Да простит тебе бог, Яков!» Он подле меня, когда я молюсь; он со мною, когда забываюсь коротким сном. И все с тем же взором, с тем кротким умоляющим голосом. О! Господь отпустит мне грех мой! Мать несчастного не может страдать более моего.

Одна молитва моя: «Да не будет напрасною жертва моя! С радостию сброшу я существование, которое было бы теперь долгим адским мучением; но если нужна для совершения великого дела еще большая жертва, да оставит мне небо жизнь! Я испью по капле все мучения совести, я переживу долгие годы, пересчитывая минуты страданиями, лишь бы знать мне, что дочь Петра бодрствует над моим отечеством!»

О, молись, молись за меня, чистая душа! Необходима была жертва, но душа моя изнемогает под бременем, превышающим силы мои!..

Он замолчал и закрыл лицо руками; горячие слезы текли по щекам его. Душенька не смела ни одним движением прервать его молчание; она стала на колени и молилась...

4

Граф Левенвольд жил на Петербургской стороне, там, где Невка вытекает из Большой Невы, недалеко от дома канцлера Головкина. Издалека видно было освещение в окнах его; еще на улице был слышен звук голосов, песен и музыки, раздающихся во внутренности дома. Граф давал

праздник друзьям своим. Прекрасная Л....а была там же, равно как и многие дамы лучшего круга. Туда Душенька направила шаги свои по выходе от Якова.

Что сделалось с душою твоею, бедная дочь несчастия? Ты бежишь, и земля горит под ногами твоими; ты не чувствуешь резкого морского ветра, ни холода, занимающего дыхание прохожего; кровь твоя кипит, голова в огне; куда спешишь ты? Смотри, как темнеет свод небес; на западе догорает заря, переливаясь из яркого багрянца в легкие бледно-желтые тени, умирающие в лазури. Вот уже загорелась вечерняя звезда: видишь, как мерцает бледный луч ее в волнах постепенно умирающего света! Смотри: вот уже и Медведица загорелась в вышине! О, как прекрасно одна после другой зажигаются вечные лампады неба! Ночь будет холодная, морозная! Но что за звездочка мелькает там, вправо, совсем на берегу реки? А! Понимаю! Это лампада перед образом Спасителя, неразлучным спутником Великого; она денно и нощно горит перед иконою в низменном домике, где гений, склонясь на простой дубовый стол, обдумывал судьбу своего исполина-дитяти или, смотря в небольшое окно на волны Невы, разбивающиеся с тихим ропотом на береге, может быть, созерцал в будущем величие державной реки. Здесь часто на берегу, может быть, на том самом месте, где сиживал некогда Великий и где уединенная скамья призывает теперь к отдохновению странника, пришедшего поклониться колыбели северной столицы, здесь часто сиживала Душенька с Яковом, слушая рассказы его при говоре волны, между тем как легкий туман серебристым облаком волновался вдали над водами; сюда спешит Душенька, пораженная внезапною мыслию: здесь, перед иконою, ознаменованною чудодейственною силою, она хочет искать утешения, совета, отрадного луча, который рассеял бы мрак души ее. Есть минуты, в которые человек чувствует недостаточность собственных средств и падает перед алтарями превечной благодати, от нее одной ожидая спасения и тишины, которых напрасно ожидал от собственного разума; и тишина нисходит в сердце его кротким лучом, и надежда водворяется там, где за минуту перед тем было одно безотрадное отчаянье. Молитва, укрепляя душу, возвращает ее спокойствие, а с ним вместе проясняется и умственный взор наш, и мы находим в себе новые силы, чтоб с большею твердостию идти навстречу судьбе.

Но что же так могущественно возмущает бедную девушку? Отчего трепещет она и, бледная, как безжизнен-

ный труп, повергается перед окном, из которого проливается трепетный луч лампады? Чего ждет она?

Сердце ее было святилищем, недоступным для любопытного; она прошла между людьми как тайна, которой существование даже было неизвестно им. Но сколько можно было судить по наружным признакам, причина страдания ее была тайна, вверенная ей Яковом. Но, конечно, не опасность правительницы встревожила Душеньку; сердце ее билось только трепетным предчувствием, когда он говорил о заговоре против нее; но оно замерло, когда он произнес имя Левенвольда.

Для сердца женщины что целый мир в сравнении с немногими буквами, составляющими одно имя, часто в сердцах других людей не пробуждающее никакого участия, имя, которое они произносят равнодушно и холодно, как все, что не касается, хотя стороною, до их выгод и личности? Что для нее истребление целых поколений, падение сильных, разрушение целого мира, если все это не касается того, кто носит это магическое имя? Она видит только один предмет; все другое не существует для нее; она до того усвоивает себе существование его, что живет более в нем, чем в себе, и охотно пожертвует другою частию этого двойственного бытия, частию, которая составляла прежде ее личность. Сон, прекрасный сон! Как редко проявляешься ты в свете!

Это имя или, лучше, этот предмет любви исключительной для Душеньки был Левенвольд. Так что же бы значили иначе и трепет ее, и мгновенная краска при встрече с ним, и бледность, покрывающая щеки ее, когда страстный взор его впивался в пламенные глаза Зенеиды, и печаль ее, и задумчивость, и бессонные ночи? Природа заговорила в душе ее, и голос сердца указал Левенвольда: он сделался господином, владыкою ее таинственного существования; на нем сосредоточились все желания, все надежды ее девственной души; он заключил в себе ее вселенную, ее мир; он и Яков. Но Яков был друг, брат, благодетель ее. Все святое соединялось в душе ее с именем его; оно пробуждало воспоминания детства, оно напоминало о религии, о мире, о добре: все это узнала она от Якова. И теперь ей должно было выбирать между двумя любимцами души ее: спасти одного и погубить другого, открыть тайну и погубить лучшие надежды одного, надежды, которым пожертвовал он жизнию и совестью, погубить его самого или молчать и видеть равнодушно другого, может быть, также на плахе! Ужасный выбор! О владычица! Тебе известна

земная жизнь! Ты любила и страдала как мать и женщина: пролей луч божественного разума в душу несчастной и дай ей твердость избрать.

И в эту минуту, когда горячий поток слез бедной девушки лился на холодный снег, вдруг тихо отворилась дверь домика; несколько человек, закутанных в черное, вышли молча и скрылись в темноте. Так страшно было появление их, что Душенька не смела приподнять головы, не смела пошевелиться. Вот вышли двое последние; дверь затворилась; они остановились в двух шагах от нее. Несколько мгновений молча смотрели они вслед за удаляющимися. Потом один, подняв торжественно руку, как бы благословляя, произнес тихо:

— Пошли! Да благословит господь!

— Что-то будет!— отвечал другой так же тихо.— Я не трус; видел турецкую саблю и шведскую пулю, а сердце не на месте.

— Бог помощь в святом деле, товарищ. Батюшка Никола помолится за нас; ведь завтра день его.

— Фунтовую поставлю у Владимирской образу угодника! Лишь бы удалось немцев долой, а матушку на трон!

— Тс, товарищ! И так много болтают. Молчать! Ступай с богом и, смотри же, не дремать!

Они разошлись.— Душенька привстала, оперлась на обе руки и приподняла голову. Все тихо, не слыхать уже и скрыпу снега под стопами удаляющихся.— О благодатная! Тебе угодна молитва бедной девушки! Ты нарочно привела ее сюда, чтоб подать ей средство спасти Левенвольда, не погубя Якова. Ей не нужно будет упоминать о нем. Она все слышала здесь; из этих немногих слов двух заговорщиков она узнала ясно о существовании тайного замысла. Так, в этом случае она видит тайный перст промысла: ему угодно было избрать ее, ничтожную былинку, для ниспровержения замыслов врагов герцогини и ее Левенвольда; через нее ему угодно спасти царственного младенца!

И она снова повергается на снег и снова плачет; но то слезы благодарности. Глаза ее горят святым энтузиазмом; она видит в себе орудие воли небес; голос сердца, может быть, принимает за голос неба и бежит свободна и доверчива, как легкий челн, окриленный парусом, и образ Якова не удерживает шагов ее.

Вечная игрушка страстей, человек! Для чего гордишься ты рассудком твоим? Каким густым туманом покрывают

они разум твой, как самоуправно ведут тебя на помочах, указывая одну светлую точку вдали и оставляя прочее все во мраке, как бы и не бывало ничего! Эта девушка, исполненная любовью и надеждою, добрая и преданная, ужели бы не остановилась она, если бы вздумала: Яков погибнет, если не сбудутся надежды его; но есть еще возможность спасти его, если он восторжествует; потому что в этом важном деле для нее был только вопрос о жизни и смерти двух любимых ее существ: обязанности гражданки, подданной, дочери отечества — дитя не понимало их. Да и для многих в переворотах царств вопрос личности бывает едва ли не главным! Как же могло быть иначе для нее, отчужденной от света своим недостатком, для нее, которой вся вселенная заключена в двух существах? Но нет; страсти помрачают рассудок ее; она не думает о Якове, и любовь заставляет ее принимать желание сердца за волю неба!

Между тем в доме Левенвольда все было одушевлено весельем. В то время собирались на пиры не так, как в наше. Часовая стрелка едва показывала час за полдень на огромных часах с курантами в большой зале Левенвольда, когда гости его сели за столы, уставленные сытыми блюдами, которыми чванилось тогда русское хлебосольство; кукушка прокуковала шесть часов, а веселый кубок все еще ходил около стола, и многочисленная прислуга, залитая в золото, еще суетилась, разнося шипучий мед, заморские вина и душистые наливки. Шампанское не пенилось в бокалах, но розовый сок спелой малины, напитанный крепким спиртом — данью Балтики и чужих земель, струился в кубках, разливая приятный запах; но янтарный мед пенился, кипел и выбивал из полного стакана, и уже веселье румянило щеки гостей, и в глазах сияло вдохновение русского Вакха. Громкий хор певчих покрывал торжественным: «Многая лета!», говор и смех пирующих, и гости, привставая, кланялись и высушали чаши до дна. Казалось, дружество и согласие соединяли цепями неразрывными пирующих, казалось, и тени вражды не заводилось в сердцах их, потому что и самый хмель, выводя наружу думы задушевные, говорил одно ласковое и приветливое — но это были придворные!..

Тут был Головкин, зять князя Ромодановского, верный древним обычаям, нерасположенный к иностранцам, но из угождения правительнице посещавший друзей ее; сестра его, прекрасная вдова графа Ягушинского, столь известного преданностию своею к Анне Иоанновне. Тут был

и Бестужев, брат знаменитого умом и превратностями судьбы канцлера Бестужева, тогда бывшего в немилости у двора. Граф только что возвратился из Стокгольма, где был посланником до самого начала войны, и глаза его уже успели отличить между петербургскими красавицами прекрасную Ягушинскую, которая также не без удовольствия, казалось, видела графа, после бывшего супругом ее. Тут был и молодой Миних с своею черноокою страстно любимою супругою и тестем, бароном Менгденом, тщеславным милостию правительницы к дочери его, прекрасной Юлии, невесте графа де Линара. Тут был подполковник Лилиенфельд и друг его молодой Лопухин, оба приверженцы герцогини, и Воронцов, задумчивый, но притворно разделяющий общее веселье. Тут были и Долгорукие, потомки князей Черниговских, еще не забывшие ни славы, ни кровавых опал своих близких, и Голицыны, славные родом и предками; все друзья и тайные враги двора, за одной чашею как кровные, часто с взаимною враждою и всегда с дружелюбною улыбкою. Левенвольд сам наполняет чаши почетных гостей, никого не обходит приветствием; для каждого находит ласковое слово; но взоры его ищут одной, прекрасной из прекраснейших, блестящей, горделивой Зенеиды Л......ой, которая кажется царицею праздника, может быть действительно данного только для нее, хотя и под другим предлогом.

Но вот застучали стулья; шумная толпа встает; хор смолкнул, и на мгновение важные бояре смиряются перед тем, кто выше всех, знаменуясь крестом с тихою молитвою. Тогда еще не совсем изгладился этот священный обычай христиан, не забываемый предками нашими ни в веселом похмелье, ни во дворце царей, ни в кругу семейном. Идут попарно в гостиную; там на огромном столе ожидает гостей вся утонченная роскошь русского лакомства, охотно налагающего дани и на Киев, и на благословенную Украйну, на степи заволжские и леса новгородские, где собирает янтарную морошку с чистых мхов, прозрачную костянику с топких болот, выписывает из Царицына арбуз и сочную дыню, из Казани душистый липец, которым в те времена не пренебрегала досужая хозяйка и охотно варила в нем владимирскую вишню, киевскую полянику и сибирские мелкие яблоки. Хозяин исчисляет достоинства своего десерта перед дамами, которые чинно усаживаются около стола; но как после обеда все веселее и свободнее, даже и этикет придворных, Зенеида не последовала общему примеру и остановилась с графинею Ягушинскою

у окна, зная, что Левенвольд заметит их и по долгу хозяина не замедлит подойти. В эту минуту в соседней комнате, где собралось несколько мужчин, явился человек в платье странного покроя; половина его была ярко-красная, другая желтая, на голове высокий, также половинчатый, колпак с погремушками, в руках палка, украшенная лентами и бубенчиками. Он клапялся на все стороны и кричал: «Посторонитесь! Посторонитесь! Посла веду». Гости обступили шута. Его все знали, и Филька пользовался милостью всего общества. Он остановился и насмешливо посмотрел вокруг себя.

— Эк вас сколько набралось! Подумаешь: душа в душу! А попробуй-ка кинуть кость...

— Ну полно, Фалалеюшка! Скажи лучше, что нового? Откуда, Фалалей Емельяныч? Что давно не видно?— слышалось со всех сторон.

— Будет вам нового! Вот как заберусь на колокольню да ударю в большой, так насупишься пуще его!— сказал он Менгдену, указывая на Воронцова, который стоял поодаль, совершенно погрузившись в самого себя. Воронцов опомнился, засмеялся и подошел к шуту.

— Прочь, прочь! Не твоя очередь пока! Пусти! К боярину посла веду.

И в самом деле, за ним шел мальчик лет пятнадцати, одетый очень просто, с длинными черными локонами; глаза его были опущены, и пламенная краска покрывала смуглые щеки. Он шел робко и, казалось, неохотно следовал за шутом.

— Вот тебе гость, Карлуша!— сказал шут, подводя к Левенвольду мальчика.— Он не говорлив; ну, зато не проболтается, а вам ведь это с руки подчас бывает. Бился, бился с ним, ни слова не добился. Попытайся-ка ты; вам, деловым людям, это известнее нашего; не умеешь сам справиться, поклонись Васильичу,— прибавил он, указывая на Наумова, который в это время правил должность губернатора.

Левенвольд устремил проницательный взор на мальчика, которого лицо вспыхнуло как зарево; безмолвный гость поднял на него свои блестящие черные глаза и приложил палец к губам.

— Гость мой хорош, как Ганимед, господа,— сказал граф,— и я охотно бы желал иметь его моим кравчим; но, кажется, надобно сперва попотчевать его самого, чтоб придать ему смелости. Молчание здесь не к месту, любез-

ный,— продолжал он, обращаясь к мальчику.— Мы все друзья и говорим свободно. Что тебе надобно?

— Хорошо поет пташечка, только развесь уши,— сказал шут, вслушиваясь в слова графа и подмигивая одним глазом,— да не наше дело!— Он загремел бубенчиками и вмешался в толпу.

— Опять молчишь?— продолжал Левенвольд.— Мы развяжем тебе язык. Эй! Венгерского!

Мальчик схватил руку Левенвольда и с умоляющим взором показывал, что не хочет пить.

— На голову! Лейте на голову, если не хочет пить; надо его проучить,— говорил молодой подполковник Лопухин, которого голова уже кружилась, хотя подобные пирушки ему были и не в диковинку.

— Оставьте его! Прошу вас,— произнес тихий приятный голос, и Зенеида вошла в комнату. Мальчик, казалось, отдохнул при виде ее.— Я беру под мое покровительство вашего гостя, граф. Вы угощаете его как мачеха: даете пить, когда он просит есть; потчуете хлебом, когда он хочет спать.

— Хорошее всегда вовремя,— заметил Лилиенфельд на своем полурусском наречии.

— Но иногда только время и дает ему цену,— прибавила Зенеида, с беспокойством смотря на мальчика.— Он хочет, чтоб вы вышли с ним, граф!

Молчаливый посланник наклонился и напечатлел горячий поцелуй на руке Зенеиды, потом, сделав знак Левенвольду следовать за собою, сложил руки на груди с умоляющим взором и бросился как молния из комнаты. Левенвольд пошел за ним, приказывая его остановить и шутя с гостями над таинственным посетителем.

— Это штука Фильки,— сказал граф, возвратясь через несколько минут.— Мы его проучим.

Но Фильки не было, и в целый вечер первый шут графа Левенвольда не показывался, предоставя второстепенным товарищам забавлять общество.

Граф казался по-прежнему веселым, но глаза любви зорки: Зенеида заметила легкое облачко задумчивости, помрачающее ясность души его.

— Ты не обманешь меня, Карл,— сказала Зенеида, когда, окончив, по-видимому, занимательный разговор с графом Головкиным, он вырвал у человека, разносившего венгерское, бутылку и бокал и подал графу, рассуждая как знаток о качестве вина, и потом, с ловкостию придворного, заметя порожнее место подле красавицы, подсел к

ней — вероятно, единственно по долгу хозяина. Шумная музыка мешала другим слышать разговор их.

— Что значит появление Душеньки? — сказала Зенеида.— Я узнала ее. Зачем этот маскарад?

— Просто шалость, более ничего.

— Нет, Карл, и ты стал задумчив, бога ради, скажи!

— Божусь! Ничего.

— Карл, скажи же мне!

— Но для чего отравлять беспокойством этот праздник?

— Я хочу, Карл! Скажи!

— Но ты знаешь, что я нехорошо понимаю язык ее...

— Бога ради, тише!

— Шумят, и музыка; нас не услышат.

— Говори же.

— Душенька, сколько я понял, была в домике Петра Великого и видела что-то странное; предупреждала меня о какой-то опасности: верно, слышала что-нибудь из этих слухов, которые рассеивают теперь по городу насчет... знаешь?

— Что ж это такое?

— Ты завтра расспросишь ее; ведь Зенеида моя понимает без слов,— прибавил он очень тихо и принял выражение совершенного равнодушия и светской вежливости, заметив какой-то нескромный взор, устремленный на него. Что делать? Такова необходимость, налагаемая обществом. Зенеида отвечала так же холодно:

— Только тебя, Левенвольд; но предчувствие томит душу мою. Мне страшно. Нам грозит беда!

— Не возмущай же веселья этого дня! Зенеида! Ты знаешь, как он дорог мне...

— Тише, бога ради тише! Послушай: может быть, это и вздор, но воображение имеет большое влияние на душу нашу: хочешь ли ты меня успокоить? У меня есть к тебе просьба.

— Приказывай.

— Возьми это кольцо; оно из Киева, от великомученицы Варвары. Гробовой сам надел мне его на руку, когда я была там, еще в детстве, с покойной матушкою. Оно сохранит тебя от несчастия, Левенвольд; а если суждено погибнуть, отдай его мне: оно будет залогом мщения. О, я отомщу или погибну с тобою,— прибавила она, играя опахалом и с притворной рассеянностью смотря на пестрые толпы гостей.

— Мщение, Зенеида! Женщина умеет мстить только

как змея, тихомолком вонзая жало в ногу прохожего. Это мщение недостойно тебя.

— Ты хочешь сказать, что для другого мы неспособны? Ты ошибаешься! О, мы умеем мстить! Ты не знаешь меня.

— Верю; но если б и не верил, так любил бы видеть этот огонь в прекрасных глазах твоих.

— Возьми же кольцо! Оно соединяет нас на жизнь и смерть,— прибавила она с таким видом, как бы говорила: «Поклонитесь вашему батюшке!» — и отошла от Левенвольда, оставя неприметное кольцо на окне, подле которого сидела.

5

Снежная скатерть подернулась голубым отблеском заката, но звезды ярко еще блистали в небе, и ни один огненный вестник царя природы не показывался на востоке, когда Душенька и старый Кондратий затворили за собою калитку, ведущую на улицу. Оставя Левенвольда, Душенька поспешила к старику, чтоб излить отрадный бальзам на раны сердца его. До сих пор Кондратий упорно отказывался видеться с сыном; он страдал, но не хотел оказать сожаление убийце. Негодование заставляло его отвергать сына, тогда как по сердцу он с радостью принял бы на себя и вину, и оковы его, чтоб только быть уверену, что Яков не преступник. Страдать в другом, страдать от нравственного унижения любезного нам существа, есть одна из величайших горестей, доставшихся добродетельному. Надобно быть отцом, чтоб понимать, что значат для сердца слова: «Мой сын преступник!» Для подобного несчастия нет утешения на языке человеческом, нет отрады на земле; в одних небесах есть ответы на слезы отца, есть надежда для растерзанного сердца его, часто непонятого людьми, которые упрекают его в жестокости, тогда как жестокость его есть последний оплот слабости отцовского сердца, раздираемого невозможностью простить. О, как испытал это честный Кондратий! Ни мать, ни соседи, ни друзья не смели произнести при нем имени Якова; он не ходил даже к Зенеиде, боясь, что она станет говорить о нем. Одна Душенька могла напоминать Кондратию о сыне, потому ли, что слова не охлаждали выражения чувств ее, или потому, что он знал, что сердце ее вполне понимает его, а только в таком случае доверенность легка и для несчастного. Старик уводил Душеньку на уединенный берег и там

плакал с нею, там молился подле нее, воздевал руки к небесам и там выспрашивал Немую о судьбе своего погибшего Якова. Душенька сделалась ему стократ милее с тех пор, как у него не стало сына; ее приход был единственною радостию жизни его; и в этот раз он поспешно отворил калитку, когда она постучалась под окном с сердцем, исполненным надежды, уверенная, что теперь может убедить Кондратия увидеться с сыном. Кажется ли что-нибудь сомнительным тому, чье сердце исполнено счастием, впервые посетившим его? Если б вы знали, что случилось с Душенькою!— На щеке ее горел поцелуй, данный ей Левенвольдом! Удивленный живостью движений ее, просьбами, поняв отчасти то, что хотела она сказать, он еще более был поражен встревоженным видом девушки и, чтоб успокоить ее, сказал, что понял ее совершенно, и поцеловал, как целуют дитя, не иначе.

Душенька успела в своем намерении. Надежда найти какое-нибудь оправдание для Якова, узнать, почему он так упорно молчит при допросах и не говорит ни слова в свое оправдание,— надежда, неясно извлеченная стариком из рассказов Душеньки, заставила его решиться на свидание с сыном. Они условились идти рано утром к Левенвольду и выпросить у него позволение видеть обвиненного. Душенька заснула сладким сном, и грезы сулили ей счастие, о котором она не смела мечтать наяву.

Но не таково было пробуждение бедной девушки! Блестящие призраки энтузиазма рассеялись; сущность представилась во всей наготе своей, и образ Якова, печального, всем пожертвовавшего надежде, которую она уничтожила, носился перед нею с горьким упреком. О бедствие человеческой жизни! Для чего лучшие чувствования наши так часто противоречат одно другому, поставляя нас в необходимость избирать? Для чего никогда нельзя предаться одному, не обращая взора сожаления к другому? Для чего обязанности наши так часто восстают против благороднейших влечений сердца? Как будто судьба, ревнуя о тени счастия, находит жестокую забаву обращать самые источники благополучия нашего в орудие казни! Мы страдаем в себе, страдаем в людях, любезных нам; чем более предметов, между которыми разделяется сердце, тем более страдания; самое добро исторгает наши слезы: одна религия озаряет кротким светом эту юдоль плача, и надежда, божественная дочь ее, пишет блестящими письменами на своде небес: *«Там!»*

Печально следовала Душенька за Кондратием; шаги ее

были робки, голова наклонена; в сердце Кондратия также боролись различные чувствования: он увидит сына, свою погибшую надежду, свою любовь; что узнает он? О, как желает сердце его найти причину простить!

Но что значит это движение на улице? Они идут берегом Фонтанки; миновали Итальянский дворец, церковь Симеона Столпника; вот и Летний с спящими фонтанами, широкою террасою, обыкновенное местопребывание цесаревны. В окнах мелькают огни, по двору проходит в молчании отряд солдат; из ворот выезжают несколько пустых саней, и всё молча, таинственно; люди суетятся, мелькают, как тени; что бы это значило? Душенька прижимается к Кондратию и спрашивает взором объяснения. Старик смотрит в недоумении; в этот час движенье, и во дворце цесаревны, всегда тихом и уединенном, странное дело! Они идут далее; перешли через царский луг, мимо Летнего саду, спустились на снежную равнину, под которой спит окованная река. Узкая дорога, перебитая ухабами и сенными раскатами, ведет на другую сторону. Вдоль берега мало-помалу зажигаются огни; сумрак еще покрывает равнину и дремлет под рекою; но уже луч зари отразился на золотом кресте Петропавловского собора, и восток рдеет. Путники уже против церкви Святыя Троицы, где впервые приносилась бескровная жертва в рождающемся Петербурге. Кондратий снял шапку и набожно перекрестился. На этом крыльце он в последний раз видел обожаемого монарха, еще полного жизни и здоровья, и после того еще раз увидал незабвенные черты его под величественными сводами воздвигнутого им собора, тогда как Россия проливала слезы у хладного гроба его... Кондратий остановился; эти воспоминания стеснили грудь его; он облокотился на костыль и долго смотрел на шпиц собора. Вдруг вдали показался конвой солдат; большая часть из них была верхами; они окружили сани и быстро пронеслись мимо, скрывшись снова в сумраке редеющей ночи. Душенька затрепетала; расстроенное воображение ее видело в молчаливом поезде колесницу смерти, таинственно увлекающую жертв своих с земного шара. Но чей образ представился ей там, посреди этих мрачных, грозно вооруженных спутников? Нет, нет! Это не он! Это пустой обман ее воображения. Держа крепко за руку Кондратия, она смотрела вдаль... Удар колокола раздался в тишине...

— Э! Старый товарищ!— сказал дряхлый инвалид, с торопливостью ковыляя на деревяшке по снежной дороге, и остановился перед Кондратием, опершись на клюку.—

Что ты тут стоишь с девчонкой-то? Разве не знаешь нашей радости? Мы вместе с тобой, бывало, бивали шведа, при батюшке-то; пойдем-ка теперь вместе в собор!

— В собор? Да зачем?

— Разве не знаешь? Там народ присягает. Ведь матушка воцарилась!

С пронзительным криком Душенька упала на холодный снег.

Не стану повторять подробностей восшествия Елисаветы; вы знаете, как страшно пробудилась доверчивая Анна, заснувшая посреди золотых снов своего честолюбия, и почти накануне дня, в который должна была украсить голову императорской короною, увидела себя под стражею с младенцем, которого первою игрушкою был скипетр, с супругом, с блестящею любимицею своею, увлекая в бедствие все, что любило ее и было ей предано; как в ту же ночь лишены свободы Головкин, Остерман, Миних и сын его, камергер юного императора, Левенвольд и друзья их. Как были судимы и чем кончился суд, это не касается главных героев моих. Я последую за моим историком и в коротких словах докончу историю Немой и прекрасной госпожи ее.

В одно утро, это было в тот день, когда должен был совершиться кровавый приговор, осуждавший на страшную смерть обвиненных, Зенеида стояла на коленях в спальной перед большим образом Спасителя в кованой ризе, усеянной каменьями и жемчугами; руки ее были судорожно сложены на груди; глаза выражали немое отчаяние; она не молилась и без слез устремляла неподвижный взор к киоту, где напрасно сиял кротостию лик божественного искупителя, умершего за нас; утешения веры невнятны сердцу, обуреваемому страстями. В комнате было темно; запавес окна опущен, и лампада изливала слабое сияние на бледное, искаженное отчаяньем лицо, в котором трудно было бы узнать прелестную, гордую любовницу Левенвольда; багровые пятна заступили место свежего румянца, бледные губы сжаты, она неподвижно ждет роковой вести. Отдано приказание никого не впускать в комнату, кроме Душеньки, которая ушла еще рано утром: осужденным было позволено видеться перед казнию с знакомыми.

Она там, в комнате Левенвольда, бледного, но с лицом покойным и все прекрасным. Перед ним его мундир, со всеми знаками отличия: он должен его надеть в последний раз... Он молчалив, как человек, приближающийся к минуте торжественной, но на лице его не видно малодушного

уныния. Кажется, он не сожалеет более о жизни с тех пор, как узнал, что должен расстаться с нею; делает различные распоряжения, говорит покойно, много и ни на минуту не предается самому себе, может быть, для того, чтоб не думать о той, воспоминание которой сделало бы для него тяжелою разлуку с жизнию. Несчастие сильно только нашею слабостию и призраками, которыми воображение окружает его, он знает это и отдаляет все, что может поколебать его твердость. Он идет навстречу необходимости, склоняя голову, но не от робости: он должен уступить превосходной силе. Ни малейшее движение малодушия доселе не изменило благородству души его, и если в сердце его еще гнездится сожаление, он подавляет его могучею рукою, и лицо его покойно, как бы он собирался в недальний путь. Но он постоянно избегает взоров Душеньки; для нее одной нет у него ни улыбки, ни приветливого слова, и бедная девушка, удрученная страданием, стоит неподвижно, следуя взорами за всеми движениями любезного для нее существа; хочет насмотреться на него, напечатлеть образ его в душе своей так, чтоб он жил в ней и тогда, когда... страшная мысль! Его не будет? Но что же сделается с миром, с людьми, с жизнию? Разве все это может быть без него? Нет! Душенька еще не останавливалась на этой мысли; она страдала, она знала, что должно случиться; но возможность подобного несчастия была невероятна ей. Она знала, что страшное бедствие постигло сердце ее, она страдает настоящею минутою; но что будет с нею, об этом она еще не думает. Так мать, держа на руках охладевающий труп своего сына, еще не верит страшной истине... Но вот отворяется дверь: сторож и несколько солдат... А! Это понятно! Час пробил; первый луч последнего для Левенвольда солнца проник в его темницу. Легкая краска показалась на щеках его; но волнение было непродолжительно; может быть, это было последнею данью жизни. Он подошел к скамье, на которой много провел горестных часов, и устремил взоры к окну, откуда проливался луч света; и кроткая молитва укрепила душу его для последнего прощанья с жизнию. Глухое стенание заставило его обратить голову: то были люди его, пришедшие в последний раз видеть любимого господина. Впереди всех стоял Филька, и крупные слезы текли по лицу шута. Вид его еще возбудил улыбку на устах Левенвольда, он обнял его одною рукою и пошел далее... К ногам его упала Душенька!.. О! Вид ее возбудил много горестного в душе графа, она явилась ему как воспоминание всего, что украшало для него жизнь; сердце

его сжалось, и кровь закипела негодованием против тех, которых могущественная рука отнимала у него молодую, прекрасную жизнь, полную надежд и счастия! Он схватился за кольцо Зенеиды и слово: мщение, произнесенное ею в день последнего свидания, раздалось в душе его. Он поднял взоры к небесам, и ясный луч солнца напомнил ему, что оно в последние услаждает взор его... Кольцо осталось на руке графа... Может быть, ангел записал на небесах это движение гордого сердца, смиренного святым учением веры! Он поднял несчастную девушку и тихо поцеловал ее. Неожиданная тишина наполнила сердце его: молитва примирила его с небом, прощение с землею. Он пошел...

С пронзительным криком бросилась Душенька вслед за ним; толпы народа не остановили ее: она пробралась вперед, туда, где могла еще раз видеть его... Народ расступался перед нею: ее дикое отчаянье, сверкающие глаза и беспорядок одежды наводили невольный ужас. Молчание царствовало около лобного места: народ безмолвно ожидал развязки страшной драмы. Страшный конвой приблизился к эшафоту, на котором приготовлены плахи и топоры. Носилки Остермана остановились. Удрученный летами, болезнями, украшенный длинною седою бородою и, еще более, воспоминаниями многих заслуг, он покойно выслушал смертный приговор, ни малейшее движение в лице не изменило мужеству его, покойно и торжественно он положил голову на плаху. «Прощение, прощение»,— закричал курьер, прискакавший во весь опор; рука палача остановилась.

И тебе подарена жизнь, Левенвольд! Ты еще будешь наслаждаться солнцем и сиянием утра; в Сибири оно так же прекрасно пробуждается, как и на берегах Невы...

Но ах! На пороге вечности, готовый обнять небесное, Левенвольд был покорен голосу религии, и страсти молчали в нем; с новым возвращением к жизни они заговорили в сердце его, и в ту минуту, когда шпага переломилась над головою его, когда рука палача... он тихо снял кольцо, и глаза его искали знакомый образ...

Простые кибитки ждут изгнанников; они перенесут в тесную сибирскую юрту изнеженных детей роскоши, которым казались тесны великолепные палаты столицы. Она тут, бледная, черноокая Душенька; она стоит возле кибитки; волосы ее в беспорядке; она держит руку Левенвольда, не спускает с него глаз,— лошади дернули с места; еще раз мелькнуло прекрасное лицо любовника Зенеиды, взор его послал последнее «прости!» бедной девушке, и

все скрылось вдали... но кольцо Зенеиды осталось в руке Душеньки с заветом мщения.

С каким восторгом, с какою дикою радостию прижала его к сердцу Зенеида, когда Душенька, бледная, как пришлец из другого мира, явилась перед нею! Не вставая с места, она простерла руку к образу: «Клянусь святым ликом твоим,— сказала она вне себя,— клянусь моим спасением, детьми! Я отмщу за тебя, Карл! Я извлеку тебя из льдяных пустынь Сибири, и враги твои испьют чашу, которую приготовили для тебя! Женщина докажет им, что может она, когда любовь и мщение одушевляют ее! А ты, бедная подруга моя в радости и горе,— продолжала она, обнимая Душеньку,— ты разделишь также и торжество мое! Мщение, мщение!»

Глаза ее горели диким огнем; яркий румянец покрывал щеки; следы страдания исчезли на лице; новая жизнь текла в жилах ее. Величественная и прекрасная в гневе, она казалась древнею жрицею Друидов, провозвещающею грозные веления богов, Дебарою, проповедывающею Израилю свободу и мщение в горах Ефраима, под пальмою между Рамы и Бетеля.

Душенька задумчиво опустила глаза. Тихий вздох вырвался из стесненной груди ее; едва приметное движение головы выразило сомнение. Она была вполне женщина, существо любящее и преданное; порывы мщения не были знакомы ей; она устремила взоры, блистающие кроткою надеждою, к образу Спасителя и в эту минуту, может быть, приняла намерение, доселе темно представлявшееся душе ее. Став на колени, она принесла тихую молитву; но это была молитва любви и прощения.

Как исполнила гордая красавица клятву свою, какими страданиями искупила заблуждение слишком любящего сердца, она и прекрасная подруга ее несчастия, бывшая графиня Ягушинская, которая в одно время с нею оплакивала потерю нежно любимого брата, это уже не касается истории нашей и повело бы нас слишком далеко; может быть, когда-нибудь на досуге я вам расскажу, что знаю о судьбе ее. На возвратном пути моем от тетушки, проезжая Порховом, я заезжал в К.... Б.... селение, где похоронена она, и в церкви Николая Чудотворца поклонился праху ее, положенному в семейном склепе под церковью, между гробами предков.

Старая попадья из соседственного селения рассказывала мне, что многие старожилы помнили еще, как высокая, одетая всегда в черное барыня, повязанная платочком,

молилась позади правого клироса, много плакала, приветливо кланялась народу, делила нищих, но никогда и ни с кем не говорила ни слова.

С этих пор в рукописи не упоминается более о Душеньке, она скрылась неизвестно куда на другой день после описанной сцены, и никто никогда не мог узнать, что случилось с нею. Раз только старый Кондратий, идучи от обедни из Троицкой церкви, которую особенно любил, встретил инвалида, того самого, который известил его о восшествии на престол императрицы Елисаветы. Старики разговорились. Кондратий рассказывал свое горе.

— Господь посетил меня,— сказал он,— Яков осужден на церковное покаяние на три года в Никандровской пустыни. За него ходатайствовал, дай ему бог здравие и многие лета .... Лестоков; он представил матушке государыне, что убийство было неумышленное, видит бог неумышленное, Созонтыч! Я детям не потатчик, а правду что не сказать? Да и Душенька-то меня сокрушает; на память ли тебе девчоночка-то, что у меня жила. Немая!

— Помню, товарищ, помню! Черноглазенькая. Да куда же она девалась?

— Как в воду канула! Пропала.

— Давно ль? Я ее ведь недавно, вот недели три, как встретил за Московской заставой; ходил в слободу, вот тут, к куму. Увидела меня да и подошла; поклонись-де батюшке и матушке...

— Э! Товарищ! Да ведь она немая!

— И впрямь!— сказал изумленный инвалид.— Так, видно, не она. А кажись, она назвала тебя по имени.

Старики посмеялись и разошлись. Яков действительно был послан на три года в Никандровскую обитель; дело его было подведено под милостивый манифест, но из рукописи видно, что он более не возвращался в мир и по истечении трех лет удалился в лесистые верховья Шелони и поселился в маленькой пустынке с двумя отшельниками на берегу речки Северы, разорвав все связи с миром, и только раз в год, в день преподобного Никандра, приходил поклониться мощам его, почивающим в соборе. Кондратий умер через год после удаления сына и похоронен на Волковом поле рядом с своею верною Бавкидою, предупредившею его двумя месяцами.

Лет через пятнадцать после того, как Яков заключился в пустынке в Качерицком лесу, сентября в день преподобного Никандра после обедни келейник игумена остановил

отшельника в то время, как тот, испив воды из колодца у самой кельи преподобного, хотел уже идти по тропинке, ведущей в лес. Келейник позвал его к игумену; там вручил ему небольшую посылочку на его имя. Удивленный отшельник не смел распечатать: какая связь еще была между им и миром! Наконец трепетною рукою сорвал обертку: на дне небольшого ящичка лежали золотой крест, бирюзовое кольцо и письмо. Он узнал их! Сердце его забилось, и слезы земной любви полились по щекам его. Это был крест Душеньки, с которым она была найдена на кладбище, и бирюзовое кольцо, данное ей Левенвольдом в первое свидание. Яков прижал крест к устам своим, и вся прежняя жизнь снова представилась глазам его. Как будто частый занавес, поднявшись, открыл прелестную картину, давно забытую, со всем, что некогда радовало в ней сердце, и образ Душеньки, то резвой, то задумчивой, с ее пламенным взором, милою улыбкою, мелькнул вдали, как призрак давно утраченного счастия. Долго он не хотел читать письма; душа его наслаждалась радостию, давно уже незнакомою ей. Он пал на колени с молитвою благодарности и не прежде, как когда успокоилось сердце его, взял письмо; числа показывали, что оно было отправлено за год перед тем из Иркутска.

«Любезный о Христе брате!

Аз многогрешный, иерей церкви Успения божия матери, посылаю при сем к вам сие писание, крест и кольцо по воле усопшей в бозе духовной дочери нашей Евдокии, преставившейся сего иулия в осьмый день лета от рождества Христова в 1757, в день явления чудотворной иконы Казанския пресвятыя богородицы нашей; богу изволившу призвать покойную сестру вашу, пожелала она исповедаться и приобщиться святых таин; чего и сподобилася чрез меня грешного, господу вспомоществующу. И просила доставить вам по кончине ея святый крест и кольцо и просить вас, дабы вы не оставили ее в молитвах ваших и простили в глубине сердца, аки христианин, что она оставила тайно дом ваш и не открыла вам чудо, которое угодно было господу оказать над нею; бе бо нема и не отверзаяй уст от младости, и ее, богу изволившу, получила употребление языка, как сказывала она, в то самое время, когда услышала на лобном месте прощение, даровавшее жизнь, по милости великой государыни нашей, чужестранцу, у коего проживала здесь во услужении по самую кончину его, примерным поведением и смирением угождая

богу. Писано сего лета 1759 месяца сентембрия в дванадесятый день, смиренный богомолец иерей

Иоанн».

С тех пор, кажется, живо пробудилось воспоминание в душе Якова; он написал повесть жизни своей; но, видя, что подобное занятие напоминает слишком живо прежние чувствования, открылся игумену, и строгий старец положил на него покаяние, говоря, как сказывает Яков, что враг рода человеческого искушает его гордостию. «Инокам подобает писать деяния царей, бытописания земли или подвиги святых угодников,— продолжал старец,— и иноки исполняли то во славу божию и назидание людей, никогда же упоминающе о себе; ты же пишешь не о царях и не жития святых, но паче о себе, прославляюще деяния своя и превозносяще грех; то бо есть наваждение диавола». И покорный инок сделал своими руками киот, положил в него последние остатки всего, что любил на земле: крест, кольцо, цепь царевны и рукопись свою, присоединя к ней письмо священника, известившее его о смерти Душеньки, и отнеся в церковь, где впервые осенила его благодать в таинстве святого крещения. Не знаю, не упрекал ли себя после набожный отшельник, что рука его сохранила рукопись и не предала огню; с тех пор он не являлся более в селе и никто ничего не знал о нем. Монашеское имя его было написано в рукописи и после вычеркнуто, как и несколько строк, в которых он, кажется, говорил о монашеской жизни своей.

— Что ж потом?— спросил Горский.

— Потом хозяйка принесла форели, или лососки, как называла она, и мы их ели, вспоминая отшельника.

— Может быть, бедная Душенька в Сибирском крае была счастливее, чем в палатах своей боярыни,— заметила Наталья Дмитриевна со вздохом и подняв к небу довольно сентиментально для ее лет свои ясные голубые глаза.

— Ах, тетенька! Как можно это думать! Может ли быть, чтоб Левенвольд забыл...

— Извольте посмотреть, как дети стали некстати понятливы!— прервала вспыльчиво старушка, откинув назад ленты своего чепчика.— Я совсем не думала об Левенвольде, Любовь Ивановна; я хотела сказать совсем другое. Нет, беда с повестями! Эти девочки наслушаются их, да и начнут мечтать о вечной любви. Нет, Любовь Ивановна, это последняя повесть; больше не услышите! Читайте советы моей дочери и «Journal Pittoresque». Беда с вами!

Любинька не очень испугалась подобного приказания; она слышала его каждый раз, когда неосторожно проговаривалась: она улыбнулась и закусила губу.

— Стало быть, Любовь Ивановна не будет сидеть с нами по вечерам? — спросил доктор после минутного молчания.

— Почему же это?

— Да потому, что мы, верно, не перестанем читать романы и повести.

— Да что же делать? Посудите сами, любезный мой Карл Иванович, эти дети сокрушают меня!

Наталья Дмитриевна рассердилась более потому, что проговорилась сама, чем на понятливость Любиньки, и потому минутный гнев ее начинал проходить; она уже улыбалась и поправляла ленточки, что было знаком, что непогода утихает. Она посмотрела на Любиньку совсем уже другими глазами.

Любинька оставила пяльцы; с минуту смотрела на старушку и бросилась ей на шею.

— Тише, тише, Любинька! Ты сомнешь воротничок!

В самом деле, головка Любиньки грозила пышным уборкам сребровидного воротничка Натальи Дмитриевны; смотря на эти два личика, одно так близко возле другого, столь различные и оба привлекательные, одно прелестью молодости, другое выражением небесной доброты, мне казалось, что вижу пышную магнолию, вплетенную искусною рукою садовника между бледных цветов белой лилии. Я любовалась моею старушкою почти столько же, как ее милой племянницей с ее китайскими глазками.

— Послушайте же, Наталья Дмитриевна,— сказал Горский,— пока мы не сыскали лучшего средства уладить повести наши и присутствие Любовь Ивановны, я предложу вам рассказ, который уничтожит все блестящие призраки, украшающие любовь в воображении этих мечтательных головок. Угодно ли вам это?

— Хорошо, любезный Горский; но полно, возможно ли это? Я ведь помню вашу Марию.

— Ах, моя бедная Мария! Нет, тут не будет ни аневризма, ни доктора.

— Увидим. Ну, это будет последней повестью, Любинька.

— А артиллерист-то наш должен еще рассказать,— сказал доктор.

— Да! Но ведь это из его воспоминаний; а его воспоминания ограничиваются школою и маневрами; не так ли,

мой любезный Вельский? Ну, школа еще не страшна Любиньке.

— Увидим, увидим, Наталья Дмитриевна.

— Вы все меня пугаете, мой любезный доктор. Но я знаю моего Жуаника; он только лицом похож на байроновского; ведь я, как молодые девушки, читая повести, придаю видимые формы моим героям; вы это знаете.

— Так и нам есть надежда судить нашею наружностию какого-нибудь Саладина, Амурат-Бека и тому подобное?

— Нет, нет! Я люблю только в Иорках находить черты друзей моих! Доброй ночи, Горский,— прибавила она, видя, что он взял шляпу.— Смотрите же, чтоб повесть ваша была очень холодна и очень поучительна!

В шесть часов я, по обыкновению, приехала к Наталье Дмитриевне. Старушка была нездорова и еще не выходила из своей спальной, где отдыхала после обеда. Любиньки также не было в гостиной, и я пошла в сад. С четверть часа бродила я по дорожкам, любуясь игрою солнечных лучей между густою зеленью деревьев и впивая запах цветов, как наконец в беседке из акаций, переплетенных душистым горошком, мелькнуло платье Любиньки; я вошла. Она сидела, опустя глаза в землю, и вертела в руке букет из резеды; щеки ее пылали, и мне показалось, что она плакала. С нею был Проповский и казался также растроганным. Любинька несколько смешалась, увидя нас, но Проповский, взяв ее за руку, подвел ко мне. «Не бойтесь быть откровенною, Любовь Ивановна,— сказал он,— это друг ваш, она лучше моего уверит вас, что надежда на милость божию никогда не должна оставлять нас. Не таитесь от нее».

Любинька бросилась ко мне на шею, и слезы полились из глаз ее. Ах, как легко и свободно плачет молодость! Жаль слез ее столько же, как и улыбки.

Послышался шум шагов и голоса. Любинька в страхе бросилась из беседки, сказав мне только: «Приезжайте завтра утром, я буду одна».

Я оглянулась; это были моя старушка с Горским и доктором. Мы сели на скамью и, как время было чудесное, велели принести стол и чайный прибор. Старушка наша развеселилась. Она многое сохранила от молодости в характере своем: все новое, выходящее из обыкновенного порядка жизни, забавляло ее; пить чай в саду, под деревьями, что редко позволялось ей, было для нее удовольствием неопи-

санным. К тому же душа ее глубоко чувствовала красоты природы; она перешла много горестей в жизни; была обманута, жила с людьми, не с ангелами; но сердце ее осталось неприкосновенным, сохранило всю живость впечатлений и вышло из страданий и соприкосновения света, как голубка, которая, взвиваясь к небесам, стряхивает земную пыль и блещет в лазури белым крылом, описывая весело круги в поднебесье. Сердечная доброта научается из уроков опыта снисходительно смотреть на слабость и несовершенство природы человеческой, а не отыскивать причины ненавидеть и презирать ее. Наталья Дмитриевна любила, прощала, забавлялась всем, как дитя, ворчала иногда на свою Любиньку, как дитя, и за чайным столиком, в кругу друзей под сводом акаций, была весела и счастлива, как дитя.

Пришла и Любинька; не видно было и следов прежнего волнения: слезы молодости — утренняя роса, весенний дождь, а не осеннее ненастье, как слезы стариков; эти не переходчивы. За Любинькой явились еще некоторые из обыкновенных посетителей, после всех Вельский. Иван Карлович напомнил Горскому его обещание. Он начал.

ПРОВИНЦИАЛКА

Глава I

On voit pourtant qu'elle a passé une plus grande partie de sa vie en province.

*Leclerq**

— Comtesse de C***, madame de N***, Chambellan de la cour de S. M. I., K***, Princesse de Pr***, **,— говорил пожилой мужчина, сидя в готических креслах и разбирая визитные карточки в корзинке щегольской работы. Надобно заметить, что это было не в Париже, как, может быть, подумают некоторые; известно, что русские буквы редко еще появляются на визитных карточках и в письменных сношениях особ высшего круга. Они представлены людям низшего класса и некоторым чудакам, которые думают, что имена, вписанные славою в летописи русские, могут быть так же хорошо написаны русскими буквами и на карточке. Долго еще бродить им, как изгнанницам, око-

---

* Случилось так, что большую часть жизни она провела в провинции. *Леклерк (фр.)*

** Графиня де К***, мадам де Н***, Камергер С. М. И., К***, Княгиня де Пр*** *(фр.)*.

ло родимого рубежа, с завистью смотря на владычество чужеземок!

Но пожилой мужчина, разбиравший карточки, конечно, не поверил бы, если б кто-нибудь сказал ему, что придет же время, когда этот обычай, как и многие другие, изменится на Руси. Это был человек лет под шестьдесят; вырос, возмужал и состарелся при дворе; держал голову высоко и смотрел на всех, не поднимая глаз, как человек, привыкший видеть ниже себя все, что ни окружало его. Не знаю, что дало ему подобную привычку, достоинства ли, знатность ли рода или богатство; последнее имеет так же своих поклонников, как и первое, если еще не более; чтобы уважать первое, надобно по крайней мере уметь понимать его; чтоб поклоняться последнему, надобно не иметь ни того, ни другого, что гораздо легче. Но что нам до того! Не станем изыскивать, на чем основывалось уважение, которым пользовался князь Марильков (имя мужчины); от подобных изысканий потеряло бы многое и многие. Наружность его показывала, что он умел сохранить от скоротечной молодости остатки красоты, некогда гремевшей в свете, и привязанность к нежному полу,— может быть, из признательности,— как мы любим уголок земли, где были счастливы, луг, где рвали первые цветы.

— А это что? — продолжал князь, перебирая карточки.— Записка? Боюсь быть нескромным.

— Читайте, дядюшка,— отвечало очаровательное создание, прекрасное, как изваяние древних, или любимая женщина, la bien-aimée, la bélicieuse* Катенька, как называл ее князь Марильков, словом, вдова генерала Ильменева. Небрежно раскинувшись на атласных подушках, она покоилась в эту минуту на диване, возле которого сидел князь.— Это записка от графини В***,— продолжала она,— меня зовут на вечер, где будут только друзья. Мы в дружбе с графинею.

— А, мы опять за старое! Эта маленькая гримаса, которая, впрочем, совсем тебя не портит, предвещает мне сцену из «Мизантропа». Послушаем.

— Совсем нет, дядюшка. Я чрезвычайно хорошо расположена сегодня и готова отдавать справедливость всему сиятельному миру; но дружба — это такое слово, которое всегда заставляет меня смеяться.

— Конечно, в провинции дружба выше, чище, совершеннее?

---

* возлюбленная, очаровательная *(фр.)*.

— Свет везде одинаков, дядюшка; провинциальный мир к вашему высшему кругу относится точно так же, как первый грубый оттиск гравировальной доски к наилучшему: те же предметы, отделка только грубее.

— Итак...

— Итак, светская дружба кажется мне игрою, где доверчивость и самоотвержение платят терпением и ушами, над которыми самолюбие вымещает за принуждение, налагаемое на него обществом. Друг нужен для того, чтоб говорить ему непрестанно о нашем *я*, которое мы прячем в гостиных под наружным смирением. Поверьте, дядюшка, кто понимает хорошо, на чем основана светская дружба, и вместе с тем столько благороден и горд, что не захочет ни быть жертвою себялюбия других, ни пользоваться преимуществом своего превосходства над другими, тот не будет иметь друзей: он заключит жизнь в собственном сердце, окажет все услуги, все добро, от него зависящее; но не откроет святилища сердца своего.

— И все это оттого, что графиня В***...

— О, я нимало не сержусь на нее! Тетушка Анна Андреевна, по известной страсти своей знакомить, представила меня графине у себя в доме, в Москве. Меня никто не знал; тогда я только что вышла замуж; меня не видно было ни в одном знатном доме; и графиня поступала очень хорошо, не узнавая меня, когда мы встречались с нею в Собрании или в домах общих знакомых. Впрочем, она кланялась со мною: чего же больше? О чем было ей говорить со мною, зачем было приглашать к себе? Надо принимать тех, кто бывает везде: меня никто не видал; нигде, следственно, я или не хотела, или не могла бывать. Вы видите, что она была совершенно права. Она не узнала меня и здесь, по приезде моем, когда по случаю мне пришлось сидеть рядом с нею в Михайловском театре: это очень натурально; светским людям нужно напоминать; память их слаба или слишком обременена. Теперь она со мною как нельзя лучше: это опять так должно быть; вы знаете, что залы во дворце очень звучны. Имя мое было там произнесено: что ж мудреного, если она там лучше вслушалась в него, когда еще увидела меня под покровительством сиятельного дядюшки; может быть, это совсем уже пробудило ее память; и мы теперь друзья.

— О привинциалки, провинциалки! Вы па все смотрите каким-то странным образом, всем оскорбляетесь, вечно с предубеждениями против высшего класса! И тебе ли не уметь победить этих странных предрассудков?

— Ах, дядюшка, скучно жить в этой пустыне! Мой инстинкт провинциалки ищет чувства, мысли; настоящая жизнь улетает для меня. Мне нечего бросить за собою, чтоб отыскать мой беглый след. Прошедшая моя жизнь вся — чувство и мечты: это незаметные для других признаки, которые путник оставляет в пустыне в память веселого или скучного ночлега. Этим объясняется любовь наша к местам, где мы жили, и к вещам неодушевленным: они носят следы нашей протекшей жизни, в них живет она для нас. Но здесь где сердце найдет пищу?

— Бедный свет!.. Ах да! Ты сегодня, кажется, должна быть феей на маскараде? Я боюсь, чтоб магический жезл твой не превратил всех нас в истуканов.

— Нет, в мотыльков, которые живут только настоящею минутою. Признайтесь, дядюшка, в свете одни честолюбивые живут в будущем, а прочие единственно в настоящем: прошедшее же для всех есть только старый календарь, где от безделья иногда считают старые трофеи, не правда ли?

— Я любил женщин в припадке мизантропии, они тогда удивительно очаровательны, но это, как теперь, в их кабинете...

— О, вечером я исправлюсь! Не сердитесь же, милый, добрый дядюшка; не хмурьтесь; к вам это нейдет. Послушайте: мы поедем за моим покрывалом к Юнкеру? Он обещал, что шитье будет кончено. Это будет хорошо, не правда ли? Вы уверены, что не ошиблись и костюм будет точно такой, как прекрасной Т.......й на придворном маскараде? О, вы не ошибетесь! Это воспоминание вам дорого, не правда ли?

Поневоле разгладится самый наморщенный лоб, когда прекрасная женщина, по праву родства, кладет вам руки на плечи, смотрит вам в глаза так нежно, так магнетически и так близко, что вы чувствуете ее дыхание. Беда, беда такое родство!

Бога ради не подумайте чего-нибудь предосудительного для князя и моей Кати. Я так боюсь, чтоб не подать словами моими повода к неприятным заключениям. Ах, если б вы знали сердце моей провинциалки, я не имел бы нужды просить вас об этом! Я сказал бы вам, что думала она, когда, по уходе князя, она снова бросилась на свое канапе. Но тогда вы, может быть, не захотели б дослушать моей повести. Я скажу вам только, что Катя имела важные планы для этого вечера; планы, для приведения в действие которых она употребила пять лет своей жизни.

Не верите подобному постоянству?

Бывает, бывает! Ах, мало ли что бывает!.. Я не стану вам рассказывать, как и зачем она приехала в Петербург: вы это все узнаете после. Скажу вам одно, что она была принята в обществе очень хорошо: причины этому очевидны.

Глава II

Le grand monde est un bal masqué.
*Marmontel**

И несмотря на это, люди большого света, как добрые простолюдины, любят, иногда раз, два раза в год, на святки например, собравшись под вечер в каком-нибудь знакомом доме, преобразиться в мамелюков, американцев, менестрелей, испанских грандов и прочая, и под защитой черной атласной маски, пользуясь священным инкогнито ее, сбросить на минуту, которая душит их в гостиных в течение целой жизни, и, предавшись влечению характеров, хотя на несколько часов быть сами собою, удовольствие столько редкое для них, что они предаются ему с упоением; переезжают из дома в дом, входят всюду, где освещены окна, остаются, где встречают ласковый прием; танцуют, где найдут музыку, и говорят иногда знакомым истины, которые без маски повторяются только шепотом за глаза.

Подобное общество остановилось вечером того дня, в который мы познакомились с князем и его племянницею, у подъезда великолепно освещенного дома. Карточка, прекрасно литографированная, извещающая о приезде общества масок, отдана швейцару и полетела вверх по лестнице, переходя из рук в руки расставленных по обе стороны между померанцевыми деревьями ливрейных лакеев. Получено приглашение, и пестрая толпа в костюмах всех веков и климатов вошла в залу, где было уже несколько масок, приехавших прежде. Танцы прервались; все окружило новоприбывших, которые без масок, может быть, не привлекли бы и сотой доли подобного внимания, что случается и в свете нередко; по всей зале только и слышно: «Je te connais, beau masque»**,— дело, также виданное в свете, где все думают знать друг друга и все обманываются. Пышные красавицы в нарядах, только что принесенных из

* Мир — это маскарад. *Мармонтель (фр.).*
** Я тебя знаю, прекрасная маска *(фр.).*

магазинов m-me Turin и Hugon*, мундиры, фраки смешались с робронтами, фижмами и французскими кафтанами 18-го столетия, с польскими жупанами и русскими ферязями. Любопытство, подстрекаемое таинственностью, а иногда и ответами масок, взяло на минуту верх над всеми страстями, разгуливавшими до того свободно по зале; но как всему есть конец, то и оно успокоилось. Начались снова танцы; мамелюки, сестры милосердия, важные мандарины и андалузские крестьянки закружились дружно в резвом вальсе, не привлекая на себя особенного внимания; их угадали или привыкли к ним, что равно охлаждает воображение, особенно у нас на севере, где быстрые перемены времен года, волшебное появление лета, развивающего в одно мгновение розы там, где недавно виднелись одни печальные сугробы, кладут печать свою и на чувства; у нас удивление, жар страсти — все горит, как летнее солнце,— пламенно, но не долговременно. Мы все ищем нового и почитаем старым сегодня то, чему удивлялись вчера. Достоинство без новости не привлекает нас: впрочем, мы не виноваты в том; в Камчатке люди, должно быть, еще непостояннее.

В то время в одном углу залы, возле колонны, до половины закрытой свежей зеленью миртов и цветов гиацинтов, сложа руки на груди, стоял задумчиво молодой человек приятной наружности: он был совершенно погружен в самого себя и, казалось, не замечал ничего, что происходило вокруг его. Вдруг знакомый голос пробудил его внимание. Это был один, юный сердцем, не летами, постоянный житель гостиных и театра, судья актеров и красавиц со времен Екатерины II. «Помилуй, mon cher, что ты делаешь здесь, в углу? Уж полчаса смотрю на тебя в лорнет, не узнал, ей-богу! Ты так задумчив, что с тобою? Уж не неудача ли какая? С нами, в ваши годы, это не часто случалось».— «С вами — это иное дело, князь! А мы — уж куда нам за вами!» — «Шути, шути, mon cher! Вам настоящее, а нам — увы!.. Послушай: видел ли ты племянницу князя Марилькина?» — «Нет».— «Ну, сожалею, чудо, mon cher! Глаза, плечи, грудь! Я тебе скажу!»

«Да где же она? Я об ней никогда не слыхал».— «Я и забыл, что ты недавно возвратился и что она без тебя еще представлялась ко двору. Она была принята очень милостиво. Это вдова этого генерала... как бишь его?.. что, помнишь, так отличился в 13 и 14 годах?.. Ильменев!.. вот вспомнил! Он был мне хороший приятель. Она приехала

* Мадам Тюрэн и Югон *(фр.)*.

сюда по какому-то делу. Первая жена Ильменева была родственница Марилькину и воспитывалась в доме его. Марилькин, лет пять тому назад, был как-то в своих деревнях, познакомился со второю женою Ильменева: она имела случай оказать ему услуги, ходила за ним, когда он был болен... Знаешь, mon cher, это не забывается, особенно когда хожатая смотрит на вас парою таких черных глаз, что так и жгут!» — «Вы воспламеняетесь, князь. Что же далее?» — «Далее что?.. Муж умер, у нее завязалась, и очень кстати, какая-то тяжба. Вот она и приехала к *дядюшке*, который и носится теперь с нею, как с дочкою. Он, знаешь, всех родных держит в руках, и они, чтоб угодить сиятельному, глядят в глаза новоприезжей. Да и можно: что за глаза!.. Ах, если б не шестой десяток»,— прибавил он, поправляя галстук и выпрямляясь с видом человека, который говорит: «Постоим за себя!» «Попробуйте, князь, попробуйте: вы еще опередите всех нас молодых».— «Куда нам!— сказал князь притворно, жалобным тоном богача, который жалуется на бедность, потряхивая золотом.— Но знаешь ли, что мне странно?.. Mon cher, как из провинции могло явиться такое чудо?» Князь еще что-то говорил, но молодой человек не слушал его: они стояли в первом ряду круга, собравшегося около танцующих. Это был галопад.

Перед ними, летая, как перо с руки на руку, по прихоти кавалера, едва касаясь паркета, носилось существо легкое, воздушное, пленительное, с станом сильфиды, с чертами гречанки. Склоня голову к плечу, небрежно опираясь на руку кавалера и потупя взор, оно то скользило по паркету, то, вдруг оживляясь, перепархивало на другую сторону. Глаза ее равнодушно, с каким-то обманутым ожиданием перебегали по зале, иногда же, вдруг загораясь, метали искры. В ней все было прихотью: и рассеянье, и задумчивость, и веселость; она, казалось, была в мире, ей не свойственном; но, глядя на нее, хотелось побывать в том, где она была туземкою.

— Вы знаете ее, граф Мстислав Валерьянович!.. Черты ее, стан, голос — все вам кажется знакомо, но это не она: девять или десять лет не могли бы так изменить, и еще провинциалки. Нет, это не она. Вы, конечно, видали ее в юношеских снах ваших, когда на берегах Рейна мечтали о деве-ангеле или, может быть, душа ваша знала ее еще в ином мире. Вы любили прежде эти мечты, граф; вы и теперь любите их; вы, как и другие, в деле чувств то же, что многие из светских остряков в религии: вольнодумцы умом, а сердцем готовы ставить свечки всем святым.

Надобно сказать, что граф Мстислав С*** принадлежал к одной из древнейших фамилий русского дворянства, и не одного окольничего, стольника, думного боярина считал он в родословной своей. Многие из предков его, еще при Грозном, начальствовали Большим полком; давно уже и графская корона украсила герб его. Он был богат, независим, в орденах, хорошо принят у двора, и потому неудивительно, что лучшие невесты смотрели на него ласково. В городе носились слухи, что он помолвлен с княжною Лидиею К***, одною из прекраснейших особ в то время. Любила ли она графа, не знаю; но я думаю, что граф Мстислав любил ее, хотя и поговаривали, будто экипаж его часто видали за Лиговкою подле большого каменного дому; что в окнах первого этажа, в угловой комнате, видали агела, сильфиду, женщину, русалку,— бог знает кого,— никто не знает наверное; но кто видел, уверяют, что это было нечто обворожительное. Слыхали там звуки фортепьяно, голос очаровательный, «неземной», но как всему верить! Я знаю, что граф стоял теперь посереди залы, не внимая музыке, не зная, где прекрасная Лидия, не думая ни о ней, ни о Лиговке, следуя взором за прекрасным созданием, овладевшим всею душою его. Давно ли? Нет часу еще. Он видел эту самую походку, эту дивную ножку, этот легкий стан; но тогда черный креповый тюник, усеянный серебряными звездочками и перехваченный поясом с знаками зодиака, обвивал его небрежными складками, и на голове, сверх покрывала, вышитого кабалистическими фигурами, сияло семь звезд.

Это была одна из фей, обитательниц надзвездного мира, с мыслию утешения слетевшая с небес. Необыкновенная прелесть движений, равно как и ответы ее, возбуждали всеобщее любопытство; но напрасны были все старания узнать, кто она: она ускользала от наблюдательного ока, знала всех и каждого и для каждого была неразрешимою загадкою. Пробираясь сквозь толпу, окружавшую ее, он подошел к ней с прекрасною Лидиею, одетою пильгримкою. Лидия хотела знать от волшебницы конец своего странствования: не обманут ли надежды бедную пильгримку, спросила она, подходя к фее. «Надежды не обманут, прекрасная пильгримка,— отвечала фея, становясь между ею и графом,— цель пильгримов земных — счастие; если вы придете к нему не тою дорогою, которую избрали, не все ли равно для вас? Лишь бы быть у цели!»

— Но какою же дорогою? Почему не этою?— Фея молча указала в другую сторону, где звезды и эполеты пестре-

ли между дам. Лидия устремила туда любопытный взор; между тем толпа разделила их. Молодой человек пошел за феею, желая узнать, что́ сказала она его спутнице.

— О, вы этого не узнаете! — сказала фея.— Мужчины часто и легкомысленнее, и слабее женщин: может быть, слова, сказанные мною пильгримке, смутят вас. Не вам разрушать грезы: это гости из мира фантазии, которых посылает она вам взамен сущности.

— Предполагайте во мне более мужества.

— Всегда ли вы имели его?

— Мое прошедшее известно вам?

— Как и будущее.

— О, я узнаю вас, всеведущая!

— Вы не всегда узнавали меня!

— Не всегда? Не говорите загадками!

— Не бойтесь; я здесь не для того, чтоб напоминать прошедшее. Если здесь и мелькнет какая-нибудь знакомая тень, вы свободны не узнать ее... Я не назову ее...

И она скрылась; но голос, которым произнесла она последние слова, отозвался в душе графа. Это был как давно забытый напев родины, как песня, под которою сладко засыпал он в младенчестве, как музыка, которой внимал, впервые склонясь на плечо милой. Он пробудил в душе целый мир утраченного счастия.

Но куда скрылась она? Пестрою ли бабочкою вспорхнула вверх или как призрак исчезла в светлой радуге? Разлилась ли ароматом в воздухе или лучом света ускользнула из зала? Он искал ее, но ее нигде не было; никто не знал, где она...

Но вот она снова перед ним со всей своей воздушной прелестью; но теперь она в уборе блестящей светской дамы, предметом внимания окружающей ее толпы. Ужели фея и она одно? Ужели она и...

Глава III

Ах, русский, русский! Для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалася?

Пушкин

Ты любишь, русский? Ты любим!

Пушкин

Когда люди, стряхивая грубые оболочки чувственности, преобладающей в младенчестве, вступили в возраст, когда

начинает развиваться умственная жизнь и мысль, этот гигант мира, принимает владычество над душою человека, умственное око его обратилось на него самого, и он был поражен собственным величием. Исполин, которого голова касалась небес и сила равнялась одному воображению его, он не заметил, что подошвы его касались земли и что бывают минуты, в которые он слабее слабейшего из животных: в изумлении своем он создал кумиры собственным чувствованиям, облек их всею прелестью юного воображения и обоготворил свое создание со всею силою первой страсти. В языческой Греции творения его приняли роскошные формы природы, его окружавшей: в них было все игриво, блестяще, неготворно, как она; здесь человек, пересозданный, очищенный святостью христианства, положил печать таинственности и чистоты его на свое творение, и оно явилось облеченное покровами, перед которыми он благоговел со всею страстью юношеского сердца; тогда на турнирах заблистали копья в честь красавиц, цвет европейского юношества, осененный крестом, полетел в жгучие пустыни Палестины; тогда воин спешил с радостью жертвовать жизнию на поле битвы, чтоб умереть за брата по оружию; владыки земные без ропота оставляли власть, смиряясь перед тиарою, и тогда запылали костры, зажженные фанатизмом. Но привычка притупила удивление; человек открыл собственную слабость свою и простер дерзский взор к идолам своим: один за другим спадали блестящие покровы, которыми окружило их воображение его: божество явилось в наготе своей, и человек, которому не дано достигать до истины, не обежав всех кривых дорожек, перепутывающих главный путь, не нашел ни поэзии, ни прелести в нагой истине; он устыдился верований своих, насмеялся над предметами своего обожания, разрушил кумиры и попрал божество, восклицая: «Все мечта!» Он свел с небес прекрасное облако, блиставшее всеми огнями радуги, приблизил к глазам своим, химически разложил его, говоря: «Это один пар!» И даже те, которых сердца не могли ужиться в ледяной атмосфере, которою окружили их, обращая взоры к лучезарному облаку, повторяли громко: «Это пар!» Граф принадлежал к числу этих последних; он слыл любезным, острым, холодным, разочарованным, сыпал насмешки и без жалости уничтожал словами все, о чем жалел сердцем, за что бы отдал, может быть, полжизни. Но что делать? Как явиться Вертером в веке Чайльд-Гарольдов? Язык света, как и покрой платья, не должны отставать от моды: превосходство принадлежит нововведе-

нию; народ за ним последует. Большая часть людей — эхо, повторяющее последний слышанный слог, телеграф, передающий мысль, ему чуждую. Если не нравится общепринятое мнение, берегите ваше про себя; лучше отказаться от неосторожно высказанного мнения, чем прослыть старовером; но это редко случается в свете: благоразумие выжидает приговора моды. Не сердитесь, не сердитесь! Все это не без исключения; но вот видите ли: я не поручусь, чтоб через несколько лет мы не завздыхали, как Амадис Гальский. Вам смешно? В девяностых годах что сказали бы о наших странствованиях в Палестину? Но дело не о том: ни одна красавица не поверила бы, что граф тяготился пустотою сердца и холодом, окружавшим его; что посреди самого живого разговора он задумывался и слушал рассеянно милый лепет их, улетая мечтою в прошедшее.

Но прежде чем узнаем это прошедшее, познакомимся получше с графом и посмотрим, что делал он на другой день бала.

Стройные звуки прекрасной рояли раздавались в небольшом готическом кабинете, богато драпированном голубою материею; и свет алебастровой лампы приятно скользил по бронзам, разным мебелям и позолоте карнизов; звуки то умолкали, то разливались в мелодических тонах, то, быстро переходя в дикие аккорды, снова замолкали, наполняя душу предчувствием чего-то страшного. Это была фантазия, излияние души, переполненной чувством, которого она не смеет вверить языку обыкновенному. Знаки его, в обыкновенной жизни равно употребляемые для выражения высокого и пошлого, теряют силу и охлаждают чувство, которое должны передавать; они не точны, и часто одно и то же слово пробуждает понятия различные и подает повод к недоразумению. К тому же, чтоб сделать понятным чувство, надобно говорить о причинах, пробудивших его; причины не всем кажутся одинаково важными; действия причин не всем одинаково понятны; музыка же переливает в душу слушателя чувство, которым одушевлен артист, не касаясь причин, пробудивших это чувство; она настраивает одинаково души обоих, и тогда понятен каждый звук, каждый стон сердца, его поймет всякий, кто умеет чувствовать; для других язык артиста остается звуками без смыслу. Может быть, одно из величайших наслаждений музыканта есть эта способность переливать чувствования свои в душу, способную понять его, между тем как другие видят только беглость пальцев, стройность аккордов и прелесть игры его. Чувство его не перетолко-

вано, он не оскорблен недоразумением, язык его не поймут теми, кому он неизвестен. На это нельзя и сетовать! Но ему не придадут намерений, которых он не имел, не найдут в нем смыслу, которого он не искал, а нас так редко слушают даже и друзья.

Стук подъехавшей кареты перервал игру. Кто-то бросился к окну. Но все тихо опять: вдали, по улице, в темноте двигаются дружно два огня, как зоркие глаза волка в мраке лесу в глухую осеннюю ночь. Мелькают сани при свете фонарей, которых желтоватый отблеск ложится светлою полосою по дороге... Музыка снова послышалась.

— Как скучно, Анджиолина!— сказала артистка, которой звуки так переменчиво изображали то тоску, то досаду, то кроткое сетование. Она сложила руки на коленях и закинула назад голову; черные локоны рассыпались по алебастровой шее ее, и глаза, с выражением сердечной тоски, почти совсем закрылись длинными ресницами.

— Э, синьора! Еще только восемь часов,— сказала другая женщина, которая до тех пор сидела в совершенной неподвижности, подпирая подбородок рукою, и со вниманием слушала, устремив черные глаза свои на артистку,— он, верно, обедает у дяди; а там обед поздний, вы знаете.

— Ты ошибаешься,— сказала первая, несколько оживясь.— Я нимало не беспокоюсь о нем. Мне скучно, так, не знаю от чего. Эти длинные вечера, это тусклое небо... оно как свинцовое висит над головами! Все это мне скучно, томит меня.

— Да! Это не наша Италия... Как подумаешь, что в этот самый день, на 2 января, 14 по-вашему,— это было накануне нашего отъезда из Рима,— мы целый день гуляли с покойною сестрою в Монтерези. Она там жила, синьора, и мой бедный Энрико...

— Для чего ж было уезжать оттуда?

— Для чего? Энрико был беден. Богатый господин из Берлина предложил ему место maestro di capella. Энрико согласился. А там сказали нам, что Петербург — золотой рудник для артистов. Я боялась Петербурга. Энрико поехал один... О, я знала, что этих господ не надобно оставлять одних!

— А что же?

— Да так; целый год он не писал ко мне; я поехала к нему. И хорошо сделала, очень хорошо, синьора: свой глаз не худое дело... Денег у нас было много. Энрико давал

уроки в лучших домах. В наше время никого не было лучше его; еще не умели ценить его... Князь...

— Да, да!.. Но бедный Энрико умер.

— Что делать с климатом! О, я уеду в Италию! Я хотела уехать тотчас же после его смерти.

— И вот уже десять лет, как сбираешься и, верно, не соберешься.

— Непременно! Непременно! На первом же пароходе.

— И меня оставишь?

— О, моя добрая Лаурета, с вами вместе!

— Да, Анджиолина! Ты, я и... он, не правда ли?

— И конечно. Как же ему не ехать? Вы ему пожертвовали отечеством.

— Нет, нет, Анджиолина! Ничем! Отечество мое там, где он. Никогда не забуду я Италии, но я буду счастлива только с ним.

— Да что же это такое? Почему ж ему не ехать с вами? Кажется, вам можно потребовать от него этой жертвы.

— Разве мало он сделал для меня? Подумай, от какой участи он спас меня!

— От какой? Ну, я еще этого не знаю...— бормотала итальянка.

Но в это время отворилась дверь, и Лаурета вскрикнула: в одно мгновение беленькая ручка ее обвилась около шеи молодого человека.

— Ах, Мстислав, как ты поздно! Где ты был? Какой долгий, несносный день! Но что ты невесел?.. пасмурен?.. Что с тобою? Не болен ли ты?

— Ничего; право, ничего.

— Ты меня обманываешь; но я ведь узнаю. О, ты от меня не укроешься! Поди сюда, садись вот так, подле меня. Ну, скажи мне, где же ты был.. Ах, Мстислав, если б ты знал, как несносно ждать! Скажи же мне, ты любишь меня?

— Дядюшка хотел, чтоб я обедал у него; он не пустил меня.

— Ну вот! Я говорила, что это дядюшка: так нам не верится! Нам веселее плакать; мы любим это.

— Плакать, Лаурета?— спросил граф, смотря на нее с нежною заботливостию.— Об чем же?

— Я не плакала, Мстислав. Анджиолина, приготовь нам чаю. Ты хочешь, Мстислав?..

— Восемь часов; еще рано бы чай,— подумала Анджиолина,— но, но...

Она начала хлопотать о самоваре.

— Отчего же ты невесел, Мстислав? — спросила Лаурета, положа руки на плечи его.

Она смотрела на него тем испытующим взором любви, которому уступает всякая тайна. Надобно было быть мужем или по крайней мере считать любовь годами, чтоб устоять против подобного взора. Мстислав молчал. Лицо итальянки вспыхнуло; две соболиные дуги, тонкою чертою согнувшиеся над огненными глазами, сошлись почти вместе.

— Уж не дядюшка ли опять толкует о княжне Лидии?

— Ты знаешь, Лаурета, что это не должно тревожить тебя. Дядюшка может делать проекты, сколько ему угодно; это меня не касается.

— Ах, если б ты знал, как я всего боюсь! Ты не любишь меня, Мстислав...

— Лаурета!

— Ведь я знаю, что ты только уступил любви моей. Но я не сетую.

— Разве ты несчастлива, Лаурета?

— О, нет!.. пока я с тобою. Но это кольцо: ты любил еще прежде?

— Какое странное расположение духа, Лаурета!.. Что с тобою?

— Я видела этою ночью сон, страшный сон! Мне казалось, что я стою перед зеркалом, и волосы у меня рассыпаются по плечам густыми локонами, точно так, как я носила их в Аквапенденте, — помнишь? О, это было счастливое время! Вдруг я оглянулась; ты, как тогда же, лежал на диване, бледный, умирающий, и подле тебя была женщина; но не Лидия... У этой были черные глаза; она надевала тебе на руку кольцо и смотрела на меня так злобно, так злобно, что мне стало страшно. Она показывала на мои локоны: я взглянула в зеркало, локоны падали один за другим, и мне было их так жаль!

— Ну, что ж из этого?

— Это еще не все. Я проснулась; мне было грустно; я спросила ожерелье, которое ты купил мне у старой цыганки, помнишь, когда, по выздоровлении твоем, мы в первый раз пошли гулять по дороге к Сан-Лоренцо. Она сказала мне тихонько... Я не скажу что́; только, видишь ли, я хотела надеть его, и оно разорвалось пополам. Я бросилась на колени перед образом святой девы: лик был как в тумане; я хотела приблизиться, он упал... Ах, Мстислав, не к добру это, не к добру!

— И все это оттого, что я не был вчера вечером. Ты

знала, что я буду с княжной вместе на бале: вот и истолкование всех этих предвещаний, ревнивица!

— Я не боюсь княжны; ты никогда не любил ее. Дай мне кольцо твое.

— Ребячество, Лаурета!

— Так оно дорого тебе?

— Можно ли ревновать к прошедшему, забытому?

— Зачем же оно тебе, если все забыто?

Как было уверить Лаурету, что можно дорожить предметом, напоминающим счастливое время жизни, хотя уже и погасло чувство, от которого заимствовало оно свою прелесть? Лаурету, которая жила настоящею минутою, не понимала жизни вне чувства, наполняющего душу ее, и почитала как бы оскорблением его и горе и радость, которые не в нем брали начало свое? Как было растолковать ей, что воспоминание, воскрешая прошедшее, создает для нас новую жизнь, может быть блестящую не столь яркими красками, как настоящая, но тем самым не меньше приятную; жизнь, в которой и радость, и печаль, принимая отпечаток тихой грусти, являются в каком-то приятном полусвете, точно так же, как отдаленные горы, леса и долины, отражающиеся в темном стекле, которое придает им туманный, но приятный для взора свет. Никогда не поняла бы она, что предмет может быть дорог единственно потому, что быстротечная жизнь, ускользая, оставляет на них следы, неприметные для других, но драгоценные для нас как памятники погасшего чувства или утраченной мечты, которая никогда нас не счастливила. Он знал когда-то женщину, которая поняла бы его... Та любила душою, та жила мыслию, та была как светлый дух, против воли разделяющий земные нужды... Бедная Лаурета!

Любовь, которая сравнивает, уже не любовь: она уже на полете; еще минута, и вспорхнет.

Граф молча подошел к фортепьяно, и пальцы его пробежали по клавишам. Ничто столько не убивает женщины, как невнимание. Не заметить ее грусти, ее слез, да это такая вина, которой простить нельзя! Я спрашиваю вас, страстные поклонники красоты, скольких просьб, клятв, слез, может быть, стоило вам подчас подобное преступление? Я не говорю о женщинах, которые требуют расплаты более увесистой: о, вы это знаете, чем больше любите вы, тем красавица взыскательнее,— и все без исключения, даже и неприхотливая Катя! Раскаянье, просьбы, страдание, слезы мужчины суть тайное наслаждение женского самолюбия: красавица видит в них доказательство любви, дока-

зательство своего могущества; видит, что в ее воле одною улыбкою возвратить ему радость и спокойствие, и она гордится властью своей; она тиран в маленьком объеме и, как все слабые, дорожит мелочными признаками своего владычества. Вот отчего так несносны мужья: они не оставляют вам ни малейшего признака власти; с ними нельзя и покапризничать. Красавица нахмурилась; слезка трепещет на щеке ее, как капля росы на листке розы; она хороша, как Гвидова Магдалина: а муж? — курит себе преспокойно трубку в халате или насвистывает водевильный куплет, смотря в окно... А что может быть этого несноснее? Нет! Невнимание мертвит счастие женщины, как осенний мороз поздние цветы; мертвит и причуды, но эти причуды суть стихии ее эфемерного благополучия: не ухаживайте за нею, пропадут они; но пропадет и счастие, и тогда смотрите: если не научите милой подруги вашей находить прочное истинное счастие, беда вам! Она пустится за ним в вихрь света, и тогда, не прогневайтесь, придется, может быть, заказывать шляпу попросторнее. Мстислав, увлекаясь прелестью ададжио, которое играл, забыл о Лаурете, об ее неудовольствии; и когда последние звуки, умирая, возвратили его к вещественности, он услышал рыдания. Лаурета плакала, закрыв глаза руками.

Пускай бы покапризничала: право, он стоил этого! Играть ададжио, оставшись наедине с прекрасною женщиною,— да еще и забыть, что она плачет,— право, не извинительно!

— Это ни на что не похоже, Лаурета!— сказал наконец он, подходя к ней.— Ведь это ребячество, ревновать к прошедшему, к тени!

— Я и не думаю об этом! Но ты переменился, ты не любишь меня.

— Прости, Лаурета! Я приеду завтра; ты, может быть, будешь любезнее.

Он взял шляпу и пошел к дверям.

— Выслушай, Мстислав!— сказала Лаурета, останавливая его быстрым движением.

Она стала перед ним, и черные глаза ее заблистали огнем решимости. Это было уже не слабое и любящее создание со всеми прихотями балованной любовницы, но женщина, готовая на величайшие пожертвования, требующие всей силы души; женщина, которая находит в чувстве своем силы, каких напрасно мужчина иногда ищет в своем мужестве; женщина, которая повелевает силою воли и внушает уважение нравственным превосходством. *Мстислав* остановился против воли.

— Я не принадлежу ни к какому обществу, Мстислав,— продолжала она.— Бедность и презренные поступки воспитательницы моей поставили меня вне условий; никто не связан участью моей; стыд мой ни на кого не падет; моя радость не осчастливит никого и несчастие не опечалит. Я одна в мире! Мне некому отдавать отчета в моих действиях, кроме вышнего существа. Я не знаю других законов, других условий, кроме любви; ты не должен поступать со мною как с другою женщиною, принадлежащею к обществу. Между нами не должно быть никаких других отношений, кроме любви. Если ты любишь меня, я последую за тобою в пустыни, в нашу холодную Камчатку, на край света, в темницу: меня ничто не устрашит; жизнь моя принадлежит тебе; если же я в тягость тебе или ты меня не любишь, скажи без обиняков! Не обманывай меня: я не хочу ни сострадания, ни жалости, ни дружбы твоей. Моя участь не должна беспокоить тебя. Одна любовь могла сделать меня чем-нибудь в глазах твоих, без нее — я ничто, презренное творение, отверженное обществом. С тобою я или нет, без любви твоей я все буду то же — пария. Ты избавил меня от ненавистного для меня человека, от участи, которой я ужасалась; ты образовал меня, научил меня мыслить, чувствовать, любить тебя... О Мстислав, Мстислав, говори, говори!.. Я оставлю тебя без упрека, без жалобы...

Она упала с рыданьем на грудь его и плакала, как дитя.

— Папа, папа, посмотри, какой лев! Это тетя Даша подарила мне!— кричал черноглазый трехлетний мальчик, вбегая в комнату.— Я его не съем, папа; он шоколадный, сладкий. Я его не съем; я буду играть; а завтра вечером можно будет, папа?

Между тем шоколадный лев и владетель его лежали уже на полу далеко один от другого; ребенок запнулся от излишней поспешности и упал. Лаурета бросилась к нему; но он уже сидел на ковре, наморщился было, чтобы плакать, но разбитый лев привлек его внимание: он поспешно схватил отбитую ножку и, показывая ее отцу с печальным видом, говорил: «И ножка отломилась, папа! Теперь можно ее отведать?»

Через несколько минут граф сидел в больших креслах подле дивана, на котором лежала Лаурета, облокотясь на подушку и подпирая руками подбородок; глаза ее были устремлены на Мстислава, улыбка играла на прекрасных устах, мальчик на полу у ног графа доедал окорок своего льва, Лаурета шептала:

— Как ты хорош, мой Мстислав!..

Глава IV

Меня влекла моя судьбина!..
Пушкин

Откуда взялась эта Лаурета? Что это за ребенок? Как и отчего граф...?

Вот видите ли что:

Это было в Риме. В одну темную и душную ночь молодой путешественник в сопровождении щегольской коляски шел скорыми шагами вдоль одной из наименее обитаемых улиц вечного города: он, казалось, не замечал бури, собиравшейся над его головою, ни молнии, раздиравшей тучи. Может быть, отдаленные друзья, может быть, какие-нибудь воспоминания занимали его; только в эту минуту он не думал ни о Риме, ни об его классических остатках. Вдруг голос женщины вывел его из задумчивости. Он взглянул: к ногам его бросилась женщина в белом платье с разбросанными по плечам локонами. Молния, покрыв ее в ту минуту багровым блеском, не позволила ему увидеть прекраснейшего лица, на котором изображалось живейшее отчаяние. Он отступил назад; но она схватила его за полу платья и тащилась за ним по земле.

— Нет, нет, я не пущу вас! — говорила она почти задыхающимся голосом.— Спасите меня, ради всех святых, ради святой девы!.. Спасите меня!

Он хотел говорить, но она схватила его руки и сжала их крепко в своих маленьких ручках. Она была дитя, девочка лет пятнадцати.

— Не говорите ни слова!.. Если вы христиане, возьмите меня с собою!.. Увезите меня отсюда и бросьте в какой-нибудь деревне, только за границею! Или возьмите с собою; я буду рабою вашею, буду вам служить, только спасите меня! Я расскажу вам после... Вот они идут!.. идут!.. Они возьмут меня... отведут к нему!.. Бога ради!

Она тащила его за собою. В это время в дверях дома, против которого они находились, показались люди. Девушка бросилась к коляске, увлекая за собою молодого человека, который как бы против воли повиновался ей, и, прежде чем мог понять, что делается, коляска остановилась против его квартиры.

Через три дня после этого, вечером, дорожная коляска в сопровождении конвоя спускалась с живописных высот между Сан-Лоренцо и Больсены; солнце давно уже скрылось, и мрак спустился по дороге, бесчисленными зигзагами извивающейся между утесами и ущельями, в кото-

рых страшно чернелась глубь лесу. Небо было пасмурно, темные вершины вековых дубов глухо шумели в вышине, между тем как все внизу было тихо, так, что, казалось, и лист не смеет шевелиться; воздух был душен; глухие раскаты отдаленного грома предвещали близкую грозу; вдруг несколько голосов поразило слух путешественников: казалось, звали на помощь; то были вопли, угрозы, конский топот. Молодая дама, ехавшая в коляске, приподнялась и устремила взоры вдаль. Но все было темно; дорога терялась между утесами, и взор потух в темных излучинах лесу. Звуки приходили от Больсены, и час от часу становились яснее.— Зовут на помощь, это ясно!— В одно мгновение, по знаку путешественницы, конвой, сопровождавший ее, понесся вперед; стоя в коляске, следуя взором за скачущими, она желала, кажется, глазами опередить их; коляска неслась, и голоса становились слышнее; но теперь это были уже не вопли, требующие помощи. Дорога вдруг поворотила вправо; коляска остановилась: часть людей, посланных путешественницею, стеснившись, окружали человека, лежавшего без чувств недалеко от опрокинутой коляски; несколько человек скакали вдоль дороги; они возвращались из глубины лесу; на краю дороги лежал человек весь в крови, несколько поодаль блестел, вероятно, сброшенный на скором бегу большой нож; путешественница выскочила из коляски и поспешно подошла к группе, окружавшей раненого. Это был молодой человек, прекрасный собою, несмотря на смертную бледность, которая еще покрывала лицо его. Подле него, в немом отчаянии, стоял мальчик лет пятнадцати, прелестное дитя Италии; глаза его, телодвижения, голос — все выражало глубочайшую скорбь, и, несмотря на это, он был хорош, как амур, как мечта художника, как любовь. Черные локоны вились по плечам его, темный, едва приметный пушок легкой тенью рисовался по обе стороны его прекрасного ротика, кажется, сотворенного только для улыбки. О, будь он женщина, самый набожный итальянец, не колеблясь, отдал бы душу свою и самую надежду вечного спасения за улыбку этого прелестного ротика! за надежду зажечь огнем любви эти прекрасные глаза, черные, нежные, полузакрытые! Молодая путешественница, казалось, была тронута. Я не думаю, чтоб красота ребенка способствовала к тому; подобное предположение могло бы оскорбить благородную британку. Что она была англичанка, это было видно по всему.

— Он будет жив! Не плачьте, милое дитя,— сказала она, стараясь утешить мальчика, и обратила все попечение

на раненого, не менее прекрасного, хотя и в другом роде.

Рану его осмотрела и перевязала как могла прекрасная англичанка; сама поддерживала его голову; сама терла спиртом виски и руки. Не смейтесь, пожалуйста! Право, одни женщины знают истинное святое сострадание и умеют предаваться ему без всякой посторонней примеси; этому чувству, которым они в общей цепи мироздания касаются природы ангелов.

Наконец раненый открыл глаза. Он вздохнул, как бы первое чувство жизни было уже для него скорбию. Но когда взоры его встретили прекрасное лицо молодого человека, приятная улыбка озарила лицо его; он произнес имя, в которое англичанка, несмотря на свое желание, не могла вслушаться. Но у итальянцев слух чувствительнее, чем у благородных островитян: это известно уже; черноглазый мальчик не проронил ни одного слова и уже прижимал руки раненого к груди своей, соединяя с незнакомым английскому слуху именем Мстислава все, что мог найти ласкового в волшебном наречии своем. Мстислав, казалось, успокоился: он благодарил взглядом великодушную избавительницу свою. На него напали люди в масках; но это не были разбойники, потому что, видимо, хотели не денег и не имущества путешественников: все было на своем месте в коляске; а жизни одного из них и свободы другого. Люди, посланные англичанкою, отняли мальчика у сильного разбойника, который увлекал его в чащу леса: «Я знаю, кто это»,— шептал мальчик, потупя свои прекрасные глаза. Англичанка просила все забыть, успокоиться; раненого положили в ее коляску; прекрасная леди села подле него, а итальянец на коленях перед ним держал руку больного и смотрел на него со всем жаром своих итальянских очей в голубые, темные, как полуденное небо, глаза своего спутника. По желанию леди коляска поворотила назад, а через полчаса остановилась перед гостиницею в Сан-Лоренцо.

Что делали в это время в России друзья Мстислава? Что делала его Катя, которой имя он так часто произносил в бреду горячки? Но кто была эта Катя? Если вы хотите это знать, последуйте за мною назад и не поскучайте простыми картинами, которые я должен буду развернуть перед вами, между тем как, про приказанию призванного врача, Мстислава перевезли в Аквапенденте, и прекрасная леди ходит за ним с истинно христианскою любовию сестры милосердия, и маленький итальянец, глотая слезы, вслушивается в бред больного.

Глава V

> В этом жилище, куда суеты не входили,
> Каким-то
> Райским виденьем сияла она...
>
> *Жуковский*

Я думаю, не раз случалось прекрасным обитательницам Петербурга, отправляясь весною в дальние деревни, проезжать через уездные города и, выглядывая с любопытством из окон кареты, с невольным ужасом смотреть на длинные пустые улицы, по обеим сторонам которых, между небольшими, обыкновенно в три окна, домиками обывателей, возвышаются деревянные, обитые тесом домы с выкрашенными красною краскою кровлями, с флигелем, тесовым забором, соединенным с домом, с затворенными воротами, и своею величиною и некоторыми затеями уездного зодчества показывающие, что они принадлежат людям высшего сословия. Их смиренная и однообразная наружность обливала холодом, я уверен в том, души прекрасных путешественниц, особливо при мысли: что, если бы мы осуждены были провести всю жизнь в этих маленьких домиках, с маленькими окнами, которых стекла еще до половины закрыты розанелью и жасминами? И точно; картина уездного города не прельстит ни глаз, ни воображения, особенно утром; бо́льшая часть окон еще закрыта ставнями, по местам; дородная служанка в башмаках на босую ногу, с нечесаною головою и капотом, накинутым на плечи в виде плаща, съежившись от утреннего холоду, кладет руку на железный запор, придерживающий ставни, и останавливается, засматриваясь на проезжающих; инде, под отворенным окном, в халате и с трубкою во рту, с спокойствием и чувством собственного достоинства на лице, прихлебывая чай из огромной чашки, сидит толстый заседатель или секретарь уездного суда, особа важная в городе; в глубине комнаты, за чайным столиком, рисуется бледная фигура супруги его в чепце собственного изделия, хлопотливо раздающая чашки полдюжине детей разных возрастов; иногда в отворенную калитку увидишь посереди двора заботливого хозяина, в одной куртке или камзоле, толкующего с кучером, который охорашивает перед ним любимого вороного, между тем как тот и прыгает, и играет, и, рисуясь, бьет копытом землю; иногда, как амур Альбана между сатирами Рубенса и пирушками Тенирса в картинной галерее, мелькает румяное личико девушки с распущенной косою, выглядывающей из-за занавески окна

па проезжающих, между тем как кудрявый шалун мальчик кричит, и плачет, и дергает ее за рукав, прося молока и булки. Но по бо́льшей части все спит; жизнь пробудилась только на улице и в домиках в три окна: и что увидишь там? Хозяйка хлопочет около печки, девушка, алая как утро, плетет кружево или ткет тесемки на маленьком станке; обстриженный в кружок торгаш, переступая подворотню калитки, крестится на улице; две коровницы толкуют, поджав руки, между тем как буренушка щиплет траву по канаве, мальчишка хлыстиком гонит гусей на луг. На перекрестке толпа мужиков, с кулечками под полою, толкуют с озабоченным видом и с открытыми головами, почему вы угадаете, что они завидели издали новенькую крышу дома капитан-исправника. Вот и все. Это не привлекательно. Поверили ли бы проезжие красавицы, если б кто сказал им, что в этих домиках с маленькими окнами, с горшками розанели и широкими ставнями живут люди весело, и часто очень счастливо; что в этой однообразной и тихой жизни есть и любовь, и поэзия? Ну, скажите, что подумали бы они?.. О, они засмеялись бы и сказали, что это из «Тысяча одной ночи». А между тем поверили ли бы они, что между ними, в высшем кругу их, была одна, которая посереди золоченых зал, в роскошных кабинетах, упитанных запахом гиацинтов и лилий, в то время когда крещенский мороз трещит на дворе, вздыхала о светленькой, маленькой горенке, которой стены, ничем не обитые, не оклеенные, даже не оштукатуренные, представляли взорам просто, гладко выстроенные сосновые бревна, разделенные тонкими полосками мху, которого темный цвет возвышал желтый яркий лоск нового лесу? О своем дубовом столике, о пяльцах под окном, о белом шкафе в углу комнаты с ее маленькою библиотекою, где за стеклом стояли бережно «Мои безделки» Карамзина, «Страсти молодого Вертера», «Детская философия» и «Коварство и любовь», перевод Смирнова? О своем садике, где сажала она молодые березки, привезенные из подгородного лесу старым слугою отца ее? Комнатка ее была в мезонине; створчатые двери вели на балкон, с которого взор господствовал над кровлями домов, перемешанных с густою зеленью лип и кудрявых вязов, блуждал между белыми стенами церквей и шпицами колоколен, как великаны поднимающихся над городом, и терялся в синей дали окрестностей, вправо, по чистому, гладкому полю, где вилась узкою лентою пыльная дорога, ведущая к церкви, окруженной зеленой рощею, в которой между березами мелькали белые могильные па-

мятники. Вид этот не наводил уныния на душу Кати: так звали петербургскую красавицу; она с детства привыкла к нему; напротив, она любила эту уединенную церковь; она помнила, как, еще ребенком, в ясный вечер, когда последние лучи солнца догорали на золотых крестах и ласточка, с громким пением рассекая воздух, взвивалась к ясному своду неба, она сопровождала ко всенощной добрую мать свою, играла на лугу возле каменного крыльца, когда та молилась за нее в церкви, или бегала между памятниками под наклонившимися березами, не думая о тех, чей прах попирала в детской резвости. Теперь там спала сном вечным добрая мать ее, и каждое утро с своего балкона Катя приветствовала смиренный памятник ее, припоминая ее кротость, доброту, ее благочестие и находила удовольствие в тихой грусти, наполнявшей сердце ее при этом воспоминании. Рафаэль, не колеблясь, придал бы черты ее ангелу-благовестнику; многие матушки, видя с каждым днем расцветающую красоту ее и сравнивая ее с своими дочками, бледнели и начинали жалеть, что Катя растет одна, без матери, и перенимает дурные манеры, неприличные; что она погибнет, бедная девушка! Городничий, который когда-то, при императоре Павле еще, служил в гвардии и живал в Петербурге, говаривал часто, смотря вслед за нею, когда она вечером в толпе подруг гуляла по улице: «Хороша!.. У! Кабы ее да в Петербург, да прошлась бы она по Невскому!.. Здесь ей цены не знают!» И кому было знать цену? Мужчины приезжают обыкновенно в деревни и уездные города отдыхать после бурной молодости, растраченной в столице, и всегда чрезмерно заняты делами службы, вистом или последним указом; женщины... я не знаю, отнесся ли бы на суд их г. городничий.

Но Катю ценил отец. И как он любил ее, свою милую, ненаглядную Катю! Это была — утешение его старости, его радость, его игрушка, его надежда; он жил ею, и детство Кати прошло счастливо, приятно, как веселый сон. Блажен тот, чье младенчество богато воспоминаниями приятными, чье сердце может отдохнуть на картинах детства. Как часто счастие, вкушаемое под родительским кровом, бывает единственным, последним! Счастие это — покража из обители неба, за которую часто мы должны платить здесь долгим страданием. Простите ли вы, что я занимаю вас этими столь простыми картинами? Жизнь уездного города — это так ничтожно; воспоминания детства — это так незатейливо, что я боюсь наскучить вам. Оставьте меня, если так, или позвольте уже все досказать, потому что

мне надобно непременно познакомить вас с Катею и отцом ее. После я расскажу вам, как познакомилась она с графом, как полюбила его, приехала в Петербург; но это после, теперь я скажу вам, как жили они. Надобно вам знать, что отец Кати, Иван Алексеевич Амичев, быв с незапамятного времени казначеем в С....., вообще был любим в городе, но слыл чудаком: приезжал ли в город губернатор или вице-губернатор, он являлся после всех, говорил с ними как с равными, не тихо, не заикаясь; в казначействе вздумает ли вице-губернатор сделать замечание кассиру или поворчать на беспорядки пишущей братии, он смело представлял, что погрешность не так велика, как казалось его превосходительству, и, к общему удивлению, превосходительство всегда оставалось им довольно. За обедом губернатор нередко сажал его подле себя или долго говорил с ним после обеда, а он никогда никому не хвалился этим, разве только вечером, мимоходом, будто без намерения, сказывал Кате, что губернатор, прощаясь, пожал ему руку и оборотился спиною к исправнику, и плутовка улыбалась, примечая удовольствие удовлетворенного самолюбия, блиставшее в глазах старика. Однажды за столом и при многих он сказал громко, что взятки — одна из девяти язв Египта, что недостаток состояния не извинение, что лучше по одежке, и прочая, чем заставлять крещеный мир платить за свои деревни и каменные домы, но что это пройдет со временем, переменится при лучшем образовании и улучшении нравов. Это был Колумб, проповедующий Новый Свет. Но, увы! Несчастнее первого, ему не удалось сказать: «Вот он!» Он также слыл весьма хорошим христианином, но я не оправдываю его за то, что покойная жена его, бывало, чтоб отслужить всенощную на дому накануне праздника, должна была выжидать, чтоб он ушел к соседям. Это очень дурно; впрочем, он строго исполнял все предписанное церковию. Особенно когда подросла Катя, он был примерно набожен, а она была над ним истинный деспот в своем филократическом (как говаривал Амичев) правлении, известном вполне только женщинам — не вздыхайте, господа мужья! Стоило ей только обнять старика, поцеловать его в высокий лоб, поглядеть на него своими ангельскими глазками, и она могла заставить его исполнить всякое ее желание.

Как божья птичка, мила, как ясное утро после долгого ненастья, она согревала радостью последние дни старика, пела, как жаворонок, сидя за своими пяльцами, и несколько раз в утро забегала в кухню посмотреть, не перешла ли

кулебяка с рыбою,— любимое кушанье Ивана Алексеевича,— хорошо ли уварились щи, да, несмотря на то, что у нас, за грехи наши, нынче не в обычае приучать барышень к хозяйству, как у соседей наших немцев. Но это было также странностью Ивана Алексеевича: повар никогда не угодил бы ему, если б он узнал, что Катя ни разу не была на кухне. Он возвращался из казначейства всегда в час, и уже Катя ждала его; бросалась ему на шею, старик целовал ее и долго смотрел на милую, долго, как бы после годового отсутствия; ставил на окно шапку и палку, а Катя уже стояла перед ним с рюмкою настойки. Они обедали вдвоем, изредка с соседом, который по-приятельски заходил откушать запросто, что бог послал, и тогда Катя начинала суетливо потчевать, выхваляя блюда и потупляя глаза, когда отец говорил: «Катя сама делала ботвинью, откушайте-ка!» После обеда старик ложился отдыхать, а Катя — в сад, к своим цветам и березкам, где она садилась на скамеечке беседовать с любимым поэтом. Проснется старик, и самовар уже кипит на столе. Как! Он спит до девяти часов? Э, нет! Он в девять ужинал, а пил чай, когда здесь обедают — в шесть часов, и потом ходил гулять с Катею в сад, или в поле, или на берег реки и там рассказывал ей о пышной Неве, о величавой Волге, о крылатых судах, рассекающих светлое зеркало вод ее, о доброй матери, взирающей на них с небес. Весело было смотреть, когда подле смуглого, свежего, но уже осененного сединами лица старика улыбалось молодое, прекрасное личико девушки, устремляющей на него внимательно любопытный взор и, кажется, ловящей слова его. Меня всегда более трогала дружба между отцом и дочерью, чем между матерью и дочерью. Будучи одного пола, мать и дочь дружны без усилий с обеих сторон; матери нужно только припомнить молодость, чтоб понять сердце дочери. Кротость ее и, скажу ли, слабость вызывает откровенность девушки. Отцу нечего припоминать: он должен изучать сердце дочери, испытывать его, чтоб понять ее; должен смягчать строгость рассудка своего, чтоб не испугать девической робости. Сколько внимания, сколько осторожности нужно ему, чтоб приобрести доверенность ее! И сколько беспредельно должна она любить, чтоб свободно раскрывать сердце свое перед его опытностью! Отец и дочь, связанные дружбою, всегда подают мне о себе самую высокую мысль: это союз невинности и опыта; ничего дурного не зародится в сердце девушки, когда она знает, что взор отца читает в нем.

Такого рода была взаимная привязанность Анчева и

дочери его, и часы пролетали быстро для них в этих уединенных прогулках. Возвращаясь, они останавливались под окнами соседей, преимущественно под окном Веры Максимовны, жены уездного лекаря, с которым Иван Алексеевич любил иногда поиграть в пикет или в вист вдвоем. Иван Алексеевич стучал концом палки по косяку, окно отворялось, полное лицо пожилой женщины с черными глазами и важною улыбкою появлялось, и начинался разговор.

— Что, батюшка Иван Алексеевич, палюбовались ли пурпуровыми облаками и чистою луною? Ну не стыдно ли! В ваши ли годы!

— А что же, матушка Вера Максимовна! Нам, старикам, только и радости, что полюбоваться на божий мир! У богатых есть веселье покупное, пиры, балы; у молодости раздолье: ей все веселье; а бедному и старикам остался один божий мир.

— Старичок! Лучше бы в церковь, ко всенощной. Завтра Иверская.

— Э, матушка, вы умолите за нас.

— Да что вам, почтеннейший?

— За газетами.

— Да зайдите к нам посидеть вечерок.

Между тем меньшие дочки Веры Максимовны уже выбегали на улицу, окружали Катю и уводили в комнаты.

Вера Максимовна происходила из одного очень старинного дворянского дому; но как у нас в провинциях не любят рыться в генеалогической пыли и о родословных очень мало думают, то и отец ее едва мог бы пересчитать предков своих далее восшествия императрицы Елисаветы, а Вера Максимовна просто на слово верила в древность роду своего; но она крепко держалась преимуществ, на которые имела право по рождению: выезжала всегда в карете, никогда не ходила пешком и, сохрани бог, без лакея! В церкви первая подходила она к кресту и на обедах всегда занимала первое место. И чем иначе можно было бы отличиться от толпы, когда никакие достоинства не возвышают над нею?

Вера Максимовна «по обстоятельствам» вышла замуж за уездного доктора, но честнейшего и беспечнейшего человека в мире, и управляла им, домом, именьицем, доставшимся ей после отца, и притом играла в городе роль важной дамы. Катя была у ней за-свое; дочки ее любили Катю, как водится, страстно, и только недели две после каждого бала, где Катя, всегда просто одетая, танцевала больше

всех и с лучшими кавалерами, они косились на нее и бывали холодны; да еще если случалось, что какой проезжий осыпал ее неумеренными похвалами или отец дарил ей новый наряд. Но Вера Максимовна всегда постоянно любила ее. Катя отлично рисовала и скалывала узоры; у Веры Максимовны было много швей, и плели кружева. Катю ласкали, называли премилою, брали на гулянье, кататься в санях по городу. Катя рисовала узоры, улыбалась и каталась. Это был первый практический урок в науке жизни: Катя вывела из него заключение, что слово бескорыстно не существует в сношениях людей обыкновенных.

Глава VI

L'âme a peu de beaux jours; mais dans un ciel obscur,
L'amour, soleil divin, peut dorer d'un feu pur
Le nuage errant de la vie.

*V. Hugo**

История моя начинается в эпоху незабвенную для нас: это было в начале 1813 года. Туча, всплывшая с запада и разразившаяся над сердцем России, уже проходила, но громы ее еще были слышны, и следы опустошения, причиненного ею, чувствительны.

Не подумайте, чтоб я хотел описывать это важное событие, и влияние, которое имело оно на умы, и идеи, которые принесло и развило, или следы, которые оставило в народном быту: это дело не моего пера; для этого нужен талант опытный, взгляд верный, ум испытующий. Нет, нет! Я упоминаю о нем потому только, что оно имело некоторое влияние на судьбу моей Кати; единственно потому.

Если бы какой-нибудь старожил Калуги, Тамбова, Пензы или какого уездного городка, за год перед тем заснувший последним сном под сению берез на городском кладбище, проснувшись по воле небес, пришел в родимый город, не зная, что делается на белом свете, он, верно, не узнал бы ни города, ни сограждан своих. Мирные, почти всегда пустые улицы оживлены, многолюдны и шумны; везде народ, везде блестит оружие; с одной стороны входит отряд легкой конницы, с другой — в стройном порядке

---

* Во тьме небес, когда страданий ливень льется,
Вдруг вспыхнет свет любви, божественного солнца.
И облако судьбы озолотит.

В. Гюго (фр.) (перевод В. Андреева)

идет рота пехоты; там казаки, башкиры в странном наряде; здесь тянется обоз с больными и ранеными: люди по платью все кажутся военные, но без оружия, говорят языками неизвестными; в домах везде чужие лица; церкви наполнены незнакомыми; народ теснится по улицам, по рынкам; бородачи в серых армяках толкуют о Дрездене и Вене; на прилавках читают газеты: важное происшествие занимает этих людей, доселе живших каждый особою жизнию, деятельных только в своем ограниченном кругу; теперь частность уступила место общности; как бы какой чародей передвинул на несколько десятков лет вперед или перенес на другую почву уединенный городок. Что же это такое? Откуда эти пришельцы, это многолюдство, это движение? Не бедствие ли какое постигло всех? Что же сделалось?

Желал бы я посмотреть, кто и каким образом взялся бы объяснить бедному невежествующему пришельцу с того света, как молодой орел, взвившийся с берегов безвестного почти острова, взлетел высоко, заслонил полнеба крыльями, рассыпал громы по свету и сосредоточил их над сердцем русским; что эти пришельцы, беглецы с родных пепелищ унесли с собою один ужас к игу чужому, одну любовь к законам отечественным; что эти воины — ратники, идущие заслонить грудью отечество; что чародей, сблизивший домовитых граждан городка с событиями общественными, есть личный интерес каждого: так, вслед за врагом, летели надежды сограждан, их сыновья, братья, отцы... Эти бедные покойники ничего в этом не смыслят!

В семейном кругу та же перемена; миролюбивые городские домоседы, в тишине семейной жизни едва ли когда обращавшие внимание на распри и перевороты, занимавшие всю Европу, едва ли слышавшие отголоски громов Маренго и Прейсиш-Эйлау, мало заботившиеся, что делают Питт, король Иосиф, Мюрат и прочие, теперь толкуют о Велингтоне, Шварценберге, как о своих соседях; женщины читают газеты и справляются с картою; дети играют в Кутузова и Раевского; девушки засыпают с мыслию о партизане Давыдове, о Платове, Витгенштейне, украшают их всеми совершенствами своих идеалов и влюбляются в их славу. Их молитвы и желания следуют за героями на поле славы и останавливаются подчас на воинах, ожидающих в городах исцеления от ран, чтоб лететь снова на брань. О, тогда была беда франкам, и долго после того не могли они возвыситься в глазах красавиц!

Точно то же самое было и на родине моей Кати: город

был наполнен приезжими, тем более что известное доволь-
но на дальнее расстояние от города искусство супруга Ве-
ры Максимовны заставляло многих предпочитать место
пребывания его прочим городам. Теперь улицы не были
пусты, и девушки охотно подходили к окну, чтоб следить
взорами белые и черные султаны. В один вечер, это было
в начале мая, когда на севере огни одной зари встречают
другую, солнце уже закатилось, и редкие звезды начина-
ли загораться в синеве; черные тучи залегли на востоке
и, мало-помалу поднимаясь, переходили в разных фанта-
стических формах по темному своду; в поле при умираю-
щем сиянии дня, как легкая дымка, волновался туман,
роса пала; и растения, освежась, наполняли воздух благо-
уханиями, как фимиамом благодарности, воссылаемым
тихому вечеру; душистая черемуха, яблоня, сирень прино-
сили ему общую дань свою, и все стихло, так что не трепе-
тал даже и листик молодой осины, и только иногда в смо-
родине малиновка, встревоженная на гнезде падением ли-
стка, с беспокойством встряхивала крылышками и снова
засыпала, спрятав носик в теплые перушки; да изредка в
клетке, обтянутой нитяною сеткою и привешенной под
кровлею, вавакал вполголоса спросонья перепел. Задумчи-
во опершись на балкон, Катя смотрела на восток; края
туч окаймились уже серебряною чертою: это месяц, но
ночь будет темная; тучи все более и более облекают небо.
Она посмотрела вдоль улицы, никого нет. Долго напротив
ее окон сидел на камне у ворот дома сосед, напевая за-
унывную песню; но давно уже Катя слышала, как стукну-
ло кольцо калитки; уж и их ворота заперты; все спит. От-
чего ж так сильно бьется ее сердце? Отчего этот румянец,
то вспыхивающий, как отдаленное зарево, то уступающий
место лилиям? Отчего этот трепет? Она посмотрела вниз с
балкона: в комнате отца ее не видно уже огня. Положив
руку на сердце и как бы желая удержать биение его, Катя
вошла в комнату свою; остановилась как бы в нерешимо-
сти; но вот она уже на лестнице; робко сходит по ступе-
ням, удерживает дыхание; она уже внизу; впросонках гор-
ничная поднялась с подушек и ворчит что-то невнятно;
Катя назад. Но она опять тихо опустилась на подушку,
шумное дыхание ее успокоивает Катю. Вот дверь в сени;
она обита кожею и войлоком; она шумит, шаркая о порог.
Катя положила руки на крючок; стоит, и мгновения ка-
жутся ей часами; ее страшит бой маятника и собственный
шорох; но вот соскочил крючочек, она в сенях. Дверь сно-
ва шумит: не слыхал ли кто? Нет, все тихо. Сенная дверь

уступает легче; Катя — с крыльца, на двор и пробирается около забору. Цепная собака бегает по корде, но она знает ее: Катя часто давала ей хлеба и костей. Барбос машет хвостом и молчит; Катя уже в саду, не чуя земли под собою, идет, и шорох листьев кажется ей погонею; страх отнимает у ней силы. Но вот уже близко калитка, ведущая на пруд. Что-то зашумело! Сердце ее замерло...

— Катя! Моя трусливая Катя!.. Можно ли так бояться?.. Разве ты не любишь меня?

— Ах, Мстислав, я так испугалась!

Она прижалась к груди молодого человека, не говоря ни слова: на вопрос его, может быть, она нашла лучший ответ.

— Но чего же ты боишься? Ночь темна, все спит. Кто увидит нас?

— Не того, Мстислав, мне страшно. Я не должна была бы приходить сюда.

— Это значит, ты не любишь меня! Предрассудок дороже для тебя, чем спокойствие твоего друга.

— Не сердись, Мстислав; ты видишь, я здесь. Какого доказательства еще хочешь ты?.. Подумай: это в первый раз!.. Я никогда не выходила ночью, мне было страшно.

— А теперь?

Не знаю, что отвечала Катя. Они сели в беседке из акаций и сирени; молодая девушка положила голову на плечо своего друга и смотрела на него глазами, в которых и следов не было ни страху, ни опасений, ни горя. Они были счастливы, как небожители, без примеси скорби, вечной тени всех радостей земных.

Для чего же так кратки вы, так недолговременны, минуты счастия истинной любви? Как светлый метеор, на мгновение озаряете вы темную ночь жизни; но ночью, в вышине, явится другой, еще огнистее, еще прекраснее, а вам нет возврата! Полюбит сердце вновь, но напрасно будет искать вас: радости другой любви, как тень погибшего друга, не возвращая, болезненно напоминают прошедшее и усугубляют тоску и жажду присутствия его.

Или сердце человеческое не могло бы вынести блаженства продолжительного? Или вы являетесь здесь, как вестники небес, чтоб открыть, что́ ждет нас в мире лучшем? Но что же жизнь после мгновенного блеска вашего? Кто захочет на землю, погостив в небесах! Или сердце для того только в юности узнает вас, чтоб оно не привыкало к радостям, недостойным себя? Чтоб, тщетно стараясь заменить вас, оно узнало, что лишь чистому душой дается

счастие, дар небесный, недоступный чувствам загрубелым в наслаждениях пошлых? О, так уверьте же, что в вечности снова найдем вас, и тогда — прости земля!.. без сожаления.

Подслушать ли разговор любовников? Передать ли вам бессмысленный для других, исполненный для них прелести неизъяснимой лепет сердца, с которым не сравнится никакое красноречие земное? Нет! Кто переведет гимн, которым приветствует соловей звезды в теплую летнюю ночь? Кто поймет шепот кудрявой ивы, склоненной к водам светлого пруда? Язык любви так же непонятен равнодушным. Если вы любили, вы знаете, что никакая мелодия, никакая поэзия не сравнится с прелестью, которую находит сердце в голосе, в словах самых ничтожных милого существа; оно слушает лепет голоса, слушает взоры: все красноречиво в нем, все понятно; любовь освобождает душу от земных оболочек, и они говорят, как ангелы, мыслию.

Катя увидела в первый раз графа Мстислава С*** в доме Веры Максимовны. Воспитанный в Германии, он возвратился в отечество, когда враг был на рубеже родины. С первой битвы принесли его полумертвым к отцу, которого имение находилось недалеко от поля сражения. При блеске пожаров они бежали, останавливаясь, сколько требовало положение раненого, пока наконец достигли богатого поместья старого графа в уезде городка, где жила Катя. Необходимость в помощи доктора заставила их переселиться в город; скоро слух о молодом графе всполошил не одно женское самолюбие; прогулки мимо квартиры его сделались частыми, и когда в первый раз в окне комнаты приметили бледное, прекрасное лицо молодого человека, рассказам не стало конца; граф вскружил головы всех, не исключая и Веры Максимовны, которая не переставала мучить супруга своего расспросами: «Ну что граф? Каков он? Хорош ли? Любезен ли? Приветлив ли?» И не прежде успокоилась, как получив обещание, что он будет у нее.

В давно желанное утро Катя, совсем нечаянно, пришла к Вере Максимовне,— совсем нечаянно,— не зная ничего и даже не понимая, отчего так недовольны ее приходом. От нее скрывали счастливое событие, которого так ждали. Катя, добрая Катя, пришла и все похитила без ведома своего. Увидя ангельское личико пятнадцатилетней девушки между этими странными физиономиями, на которых радость, почтение к сиятельству и досада на нежданный приход хорошенькой гостьи изображались самым разительным образом, граф забыл и хозяйку, и дочек ее, не

взглянул на серебряный судок с графинами, наполненными наилучшею водкою и поставленными между множеством закусок, и все внимание свое обратил на Катю. Перед ним осуществился идеал его. Наконец он нашел красоту, он понял красоту, может быть, потому, что понял любовь. В подобном случае кто отличит причину от действия?

А Катя? Нет, она не влюбилась в графа, но взоры его смутили ее; самолюбие шептало ей: «Для чего он смотрел на тебя так долго?» Целый день оно, как злой демон, не давало ей покою; она засыпала, а оно все еще шептало ей в ухо: «Смотрел!» Утро прогнало демона. Не думая нимало о графе, она встала и вышла на балкон: солнце обливало ярким светом всю природу; она взглянула вниз: он стоял там, внизу, поодаль от отца, который разговаривал с доктором! Он опирался на саблю и смотрел — на нее! Лицо его было бледно, выразительно и так полно чувства...

На другой день вечером Катя разливала чай; отец в другой комнате говорил с гостем и курил, по обыкновению, трубку, как вдруг она услышала его голос. Он был уже в гостиной. Ну, скажите, бога ради, как тут было не влюбиться, хотя бы и не провинциалке! Правда, он был граф, богат, знатен; но что ей до этого! Она вспомнила об этом тогда только, как однажды вечером, когда отец вышел зачем-то из комнаты, Катя наклонилась к горшку с резедою, чтоб впивать ближе запах цветка,— он также,— и так близко, так близко... что... Совесть сказала ей после, будто он поцеловал ее; да еще приговорила: «Он граф, он не женится на тебе!» А Катя отвечала: «Что мне до того? Как Луиза, умру для своего Фердинанда». Беда, беда провинциалкам читать Шиллеров! Не доведут они до добра.

Теперь она была с ним в саду, но это было в первый раз. О, поверьте, в первый раз! Первая любовь, как первые шаги дитяти, робка и медлительна; в старости мы возвращаемся к младенчеству и опять становимся детьми, и любимая женщина играет нами, как игрушкою; только в зрелом возрасте, когда человек умеет господствовать над страстями и понимает свет, он умеет любить и наслаждается.

Мстислав был дитя в любви; он любил в первый раз. Он не знал ни света, ни жизни; до сих пор жил он поэзиею и мечтами. В невежестве сердца он не понимал, что может быть общего между его графским титлом и женитьбою; не понимал, что счастие и женитьба по любви суть не всегда тожественные понятия, просил согласия отца и, разумеется, получил отказ. Но препятствия не устрашают любви:

он уговорил свою милую прийти на свидание, чтоб убедить ее бежать.

— О, никогда, никогда! Мне ли оставить батюшку? Мне ли огорчить его?— говорила Катя.

— Но батюшка твой любит тебя? Он не одобрил бы побега, но он простит; для него твое счастие дороже всего.

— А наутро, когда он придет в комнату мою и не найдет меня? Когда узнает, что я бежала, оставила его, покрыла его стыдом?.. О нет, нет! Он не перенесет этого.

— Так я уеду один?— сказал Мстислав, опуская руку ее.— И это любовь, любовь?..

Она плакала, закрыв лицо руками.

— Нет, ты не оставишь меня, Катя! Это невозможно! Матушка твоя с небес слышала обеты наши: она благословила нас, ты — моя, Катя; ты не захочешь смерти моей. Я не перенесу твоего отказа. Пусть отец не прощает меня; мы будем жить в бедности далеко от света: что до него тому, кто счастлив и без него? Решись, Катя!.. Посмотри, на востоке уже светлеет; нам остается не много минут... Ты едешь со мною, едешь? Не правда ли?

Он обнял ее, но голова его упала на грудь; бледность покрыла щеки; он склонился на колени ее без чувств, без жизни.

Силы его, еще не совсем возвратившиеся после долгой болезни, не могли вынести душевного волнения...

В ужасе, в отчаянии она призывала на помощь небо, всю природу; она позвала бы самого старого графа, если б увидела его.

Чему ж дивиться, если она приветствовала возвращение его к жизни словами: «Я еду!»

Глава VII

> Vater, hier ist deine Tochter wieder — Verzeihung, Vater! Dein Kind kann ja nicht dafür, dass dieser Traum so schön war, und — so fürchterlich jetzt das Erwachen.
>
> *Schiller**

На другой день Амичев возвратился домой позднее обыкновенного. «Вы что-то пасмурны, батюшка?» — спро-

---

* Отец! Дочь твоя снова с тобой... Прости меня, отец!
Твое дитя не виновато, что сон был так прекрасен...
и так ужасно теперь пробуждение...
Шиллер (нем.). («Коварство и любовь», акт 2, сцена 5, перевод Н. Любимова)

сила Катя, смотря с беспокойством в глаза старику. «Я был у графа,— отвечал он отрывисто,— он проводил сына».— «И... граф грустен?» — «Да; он единственный сын его.— Он вздохнул из глубины души.— Тяжело, Катя, расставаться с единственною, может быть, надеждою жизни нашей.— Амичев ходил по комнате: видно было, что душа его была глубоко тронута сценою, которой был свидетелем.— Что, если б мне было надобно расстаться с тобою, моя Катя,— продолжал он, подойдя к дочери и прижав головку ее к своей груди,— не скоро отучилось бы сердце от твоего присутствия! Ах, дети, дети, если б вы знали, сколько вы дороги нам, особенно на старости, когда уже не смеем считать жизни даже и годами!» Слеза блеснула на реснице старика; он сел у окна и посадил возле себя Катю. Между тем ночь темнела; в городе все стихло; но в поле, за огородами, тихо пробирался человек верхом, ведя в поводу другую лошадь. Конь, как бы понимая желание всадника, ступал бережно по зеленому лугу, и трава, сминаясь под стальною подковою, мягким ковром расстилалась по земле, чтоб нескромное ухо не подслушало глухого топота. Всадник остановился на берегу пруда, оглянулся во все стороны, соскочил с лошади и повел обеих лошадей берегом к забору сада, которого кудрявые вершины рисовались черной тенью в покойных водах. Остановясь у калитки, он привязал лошадей и, казалось, прислушивался; по всем движениям его было заметно нетерпеливое ожидание, возраставшее с каждою минутою. Он то взбирался на дощатый забор и смотрел в глубь сада, то бросался к лошадям при малейшем движении их, то шел скорыми шагами вдоль по берегу и останавливался как вкопанный, когда шум шагов его будил сторожевого гуся, который, стоя на одной лапочке, дремал, между тем как желтобокая семья его покоилась на мураве около матери. Уж и поздний месяц стал так высоко, что луч его заиграл серебряною чешуею на темной поверхности пруда. Это было условленным знаком. «Когда светлая струйка пробежит по воде, а меня не будет, приди к моему балкону,— сказала Катя,— там ты увидишь, не отец ли задержал меня, если еще видно движение в доме». И граф стоял под балконом, но в окнах было темно, и дверь на балкон отворена. Легкая белая тень показалась на пороге, она приблизилась к перилам; движения ее нерешительны; кажется, она колеблется; но вот она махнула рукой и скрылась. Что-то упало к ногам графа; он наклонился. Это была записка и золотое кольцо, привязанные к камешку! «Что значит это? Стало быть, она изме-

нила своему слову?.. Она не выйдет: зачем же иначе было бы ей писать?» Дверь в комнату затворилась, но ему кажется, как будто что-то белое прислонилось к стеклу окна на правой стороне балкона. Но это обман воображения, может быть, отблеск занимающейся зари. Через несколько минут густое облако пыли на большой дороге означало след всадника, быстро скачущего; скоро он совсем скрылся в темной дали.

Против небольшого крестьянского постоялого двора, на самом краю деревни, верстах в шести от города, стояла почтовая коляска; ямщик ходил около лошадей, поправлял шлею на пристяжной, приголубливал коренную или концом хлыстика сгонял докучливый овод, который вился над лошадьми, то впиваясь в серку, то кусая пеганку, и пеганка трясла гривою при каждом повороте головы, звеня почтовым колокольчиком, привязанным к дышлу. Человек в военной шинели, с трубкой во рту, сидел на скамье у ворот избы и беспечно смотрел на картину пробуждающейся жизни; солнце только что показывалось на краю горизонта; несколько поодаль, прислонясь к толстому пню старой ивы, стоял молодой офицер; он читал:

«Прости меня, Мстислав! Это невозможно! О, не подумай, чтоб я мало любила тебя! Нет, бог видит сердце мое; может быть, я не вынесу разлуки с тобою; но я не могу оставлять батюшки.

Я была готова следовать за тобою; и теперь вот подле меня лежит мой узелок; на мне еще образ, которым благословила меня матушка; я надела его после молитвы, с которою оставляла мою комнату; я хотела идти, несмотря на внутренний голос, говоривший мне: «Останься!» О, верь мне, ни долг, ни рассудок, ни мнение света не поколебали бы меня! Я умела бы забыть свет, победить то, что ты называешь предрассудком; но я бессильна против голоса сердца: оно напоминает мне батюшку, любовь его, доверенность, мое детство, столь счастливое любовию его. О, если б я могла в воспоминании моем найти что-нибудь, чем могла бы упрекнуть его, на что могла бы жаловаться, как другие дети! Но нет; везде одно снисхождение, одна любовь, беспредельная любовь! Другим, может быть, нетрудно было бы решиться; мне невозможно.

С трепетом шла я мимо комнаты батюшки; дверь была вполовину отворена; он еще не спал: наклонясь к столику, он что-то писал; зеркало передало мне его покойное, доброе лицо. Я припомнила, как сегодня еще он называл меня своею единственною радостью... «Что был бы я без тебя,

моя Катя?» — говорил он. Эти слова еще отзываются в душе моей; видно, предчувствие томило батюшку: когда он прощался со мною, он был грустен, и слеза не раз навертывалась на глазах его... подумай, слеза, и от меня! Не сетуй на меня, мой милый, сокровище, жизнь моя! Я должна была выбирать между им и тобою! О, прости мне, господь!.. Может быть, более люблю... тебя; но если пожертвую тебе батюшкою, жертва будет небескорыстна, потому что только с тобою жизнь мила мне; избирая же батюшку, я жертвую совершенно собою... Ты забудешь меня, о нет! Ты не перестанешь любить меня: мы свидимся с тобою; каждым утром, каждым вечером буду ждать тебя, твоего возврата! Бог соединит нас! Мы не могли прогневить его любовью нашею. Если ж счастие невозможно здесь, там ждет оно нас. О, милый, не изменись! Пройдут годы, я все буду ждать тебя! Не удаляйся же с чувством неприязненным. Дай мне знак, что сердце твое прощает мне; оставь мне цветок, засохшую ветку; скажи мне, что ты любишь еще твою Катю».

Глава VIII

Que fait-il donc, celui que ma douleur attend?

*Alfred de Vigny**

Напиши хоть, что забыл уж ты меня!

Русская песня

Время летит в столице, как и в уездном городе, в веселье, как и в однообразной жизни; в последней, кажется, еще скорее: годы проходят невидимкою; оглянешься назад — много дней! — но они не отличаются ничем один от другого, и воображение скользит, не находя приметы, где бы остановиться. Жизнь провинциала как дорожка, вьющаяся между полей в плоских равнинах Пензенской или Саратовской губернии; утомленный единообразием путник идет, и взор его напрасно вдали ищет нового: все одно и то же! Он спускается под изволок; вот взойдет на холм: там откроется ему долина, думает он, с перелесками, рощами, селами, деревушками или светлое озеро с окрыленными сводами, или синие горы, леса; он удваивает шаги; взбирается на холм: снова необозримая, гладкая, как поверхность моря, равнина, покрытая нивами, которых волны при малейшем дуновении ветерка переливаются в си-

* Что же делает тот, кого ждет мое скорбное сердце?

Альфред де Виньи (фр.)

вых и зеленоватых отливах, сливаясь вдали с синевой небесной. Но в этой однообразной картине есть жизнь, прелесть; наливающий колос и голубой василек между стройными стволами говорят о тайной деятельности природы; целый мир насекомых жужжит между цветами; духи, покровители полей, играют на востоке, блистая по вечерам резвыми зарницами, и поселянин радуется, предрекая счастливый цвет. Так и в жизни провинциала, если дни его и бедны происшествиями, зато они обильны чувствами; там чувство глубже, религиознее, где оно более сосредоточено, и, если светского жителя можно упрекнуть иногда за легкость чувствований, провинциалка грешит их излишеством и напыщенностью; там Раисы Савичны не в диковинку. Я говорю о провинциалках, потому что в уездных городах мужчины заняты службою, последним указом, приездом губернатора, доносами и ответами на вопросные пункты и прочая, и прочая. Кто не служит, у тех карты, охота, праздники и часто расчеты по векселям отнимают все время, и потому, право, им некогда заниматься чувствами; сердце, со всем прибором своим, не по их ведомству; это совсем особая статья, которая не входит ни в настольный реестр, ни в устав о банкрутстве. Иван Алексеевич наш делал исключение; но Катя — ах! — Катя была истинною провинциалкою. Внешняя жизнь ее была как те глубокие ручьи, которых поверхность покойна и тиха, между тем как воды кипят на дне, раздробляясь о камни и унося с собою разноцветные пески. Ничто не переменилось для нее по наружности: она так же работала за пяльцами, так же ходила об руку с отцом в поле, слушая его рассказы и иногда думая совсем о другом, всегда ласковая и внимательная к старику; так же рисовала узоры для Веры Максимовны, прятала остатки обеда для бедных; но сердце ее было уже не то: она не пела больше веселым жаворонком; задумчиво сидела на балконе и утренней и вечерней зарей смотрела в поле и спрашивала облака, не видали ли они мимоходом единственного предмета всех дум, всех мечтаний ее. И часто казалось ей, что мимолетное облако несет ей привет ее друга или сердечное послание его, и она любовалась им до тех пор, пока прихотливый ветер не разнесет его по синеве легкою тканью; по целым часам просиживала она в беседке из акаций или на берегу светлого пруда, где некогда гуляла с ним: там брошенный цветок становился ее оракулом. Доплывал ли он до назначенной цели, она весело смотрела на небо, складывая руки на груди, и говорила: «Возвратится!» Относил ли ветер в другую

сторону листок, она вздыхала и потом долго плакала под окном, и слезы ее, как роса на цветы, падали никем не видимые на грудь ее.

Так летели дни; ополчение возвратилось; начались отпуски; то в то семейство, то в другое приедет гость: к ней никто не приезжает!.. Напрасно смотрит она вдаль, напрасно сердце ее бьется при звуке колокольчика: никого нет! Розы поблекли на щеках ее. Она видимо худела, сохла. Старушка няня говорила: «С глазу!» Но напрасно вечером, когда Катя, задумавшись, сложа руки на коленях, сидела на постели, распустив темно-русую косу свою по белым плечам, долго качала головою старушка, печально смотрела на нее и наконец робко подходила и, подгорюнясь, начинала уговаривать: «Умойся, матушка! Дай-ка с уголька, господи благослови! Все пройдет, матерь божия! Видишь, какая причина! Не спросту, дитя, не спросту!» Катя улыбалась и откладывала до завтра. К ней являлись женихи; окрестные помещики, молодые чиновники, богатые купцы засылали свах; один ответ: «Батюшка, я не хочу замуж!» Старик вздыхал и качал головою. Не знал ли он чего о тайной причине этих отказов? Бог ведает! У стариков глаза зорки, а думы темны: не выведаешь. Молодость говорит, прежде чем изведает хорошенько, что вскользь приметит; старик знает и молчит, глубоко чувствует и молчит; опыт, изощряя умственный взор его, облекает душу его покровом непроницаемым; может быть, Амичев и подозревал причину грусти Кати, но молчал. Доктор говорил, что она больна, давал микстуры и декокты; соседки толковали, что на нее напущено; Вера Максимовна говорила: «Да ей-то декохты и не помогут! Не залетать бы высоко!» Старик видел все и не мог скрывать своего беспокойства. Катя говорила: «Я здорова, батюшка!» — и слеза навертывалась на глазах старика, и он начинал насвистывать «У Троицы у Сергия...» и проч. и ходил скорыми шагами по столовой, сложа руки за спиною. Катя упрекала себя в его грусти, прибегала, обнимала его; но все было напрасно: он замечал тоску в глазах ее, и веселость без возврата покинула тихий кров его.

В городе много толковали о видимой перемене Кати; недобрые языки и завистники бог знает что придумывали. Защитницею Кати была одна пожилая девушка, помещица довольно значительного имения верстах в двадцати от города. Простите, что я войду в некоторые необходимые подробности, чтоб познакомить вас с нею: она очень любила мою Катю, вот, может быть, почему она кажется мне за-

нимательною. Надежда Карповна в обществе была то же, что полипы, амфибии и обезьяны в животном царстве, где служат они связями разнородных звеньев творения. По рождению своему, по родству и связям она принадлежала к высшему обществу, но по воспитанию, образу жизни и мыслей ее бесспорно можно было причислить к любому провинциальному. Она осталась сиротою еще в детстве, и между тем как брат и сестра ее, взятые богатыми родственниками в столицу, получали воспитание, приличное состоянию их, она жила у старой бабушки во всей простоте деревенской жизни, возрастая как дочь природы и столь же искренная, сколь искренная она, что, однако же, сделало из нее впоследствии порядочную болтунью. Как состояние, доставшееся после отца, было невелико, то женихи по сердцу не являлись; когда же по смерти брата она оказалась половинною наследницею бабушкина имения, то есть что на свою долю могла иметь душ шестьсот, женихи явились; но пожилая дева не расположена была идти в приданое за своим имением. «Мое Знаменское прежестокое,— говорила она обыкновенно,— его вздохами не умилостивишь; а я что же тут? Я только приданое и должна разделять его участь». Холодность или рассудительность были тому причиною, но Надежда Карповна нимало не скучала своим одиночеством, не была ни сердита, ни чересчур богомольна, не любила сплетней и ссорилась только с одним Харитонычем, своим приказчиком, которого, как думала она, держала в струне, между тем как Харитоныч кланялся ей, не выходил ни на волос из барской воли, говорил непрестанно: «Слушаю-с, слушаю-с!» — и набивал себе потихоньку карманы. Сестра ее вышла замуж за Ильменева, молодого генерала, который получил тысячу душ от покойного императора Павла. Но недолго с ним жила. Надежда Карповна после смерти сестры, по изустной просьбе ее, оставила имение зятю, нимало не думая, что сделала что-нибудь важное. Что не трудно, что свойственно нам, то не кажется стоящим особенного внимания: прекрасные души делают прекрасное, как пчелы мед, как шелковый червь драгоценную нить свою; сделанным добром хвалится только тот, кому оно несвойственно. Да и куда же ей было хлопотать да делиться! Ей и так было хорошо! У нее были к чаю густые сливки с румяными пенками, к завтраку ватрушки, сдобные, пухлые,— так и рассыпаются; ветчина домашняя — объеденье! А летом к обеду — что за ботвинья с свежепросольной осетриной! Что за уха из стерлядей!— при ней из воды вынуты животрепещущи-

ми! Все до одной горничные заняты обираньем и чищеньем ягод; сама она с своею ключницею Акулиною, сверстницею и поверенною ее, варит варенье на двух жаровнях, а молодые горничные машут над ними березовыми ветвями, навевая прохладу и отгоняя пчел, привлекаемых запахом варенья. Харитоныч каждый год отвозил по нескольку банок исправнице и доктору, «своих-де трудов», и Вера Максимовна никогда не могла нахвалиться пастилами и вареньями Надежды Карповны.

Старая дева никогда и ничего не читала; никогда не мечтала, разве в Страстную неделю о сдобных куличах. Любимым занятием ее был пасьянс, отрадою — в полдень лежать на диване, между тем как горничные машут над ней березками, а зимою трут ноги и карлица сказывает сказки. Главною страстию ее были — хорошенькие лица: горничные ее все были чуть-чуть не красавицы, между тем как она сама... но она не знала действия противоположностей. Я думаю, что Надежда Карповна имела в душе большое расположение к изящным искусствам, но как она никогда не видала образцов их, то это расположение оставалось бесплодным. Оно проявлялось у нее во всем. Она любила цветы, заслушивалась прекрасного голоса и всякую среду и пятницу в великий пост непременно приезжала в город к обедне в женский монастырь, где в три голоса чрезвычайно хорошо пели «Да исправится» Бортнянского.

Одно изменяло этому вкусу к изящному: она любила страстно мопса, безобразнейшего из целой мосечьей породы: но что делать! совершенного нет в этом мире. Надежда Карповна не могла быть изъятою из общего закона.

Давно уже прекрасная казначейская дочка обратила на себя внимание Надежды Карповны: она любила ее всею душою; защищала ее от всех наветов и никогда не хотела верить, чтоб Катя могла быть влюблена в графа: не потому, чтобы она почитала ее слишком благоразумною для этого, а так просто, не хотела верить. Будто на все надобны причины? Хочу! — и блажен, кто этим словом решает все затруднения. Как многим пришлось бы не совсем выгодно, если б они были обязаны отдавать отчет в причинах своих действий! Так хочу! Прекрасно! Причины могут быть хороши и дурны; кто отгадает их? Прекрасное слово! Ты всего невиннее в устах женщины; ты означаешь тогда — только отсутствие привычки размышлять, как, например, в устах Надежды Карповны. Но у других?..

В один осенний вечер несколько человек гостей собралось у Веры Максимовны. Надежда Карповна, Амичев с

дочерью и еще одна дама, недавно приехавшая из Москвы, были там же. В уездных городах внутреннее расположение комнат одинаково почти во всех домах людей зажиточных, людей высшего круга, людей, которые имеют экипаж и колонны по переднему фасаду. Дом непременно разделяется коридором на две половины: в первой столовая, гостиная и спальная, во второй несколько небольших комнат рядом, без сообщения одна с другою, и каждая дверями в коридор, как монастырские кельи. В гостиной всегда два окна и посередине дверь на балкон или три окна без балкона: это оставляется на благоусмотрение хозяина; на противоположной стороне большой диван, маленькие по обеим боковым стенам между печкою и дверями. Перед каждым диваном стол и зеркала на середней стене. В гостиной Веры Максимовны вместо зеркала стена была украшена гравированными портретами всех генералов 12-го года, боковые же сражениями при Красном, при Бородине и проч.; этого требовал патриотизм тогдашнего времени. На одном из боковых столов играли в бостон; середний, перед большим диваном, уставлен был множеством блюдечек с вареньями, орехами и пастилами. Вера Максимовна вязала чулок, чего не позволили бы себе другие хозяйки: но гости ее были из коротких, и потому она, не оставляя работы, занималась ими. Из столовой слышался громкий смех девиц, которых белые платья мелькали часто в отворенную дверь. Доктор с Амичевым ходили взад и вперед по холсту, разложенному от одной двери к другой.

— Ведь это ваше варенье, Надежда Карповна, покушайте-ка, матушка; вашим же добром да вам же челом,— говорила хозяйка, подвигая блюдечка и с вареньем.

— Благодарю покорно, Вера Максимовна: когда есть орехи, я ни за что не возьмусь. Беда, что зубы плохи.

— Ах, матушка! Щипчики есть; не угодно ли?

— Вот это дело другое.

— А вы, Варвара Петровна? В Москве не подают варенья, как у нас, да мы все попросту. Вы отвыкли, я думаю-с.

— Ах, помилуйте, Вера Максимовна! Мне странно только-с, как моды долго не доходят сюда!

— Что лифы стали носить несколько длиннее, перемена невелика!— сказала Вера Максимовна, поглядывая искоса на платье Варвары Петровны.

— Я обещала выкройку вашей Анне Андреевне, Вера Максимовна, и непременно пришлю-с.

— Я в это не вступаюсь, матушка,— сказала Вера Мак-

симовна покраснев.— Да, кажется, Аннушке прислали недавно что-то из Москвы?

В это время девицы вошли в комнату.

— Нет, маменька! Это совсем другой фасон! Сделайте милость, Варвара Петровна!

Вера Максимовна кивала головою; Аннушка поняла ее, покраснела и не знала, что говорить. Варвара Петровна наслаждалась в душе досадою Веры Максимовны. Есть люди, которым несноснее всего в мире признать чужое превосходство в чем бы то ни было. А здесь дело шло не о безделице! Варвара Петровна, ссужая модами, показывала, что она шла наряду с веком, тогда как другие отстали от него так далеко. Каково было Вере Максимовне быть униженной перед женщиною, которая по всему была ниже ее! Поздравляю вас, если вы не поймете подобного чувства! Сердце ваше не подточено завистью.

Вере Максимовне нужно было переменить разговор.

— Вы видели многих старинных ваших знакомых в Москве, Варвара Петровна?

— Я была в первый раз в Москве-с; у меня старинных знакомых там нет. Однако позвольте: точно, я встретила одного старого знакомого...

— Кого же? (Подозревают, что Вера Максимовна знала ответ.)

— Графа Мстислава Валерьяновича, который, помните, лечился здесь.

— А!.. Ну что, переменился он?

— Очень-с. Так стал хорош; к нему так идут усы! Он очень возмужал, прелесть! Совсем другой.

— А он узнал вас?

— Э, где же-с!.. Я видела его только в театре; он был в ложе против нас. Я была в первом же ярусе. Он был с дамами.

— Вот-с!.. Не женился ли он?

— О, нет! (Катя отдохнула.) Он совсем и не думает о женитьбе. Отец его умер, он совершенно свободен, богат: только, говорят, позадолжал, сорит деньгами, карета не карета, мундир не мундир. Дамы, говорят, его на руках носят-с!

— Так где же ему вспомнить наших провинциалок!

— Подумайте! Я видела его с какой-то прекрасной дамой: он сидел подле нее... нет-с, позади ее; и так близко наклонялся к ее плечу, а она все оборачивалась!.. к нему; и когда обернется, локоны ее почти били его по лицу. Ну,

если б это было у нас, ах, чего бы не наговорили!.. Какое обращение в Москве! Ах, это рай, Москва! Ни пересудов, ни сплетней; свобода; не замечают каждого шагу вашего. Здесь выедешь со двора, всякий знает, где была... ну весь город! А там целый день ездишь, никто и не спросит и не подумает ничего. Ах!..

— Ах!.. А театр-то, Варвара Петровна, чудо?— сказала Аннушка, воспламеняясь и пожирая глазами уста Варвары Петровны, из которых лились восклицания.

— Ах!.. Мочалов!

— Ах!.. Год жизни отдала бы, чтоб видеть его.

— Ты всегда вздор говоришь, Аннушка!— сказала Вера Максимовна.— Ты, кажется, по всему можешь надеяться видеть его.

— Ах, маменька!

— Так граф там с прекрасными дамами!.. и не думает!..

В эту минуту Иван Алексеевич, который уже несколько минут тихонько говорил с Надеждою Карповною, облокотясь на спинку ее кресел, подозвал Катю, и все вместе отошли к окну. Катя поспешно оставила руку Аннушки, как бы избавясь пытки.

— Катя!— сказал Амичев.— Надежда Карповна по делам своим едет на днях в Москву; она предлагает тебе ехать с нею.

— Но, батюшка, я не знаю...

— Я буду очень счастлива, Катерина Ивановна...

— Для твоего здоровья, Катя, я желал бы, чтоб ты ехала.

— Как же оставить вас, батюшка! Я, право, совсем...

— Здорова?.. Я знаю это. Но я прошу тебя, чтоб ты ехала, для моего спокойствия, Катя, для меня! Ты поговоришь там с докторами, рассеешься... я желал бы этого, Катя!

Этого было уже довольно для Кати. Надежда Карповна была вне себя от радости: ее любимица, ее прекрасная Катя едет с нею! Сколько теперь хлопот Акулине! Надобно сказать Харитонычу; но наперед она сообщила свою радость всему обществу. Вера Максимовна слегка покраснела и закусила губы.

— Вы увидите там вашего знакомого, Катерина Ивановна, граф там.

— Где же встретить его в большом городе-с!

— Ах, матушка, он был так короток у вас в доме! Уж, верно, отыщет вас.

— Ах, счастливица! Ты едешь в Москву!.. Счастливица!— кричали девушки, может быть, не без зависти (по крайней мере эта зависть не имела ничего горького, недоброжелательного; так казалось, может быть: в молодости неприязненные чувствования редко бывают глубоки. Это еще один зародыш, который развивается с годами).

Между тем в доме Надежды Карповны начались хлопоты. Все горничные, повара, мастеровые — в работе; из сарая вывезен бабушкин дорожный возок; его чинят, чистят; готовят шубы, одевают лакеев. Надежда Карповна приказывает приготовить на дорогу побольше пирогов, жареных кур, варенья: «С нами едет чужая барышня: знаешь, Акулина, эта хорошенькая? Побольше нам сухих вишен! Путь не ближний: шутка ли, с лишком пятьсот верст будет!»

И Катя собиралась. Ей было грустно расстаться с отцом, оставить свою маленькую горенку, свои мечты, свою привычную грусть. Что ждет ее там? Увидит ли она *его?* Любит ли он еще?.. Прошло пять лет, с тех пор как они расстались; Катя ничего не слыхала о нем, да он и не мог писать. Нет, он не забыл ее! Ведь она не изменилась же? Почему ж и ему не сохранить чувства, которое делало его столько счастливым? Так! Он еще любит ее! Но эта уверенность сопровождалась какою-то грустию; сомнение против воли закрадывалось в душу ее. Ах, ей было уже не пятнадцать лет! А время — враг доверчивости в юном сердце; с каждым днем уносит оно что-нибудь с собою, пока не исчезнет вся надежда, оставляя по себе уныние и безрадостное равнодушие.

Надежда Карповна ехала в Москву, надеясь встретить там зятя, генерала Ильменева, который возвращался из-за границы с остававшимися там войсками; желание ее исполнилось, он возвратился поседевший, но увенчанный лаврами. Седины под лавром не беда: говорят, что этот чудотворный лист, как и золото, имеет дар делать их в глазах красавиц любезнее самых черных кудрей; и генерал, хоть и седой, мог еще нравиться. Надежда Карповна, отдыхая на диване, составляла планы... Говорить ли об них? Зачем же, когда Надежда Карповна не говорила об них даже и своей Акулине?

Глава IX

Les chimères, qu'enfin mes mains croyent toucher,
Maintenant sont absentes;
Et je dis au bonheur ce que dit le nocher
Aux rives décroissantes.

*V. Hugo**

Видела ли Катя своего Мстислава? Какое впечатление произвели на двух провинциалок чудеса столицы? На последний вопрос я не могу отвечать удовлетворительно; знаю только, что Надежда Карповна, несмотря на равнодушие к нарядам, растаяла от восторга на Кузнецком Мосту и купила пунцовый берет, а Катя, моя задумчивая Катя, в Английском магазине впервые после шестилетней разлуки забыла привычную грусть свою. Но видела ли она Мстислава? О, это я знаю! Видела: но как!..

На Большом театре давали оперу «Волшебный стрелок»; она была еще внове, и Москва стекалась наслаждаться гармоническими мотивами Вебера. Надежда Карповна взяла ложу и отправилась в своем дорожном возке и на своих лошадях. С нею была Катя и кузина с двумя взрослыми дочерьми. Но как «Волшебный стрелок» славился великолепным спектаклем, то Надежда Карповна уговорила свою кузину взять еще и меньших двух дочерей. Ложа в первом ярусе, не в бельэтаже: что тут дурного! Их будет только пять, да две девочки; это не много. Надежду Карповну одели по моде; на нее надели вышереченный пунцовый берет, короткую шею прикрыли борочком, величиною как на портретах Рубенса,— это был вкус Надежды Карповны; закутали ее в турецкую шаль, и все это составило очень замечательное явление, особливо если вообразите, что между борочком и беретом сияло круглое, полное, румяное, как месяц на всходе, лицо, покрытое каким-то странным лоском и с вечною улыбкою. Доброта души, которая ясно выражалась в серых глазах ее, конечно, искупала дурноту; но кто станет думать о дурноте при блеске лица и берета? Ночь была темная, холодная; звезды сверкали яснее обыкновенного; снег скрипел под полозьями; и во всю дорогу Надежда Карповна смотрела сквозь оттаявшее окно на извозчиков, кучеров и пешеходов, которых бороды,

---

* Химеры явятся на миг порой полночной
И пропадут во мгле;
Я счастью говорю то, что сказал бы кормчий
Покинутой земле.

В. Гюго (фр.) (перевод В. Андреева)

напудренные морозом, белелись при блеске фонарей, и упрекала себя, как ей вздумалось ехать в театр в такой мороз. «Что будет с Филькою?— говорила она.— Уши отморозит! У нас хоть бы с козел сошел да погрелся, а здесь, пожалуй, и ковер из возка стянут, да и лошадей еще уведут. Что будешь делать!» — «Да ведь он не один, кузина, что вы беспокоитесь».— «Ах, матушка! Вашим знатным лишь бы веселиться, а там по них хоть трава не расти! У них же кучера все наемные, что им? А Филька-то у меня крепостной, да и малый-то золото! Еще с бабушкой покойной ездил!» Между тем вот они уже у подъезда; началась выгрузка; перетаскали на руках детей, повынимали дам, наконец вышла и Надежда Карповна. На крыльце стояли несколько офицеров и с любопытством смотрели на шестиместный памятник древности, из которого выгружалось целое семейство. Надежда Карповна, не обращая ни на кого внимания, остановилась, и начался разговор с Филькою: «Да подвяжи щеки-то, Филька! Есть ли у тебя платок? Экой грех! Уши отморозишь! Понесло меня в театр в такой мороз! Да нельзя ли тебе хоть бы в возок-то сесть, пока мы будем там? Ну, Ванька в коридоре, ему сполагоря!» Напрасно Катя дергает ее за полу салопа: что ей до кого? Бедный старик Филька отморозит лицо! Наконец вошли; конечно, наряд и количество особ, занимавших № 5 первого яруса, обратили несколько внимание зрителей; но в Москве подобное явление не в диковинку, к тому же занавес поднялся, и спектакль овладел общим вниманием так, что и сама Надежда Карповна, содрогаясь от ужаса каждый раз, как подземные духи повторяли число вылитых пуль, забыла и о Фильке и о морозе.

Напрасно Катя обегала беспокойным взором ряды лож и кресел: там эполеты, там белый султан, там бобровый воротник; вот, кажется, темные волосы, кудрявые; белый высокий лоб... Нет, нет, не он! Совсем не он! Вот его талия: боже!.. Обернулся: опять не он!.. Ах, что тяжелее обманутого ожидания! Но вот спектакль кончился; по лестницам, по коридорам зашумели толпы; султаны, шляпки, шинели, плащи запестрели в сенях; говор, смех, шум шагов, звон шпор; все смешалось; около стен, по ступеням, собираются группами знакомые, критикуют актеров, восхищаются музыкою; между тем громкий голос жандарма раздается на подъезде, и по временам две, три дамы рассекают толпу, спеша к дверям. В это время наши провинциалки стояли, прижавшись к стене, возле самых дверей, и Надежда Карповна с беспокойством бросалась от стекла к стеклу, крича

«Ваньку!» так громко, что обратила на себя всеобщее внимание; ей показалось, что Ванька зевает на подъезде, между тем как он должен был по ее приказанию отыскивать Фильку. Встревоженная Катя уговаривает ее, просит и краснеет, как роза. Вдруг... знакомый голос поразил слух ее... Она обернулась, мимо их проходило несколько офицеров, и один... Нет, глаза ее не обманывают! Она забыла Надежду Карповну и Ваньку: это он! Он увидит, подойдет!.. Ах, любит ли он ее еще? Но он останавливается подле каких-то дам. С какою приветливою улыбкою раскланивается он с ними! А они?.. Особенно одна, как ласково смотрит она! Черные глаза ее блестят удовольствием!.. О, как сжалось сердце Кати! Незнакомка хороша; черный соболь прекрасно оттеняет белизну лица ее; как она непринужденно говорит! Боже мой! Но вот она побежала за ливрейным лакеем... Мстислав идет далее... на ее сторону... Вот он подходит, рассеянно смотрит в двойной лорнет, взор его остановился на ней... Боже мой, он идет к ней... Все забыто! О мой Мстислав!..

— Как! Это вы? Здесь? Скажите ради бога! А я вас совсем было не узнал. Вы так выросли, похорошели, Катерина Ивановна!

— Мы давно не видались, граф.

— Право, вы удивительно переменились в вашу пользу! Как я рад вас видеть! Мы расстались почти детьми. Знаете ли, что я очень часто вспоминаю старину?.. Ну, скажите, ваш почтенный батюшка?

Катя стояла как окаменелая.

— Он... здоров... граф.

— Я помню ваш маленький садик... Ну, не краснейте же! Мы были, право, дети. Ведь мы останемся друзьями, не правда ли?.. Ба! Да я и забыл спросить вас, не замужем ли вы?

— Почти, граф. Это еще тайна. Вы знаете, что у нас, провинциалов, все тайна.

— Право! Поздравляю. Скажите же имя жениха.

— Я вам сказала, что это тайна.

— Смотрите же, не забудьте позвать на свадьбу старинного друга.

Катя смотрела на него с изумлением; ей казалось все это тяжелым сном; ей хотелось убедить себя, что это был сон; ей было жаль своей печальной неизвестности, своей мечты, которою питалась она в течение шести лет. Она готова была протянуть к нему руку, спросить его: «Мстислав! Ведь это все шутка? Ты любишь меня!» Она смот-

рела на него глазами любви и ожидания. Но нет, нет, лицо его было спокойно, глаза не зажигались огнем любви; черты его были, Мстислава, но не было души его; это был только неясный образ прежнего, как портрет, в котором художник сохранил черты, не придав им выражения; бездушный мрамор, в котором любовь напрасно искала ответа. Он говорил свободно, шутил; казалось, и тени прежнего не оставалось в душе его; и если память сохраняла некотороое воспоминание, то оно было только предметом шутки. В эту минуту голос жандарма произнес громко: «Карета Гориной!» — и Надежда Карповна бросилась со всех ног. Тяжело сказать прости на долгую разлуку, тяжело отвыкнуть от счастия, которое сделалось потребностью бытия, разорвать нити, которые привязывали нас к жизни блаженством ежедневным, и отказаться от счастия, когда оно слилось с жизнию, вошло в состав ее; но в разлуке есть воспоминание, которое, как задаток будущего, указывает вдали зарю надежды: что было, возвратится,— и при этой мысли душа теряется в приятной мечте; есть тихая грусть, есть слезы, есть мысль: там далеко, в чужой стороне, он думает обо мне, взоры наши встретятся в любимой звезде, мысль сольется в перелетном облаке. Но потерять любовь!.. увериться в равнодушии того, который еще царствует в душе нашей, владеет жизнию нашею! С чем можно это сравнить?— с смертию?— может быть; но над гробом милого горит надежда вечного свидания, сердце благоговейно бьется при мысли, что дух его витает над оставленным другом, что он мыслит об нем в обителях небесных. Смерть похищает предмет любви, но не любовь, не веру в счастие, не доверенность к человечеству. А измена! она все отнимает; она бросает сердце в степь безотрадную, где — сыпучий песок, жгучее солнце, где дует гибельный самум и никогда прохладного дыхания ветерка... Гибнет не одна любовь; прелесть жизни, младенчество души гибнут с нею; сердце знакомится с опытом... Может быть, оно полюбит вновь, но ему не жить, не радоваться, как прежде!

«Счастлив, кто умирает в юности!» — так думали древние. «Он любезен богам»,— говаривали они. «Счастлив, чье сердце разорвалось при первом ударе»,— шептал на своей вдохновенной лире задумчивый певец Альбиона, и я скажу: счастлив! Он не узнает, что сердце может перестать любить, что горесть может иссякнуть, что можно пережить несчастие и снова радоваться. Снова? Так. Наслаждение опять найдется; но не найдутся чистые, безоблачные дни

первого чувства, не найдется беспечности дитяти, с которою гуляет оно по цветистому лугу, пока опыт не скажет ему: «Тут есть змея!»

Милое неведение сердца! Ты улетаешь как детство, как быстролетная молодость! Может быть, под старость мы потому более привязываемся к существам, украшенным прелестью первого возраста, что они напоминают нам лучшее время жизни нашей. Мы следуем за движениями их, наблюдаем их чувствования, слушаем воспламененный бред их милых, их свежих надежд и невольно переносимся в прошедшее, когда и мы верили, надеялись, смеялись.

О, надобно забывать, чтоб быть счастливым!

Где, у кого научиться смотреть на все равнодушно, наслаждаться, как наслаждается опытный садовник букетом цветов, любуясь на розу и избегая шипов ее, восхищаясь пышною гортензиею и не сетуя, что она без запаху, впивая аромат адатуры и не забывая, что они отравляют ядом; словом, принимая жизнь как она есть, не улетая в поднебесье, не желая несбыточного, не требуя невозможного?

Для чего у нас сердца больше, чем рассудка? Для чего страсти говорят громче, чем он?..

Бедная, бедная Катя!

Глава X

Il n'y a que des fous qui fassent cas de l'amour*.

Надежда Карповна только что встала; она сидела за чайным столиком и, наливая в чашку с чаем сливки из медной кастрюлечки, вылуженной как серебро, ворчала, что в Москве, в древней столице, нет сливок таких, как в Знаменском. Катя, совсем одетая, вошла к ней в эту минуту.

— Ах, моя ранняя пташечка, вы уже совсем одеты! Раненько! Это по-деревенски. Но что вы бледны, мое сокровище? Вы нездоровы? Что с вами?

— Ничего, Надежда Карповна; мы поздно приехали; я не выспалась.

— Вам не годится эта жизнь; в деревне вы как раз поправились бы. Вот хоть бы в Знаменском, что? Здесь все бледные, худые, словно тени ходят; зато всё балы да котильоны! Целую ночь вертятся, прости господи! Где тут здоровье?

* Только безумцы знают любовь *(фр.)*.

— Я, право, без сожаления оставлю Москву.

Надежда Карповна подала Кате чашку чаю и сливки.

— Здесь сливки не как у нас! Будто это сливки! Молоко, чуть неснятое. Возьмите хоть пенок: они хорошо зарумянились. Не дождусь наших сливок! Бог знает, что это такое!

Она снимала пенки в Катину чашку.

— Здесь сливки все мешаные-с, картофельной муки подбавляют-с,— сказал густым басом высокий лакей в синем сюртуке, стоявший у двери, одна рука за спиною, другая на груди, и пальцы между пуговиц сюртука. У Надежды Карповны был такой обычай: за обедом, ужином, за чаем — словом, везде и всегда люди вступали с нею в разговор.

«Она была большая либералка!»

— Точно подмешивают чего-нибудь, злодеи! Да, Ванька, спроси-ка у Акулины, что-де ты не дала сливок, что прислала Мавра Петровна? У нее домашние, своих коров держит. А как здесь скот-то дорог! Столица! Хоть и много, а все в цене.

Катя равнодушно приняла надежду есть домашние сливки. Надежда Карповна посмотрела заботливо вслед за Ванькою.

— Я хотела поговорить с вами наедине, Катерина Ивановна!

— Что вам угодно?

— Все одно, моя неоцененная Катерина Ивановна. Ах, если б вы знали, как я вас люблю! Бог видит! Но не о том дело; вчера вечером был у меня брат...

Надежда Карповна остановилась, ожидая, что Катя, по обыкновению, встанет и попросит ее не говорить о братце; и очень удивилась, видя, что она сидит спокойно, и только легкая краска на мгновение покрыла щеки ее, белые как мрамор, и легкое движение мускулов означило душевное волнение. Она продолжала:

— Я не решилась сказать ему вашего отказа. Это убьет его. Подумайте еще, сокровище мое! Право, он прекрасный человек! Не светский, правда, молчалив, не любезен, как здешние молодые люди. Но не в том счастие, Катерина Ивановна! С мужем в гостиной придется меньше быть, чем у себя в спальной. А кто любезен в гостиных, не всегда мил дома. Вы не влюблены в него: тем лучше! Он в вас влюблен; вы будете из него делать что хотите. А через год всякая любовь пройдет! Он будет добрый хозяин; это не

безделица... Хозяйство! Любовь-то на час, а хозяйство сбережет на век! А как он любит вас, боже мой!

Катя поставила чашку. На лице ее изобразилось внутреннее волнение.

— И вы думаете, что он... точно любит меня?

— Конечно! Как же иначе!.. Зачем же бы он...

— Верю, Надежда Карповна. Скажите братцу вашему... чтоб он ехал к батюшке; я согласна.

Глава XI

Mais tu n'aimes qu'un temps comme notre hirondelle:
Moi, je t'aime comme je vis.

*V. Hugo**

Мы оставили графа, умирающего в небольшой гостинице в Аквапенденте, окруженного попечениями прекрасной англичанки и молодого своего товарища, в котором вы, конечно, узнали девочку, вывезенную им из Рима. По многому можно было предполагать, что он был жертвою подкупного кинжала вельможи, который не хотел простить иностранцу покровительства, оказанного жертве, ускользнувшей из когтей его. Но скажите по совести, мог ли он, как русский, как дворянин, отказать взяться быть покровителем бедной девушки и оставить посреди большого города, посреди Рима, бедное дитя, пятнадцатилетнюю девочку, которой красота могла бы искусить пустынника, не только римского вельможу в бархате и фиолетовой шапке? Конечно, нет: к тому ж, чего мог он опасаться для себя? Он уже был не ребенок, много жил, много видел, когда-то любил и сохранил воспоминания этой любви как идеал земного счастия, имел и после того связи, но не находил в них прежнего счастия, и они прискучили ему, как все, что манит, не исполняя обещанного. Он почти уже равнодушно смотрел на женщин, как путник на блуждающий огонь, который много раз уже обманывал взор его; он был не холоден, но перестал верить в возможность счастия, и женщина любящая, преданная сделалась для него прекрасною сказкою, как басня о ковре-самолете и тому подобном. Следственно, Лаурета — так звали девочку — должна быть для него еще менее опасною, чем кто-нибудь. Дитяти, без прав-

* Как ласточка, твоя любовь мелькнула,
Моя любовь с тобой — всю жизнь.

В. Гюго (фр.) (перевод В. Андреева)

ственного образования, без правил, конечно, не ей пробудить прежние чувства и мечты! Она, как и все женщины, перелетная птичка, которая сегодня услаждает слух ваш, а завтра не отыщете и следов ее. Была одна, которая, казалось, умела любить и понимала любовь; но и она... поверите ли, что граф сердился за то, что Катя вышла замуж? Таковы люди! Самолюбие наше не умеет ладить с мыслию, что могут обойтись без нас; мы хотим всегда быть необходимыми: солнце может отвратить взоры от бедного растения; но горе растению, если оно осмелится искать других живительных лучей! Оно должно засохнуть: так нравится самолюбию нашему.

Мстислав решился довезть свою принятую дочку до первого большого города, вне папских владений, и отдать ее в лучший пансион, а там, по возвращении в отечество, кузины и тетушки найдут средства перевезть ее в Россию и устроить ее счастие. Видите ли, как все было придумано хорошо, нравственно, благоразумно! Но будьте благоразумны с черноглазыми итальянками! Особенно если они, как Лаурета, ходят за вами во время болезни, пекутся о вас во время выздоровления, сидят над вами как добрые мамушки в бессонные ночи и сокращают веселой песнью скучный день. После этого что удивительного, если вы увидите года через четыре потом прекрасную итальянку на Лиговке в готическом кабинете и какого-нибудь черноглазого мальчика с шоколадным львом у ног ее. Право, нет ничего удивительного.

Нашла ли бы все это неудивительным и обыкновенным моя бедная Катя? Не знаю. В то время, как друг ее боролся с смертью в бедной итальянской гостинице, она давно уже была замужем и, вследствие своей мудрой политики, управляла добрым генералом как хотела, между тем как он думал, что его дражайшая половина ни на волос не выходит из его воли. Здесь он был когда-то бригадным командиром, так, верно, знал, что значит субординация. Так; но женщина не то, что бригада! Там велел, и люди повинуются без возражения; идут, и он видит, что идут, не говоря ни слова, без уверения в повиновении; а здесь «хочу!», и жена бросается на шею. «Все, что тебе угодно, мой ангел! Твоя воля мой закон!» Но воля не исполняется; через четверть часа, может быть, через час эта воля изменяется, берет совершенно другое направление и находит ту же готовность к исполнению; иногда — небольшое сопротивление, и потом уже она исполняется; а тетушки кричат: «Какая женщина! Она живет единственно мужем, у нее

нет собственной воли, она ничего не видит, кроме его!»

Так и генерал; он, домосед, нелюдим, как называла его Надежда Карповна,— он вздумал ехать в столицу; потом для поправления здоровья своей супруги убедил ее отправиться за границу, на воды. Потом вздумалось ему видеть ум человеческий во всем развитии его деятельной силы, и он поехал в Лондон. Потом захотел подышать полуденным воздухом на берегах Средиземного моря, и прожил целый год в Неаполе; посещал оттуда Рим, Палермо; недели три жил в живописной Катане; целую зиму провел в Париже, и не было бы конца его затеям, если б наконец, возвратясь, по обстоятельствам, в свое жалованное поместье, он не нашел там конца и своим странствованиям и причудам. Смерть тихо выхитила его с земли посреди золотых снов, которыми лелеяла его любовь и добрая жена: он умер в объятиях ее, и последнею жизненною заботою его было: «Что будет делать без меня моя бедная Катя, она, которая до тех пор не умела жить без моей воли?» Счастливый смертный! Заблуждение иногда не лучше ли истины?

Теперь вы знаете уже, кто была Катя, кто была Лаурета: я не стану оправдывать Мстислава; он виноват перед обеими, неправ; достоин всякого осуждения; в нравственном отношении поступки его могли служить соблазном многим молодым людям, воспитанным в страхе божием и матушкином; но поставьте себя на его место, господа, вспомните, что вы такое в вашем кабинете, а не в гостиной и не в кабинете маменьки, и берите камень: я предоставляю вам Мстислава. Скажу одно: несмотря на строгость нравов ваших, я уверен, что не один голос восстал бы за него в глубине сердца, если б Лаурета явилась в залах большого света. Прошло четыре года после гибельного происшествия на дороге Больсены: она не носила мужеского платья, не казалась мальчиком в пятнадцать лет; не привлекала внимания прекрасных леди; но никогда еще наш север не видал искусительницы, так совершенно прекрасной, так очаровательной, и никогда еще ни один лорд, ни один виконт, ни один светлейший владетельный князь, не только какой-нибудь потомок баскаков и азеев, не встречали женщины, у ног которой охотнее бы сложили и золото, и светлость свою.

Заставила ли она Мстислава забыть первую любовь и поверить возможности снова найти счастие? Ах, нет! Сердце его вылито было из металла, который не иначе теряет однажды принятую форму, как будучи переплавлен; он лю-

бил не Катю, но прежнее счастие; сожалел не об ней, но о прежней любви; Катя была только идеею, неразлучною с воспоминанием прошедшего; он осыпал иногда горькими насмешками любовь и женщин, но просто как остяк, который казнит своих идолов за то, что они не дали ему счастия, которое сулили и которое узнал он однажды только в их капище.

Особенно с некоторого времени Лаурета замечала перемену в Мстиславе: он был задумчив, рассеян, холодно отвечал на любовь ее, и если иногда возвращался к ней с прежнею ласкою, то это казалось более состраданием, чем любовию. Ему было жаль ее: но довольно ли этого для любви?

Лаурета плакала, жаловалась. При первом слове ее Мстислав брал шляпу и уходил. Она решилась привлечь его веселостью; окружила его всем волшебством любви, пела песни прекрасной Италии, осыпала его ласками и приветами: он улыбался, благодарил взором прекрасную итальянку и задумывался, облокотясь на спинку кресел ее, так, что Лаурета переставала петь и смотрела на него долго и печально, а он и не замечал этого. Одно, что возвращало ей прежнего Мстислава и первые дни любви их, это был маленький Милий: с ним Мстислав снова становился весел, смеялся, играл, и, когда ребенок, резвясь, вырывался из рук его и прятал головку под мантилью Лауреты, он подходил к ней, брал ребенка на руки и обнимал вместе сына и мать. Лаурета склоняла голову на плечо его и тихо плакала. Ах, она не обманывалась! Она знала, что этот возврат к нежности был на один миг, как прекрасный день осенью: он ясен, тих, прелестен, как летний; но, любуясь на светлое небо, вы говорите: он не возвратится более!

Здоровье Лауреты расстроилось, розы пропали на щеках ее, скрытый огонь пожирал ее внутренность и светился во впалых глазах; сон оставил ее; бледная, как тень, бродила она по комнатам, ждала Мстислава, но посещения его становились реже и реже. Пришла весна: Анджолина, смотря с состраданием на бедную страдалицу, говорила с улыбкою: «Вот теперь балы кончились, все разъедутся; граф у нас будет чаще. Что делать! Он иногда и поневоле должен бывать в свете». Лаурета качала головою и молчала; она понимала, что добрая итальянка старалась внушить надежды, которых не разделяла сама. С некоторого времени она привыкла выходить со двора одна, в шляпке и закрытая черным вуалем; она терялась в многолюдных улицах, пробиралась до набережной и там сади-

лась на гранитную скамью: взор ее печально блуждал по волнам величавой реки, следовал за легким яликом или останавливался на блестящем шпице Петропавловского собора, которого ангел, освещенный последними лучами солнца, блистал в вышине над мрачной крепостью. Часто, когда взоры ее задумчиво следовали за экипажами, проезжающими мимо ее, вдоль по набережной, или за пестрою толпою, мелькающею за решеткою Летнего сада, вдруг знакомый стук колес заставлял трепетать ее сердце: легкая колясочка неслась мимо; Лаурета узнавала Мстислава, но он не замечал ее; он говорил с товарищем или смотрел вдаль на стройный ряд зданий набережной. Простите мне, что я занимаю вас Лауретою. Бедная Лаурета! Она не заслуживает вашего взора по положению, в котором поставил ее случай; но не судите людей по вашим понятиям и мнениям; возьмите на себя труд усвоить их нравственное бытие, вникнуть в причины, развившие его, в обстоятельства, сделавшие человека тем, что он есть, и тогда произносите приговор. Пусть общественное мнение карает проступки, не подлежащие суду законов, потому что общественное мнение есть мститель нравов, как правосудие мститель законов; но да руководствует вами сострадание в приговорах, которые вы произносите; карайте вину, но не виновного; гоните порок, но любите человека и судите причины, прежде чем покроете его проклятиями. Не смешивайте слабого, преступного по неведению, с развращенным в сердце. Лаурета была виновна, но как язычник, который отвергает неведомого бога. Воспитанная как цветок, назначенный пленять несколько времени взор своего владетеля, и более ничего; удовольствие — вот закон Лауреты. Она не хотела принадлежать человеку, которому ее продали: могло ли ей это чувство казаться преступлением? Нет! Она даже и не думала, что для ее счастия нужно было, чтоб законы освятили чувство, привязывающее ее к Мстиславу. Она почла бы преступлением, если б могла изменить ему. Чтоб, любя его со всею преданностию, со всем самоотвержением, она могла быть преступною, этого не понимало бедное дитя. Она знала, что общество отвергает ее: но что ей было до того, пока Мстислав любит ее? Она жила с ним в мире особенном, чуждом общества, в мире, где судиею ее был один бог и Мстислав. Пожалейте об ней, как жалеете о язычнике, о диком, который скрывается от свету истины, принесенного европейцами, и вздохните, когда пройдете мимо гранитной скамьи против Летнего сада: тут она провела много горьких часов; тут слезы ее падали на хо-

лодный гранит, и люди проходили мимо, беззаботно и весело, не замечая, что подле них страдало существо, подобное им; проезжал и виновник страдания ее, и, может быть, когда взгляд его мимоходом останавливался на женщине, хорошо одетой, закрытой покрывалом, женщине, которая, казалось, ждала чего-то, обидное подозрение пробуждалось в душе его; но, может быть, чаще он проезжал мимо, не замечая, не видя ее...

Однажды знакомый стук колес привлек внимание Лауреты: коляска следовала за щегольским ландо; Мстислав сидел с пожилою дамою. Лаурета поспешно вскочила: лихорадка пожирала ее внутренность; первый встретившийся ей извозчик получил приказание ехать вслед за коляскою. Не понимая сама, что она делает, не зная, чего хочет, она трепетала; глаза ее, чувство, душа были прикованы к коляске, которая быстро, как враждебная комета, убегала перед нею, увлекая ее за собою своею гибельною силою.

Через несколько минут Лаурета стояла бледная как мрамор перед красивою дачею недалеко от решетки Екатерингофского саду; скоро из ворот выехала небольшая кавалькада: две дамы, трое молодых людей и между ними Мстислав. Они направились к саду. Лаура последовала за ними.

Она видела, как взвивались вдали вуали дам, как чернелись шляпки их между деревьями; они скрылись, но Лаура была уже в саду и шла скорыми шагами по дорожке, вьющейся по берегу залива. Вы знаете небольшую осьмиугольную беседку, с витою железною лестницею, с небольшою галереею вокруг, на самом берегу взморья, против острова, которого уединенный домик с небольшою башнею говорит о печальном одиночестве сердца, уединенного в самом шумном обществе? Еще издали заметила Лаурета на галерее, обращенной к взморью, две человеческие фигуры, и сердце ей сказало: «Это он!» Она удвоила шаги и тихо, не смея дышать, подходила к беседке: то был Мстислав! Он стоял, прислонясь к стене, и взоры его ласкали прекрасное личико подруги. Она опиралась на руку его, нежный румянец играл на щеках ее, глаза сияли тихою радостью; все показывало, что она наслаждается теми немногими минутами, в которые ангел, друг человека, осеняет его благотворным крылом, как бы опасаясь, чтобы вражда и зависть не нарушили сладкой грезы его. Лицо Мстислава отражало это счастие; но, как Аббадонна, он сиял светом, который не был уже собственностью его: он пони-

мал небесное блаженство и чувствовал себя еще счастливее других отпадших духов, находя в себе способность сожалеть об нем. Едва переводя дух, Лаурета подошла так близко, что могла слышать весь разговор. Мстислав говорил, наклоняясь к своей прекрасной подруге:

— Я был виновен, конечно: но ужели нет прощения? Вспомните, что слеза раскаянья была лучшим даром Пери: сожалеть о потерянном значит любить его.

— Но кто поручится, что теперь сбережете лучше, что нашли опять?

— Кто?.. Вы знали мою Катю? Она не спросила бы у меня, кто поручится. Она любила меня.

— Верно; рыбак беспечно плавает по взморью до тех пор, пока не узнает, что в нем есть бури; нельзя и страшиться того, что нам неизвестно. После он, верно, будет уже осторожнее.

— Бедствие научает знать цену счастию. Кто узнал ее, захочет ли добровольно потерять?

— Но вы ошибаетесь, Мстислав! Вы меня не любите!

— Я не должен бы вас любить...

В это время послышались голоса. Мстислав и подруга его поспешно оставили беседку.

Глава XII

Connaissez-vous le cœur de l'homme et pourriez-vous compter les inconstances de son désir?

*Chateaubriand**

С некоторого времени Ильменева приобрела привычку каждое утро одна с англичанкой, которую взяла к себе еще до поездки в чужие края, гулять по тротуару набережной. Там, смотря на оживленную картину Невы, она переносилась мыслию в прошедшее; впрочем, я не ручаюсь, может быть, настоящее еще более занимало ее. Вот видите ли: вышедши за Ильменева, она имела в виду заставить Мстислава сожалеть о сокровище, которое он отверг; она думала, что может достигнуть до этого, стараясь сделаться подобною тем, которых он ей предпочел, и потому она приняла за образец дам, которых случайно видела в свете: она начала учиться, читать; она путешествовала, и эта мысль

---

* Знаете ли вы сердце человеческое и сможете ли вы сосчитать, сколь часто переменчиво оно в своих желаниях? *Шатобриан (фр.)*

постоянно сопутствовала ей во все продолжение путешествий. Сколько раз мечтала она о той минуте, когда Мстислав снова упадет к ногам ее с прежнею любовью, с прежней страстью; когда признается в вине своей и она уничтожит его взором презрения или подаст руку другому... нет! Она этого не сделает, она не изберет другого, но накажет Мстислава холодностью и оставит Петербург, поселится в деревне с добрым отцом своим и будет жить для него и воспоминаний. Но сердце человеческое непостижимо: любовь, ненависть, надежды, мечты, намерения — все изменяется в нем, как тени в волшебном фонаре. Человек, верный одной страсти, одному чувству, одному плану в продолжение целой жизни, есть явление редкое, невозможное почти: история представляет нам иногда жизнь некоторых как нечто целое, но это потому, что история, не занимаясь подробностями, берет в жизни своего героя только главные черты, смотрит на него с одной точки, наиболее разительной, собирает все, что составляет или поясняет характер его со стороны, с которой он обращен к этой точке, пропуская все, что не имеет прямого отношения к роли, которую играет он в летописях, но если б мы могли вникнуть во все подробности жизни его, исследовать сердце его во всех изгибах, видеть его в частной жизни ежедневно, как видим друзей наших, герой показался бы нам мелочным, часто слабым, изменчивым — словом, человеком обыкновенным, мало отличным от других. Великое в нем потерялось бы в ежедневной жизни именно потому, что оно проявляется редко, не всегда, с большими промежутками, исполнёнными мелочей; но история пропускает их, и великое, более сближенное, поражает нас как одно целое. Роман, сказка представляют жизнь человека также как одно целое, но потому что роман и сказка избирают в жизни его одно происшествие, останавливаются при развязке и не следуют далее, где другое чувство, другая жизнь нарушают уже это единство. Сердце столько разносторонно, что нам должно или видеть одну сторону, или все, чтоб найти целое; потому что, видя две или три стороны, мы найдем часто одно только противоречие или слабость. Катя желала снова приобресть любовь Мстислава единственно для того, чтоб отмстить, как думала она: с этою целью она явилась в маскараде; с этою целью позволила себе быть с ним несколько кокеткою, с этою целью принимала его на вечера, которые иногда давала, вечера нецеремонные, запросто, между друзей; с этою целью была с ним иногда мила, простодушна, как прежняя Катя, иногда жива, умна, пленительна, как

светская женщина; и вдруг мы видим ее в Екатерингофе, на взморье, в сентиментальном разговоре с Мстиславом, и в разговоре, где, кажется, было что-то более, чем кокетство. Что же думать? Скажут, она ветрена, не знает сама, чего хочет; еще — как знать?— вы, может быть, подумаете, что я рассказываю не так, как было дело: это ненатурально, скажете вы, что-то странно, тут есть что-нибудь другое; а между тем это случилось совершенно просто: мысль отмстить.

Мстислав, как уже я сказал вам, ни на минуту не оставлял ее; но когда она увидела себя близкою к цели, когда взоры Мстислава, голос его, слова напомнили ей живо прошедшее, она забыла свое мщение; гордость заговорила в ней. «Как?— думала она.— Теперь он любит меня; опять ищет в женщине, которую сам отверг: но что же нашел он во мне лучшего против прежнего? Не та ли же я, что была? Я приобрела, может быть, несколько новых идей, несколько более навыку в свете, несколько талантов: но разве за это любят? Для чего мне нужно было явиться в блеске, чтоб привлечь его внимание? Для чего ждал он, чтоб несколько голосов повторили ему мое имя? Разве без их свидетельства он не знал, что я стоила любви? Ах, он человек, как и другие, не более!» Так думала она, и высокий пьедестал, на который вознесла его любовь ее, рушился сам собою. Она увидела в нем мужчину, подобного другим, со всеми мелочными слабостями общества; и ей стало жаль мечты своей, своего творения. Но в унижении его она находила причину простить; она посмотрела вокруг себя и в целой массе, составляющей общество, не нашла ни одной головы, которая возвысилась бы над другими значительно: все были в уровень, все более или менее разделяли мнения, правила, предрассудки, принятые обществом. За что же сетовать на Мстислава? Что он видел, судил, как и все? Что он был не выше других? Он был еще лучше многих, потому что общие недостатки искупал многими достоинствами. Правда, он разбил кумир ее; она не видела в нем уже божества; но он ли виноват, что воображение ее придало ему совершенства, которых он не имел? Мало-помалу она привыкла к этой мысли, привыкла любить Мстислава в человеческом его образе; и хоть иногда, слушая лепет любви его, сердце ее сжималось при воспоминании свидания в Москве, это становилось, однако ж, все реже и реже. Может быть, и слова дядюшки имели действие над нею. Наконец она решилась подать ему руку не как высшему существу, которое возносило ее до себя, но как спутнику, кото-

рый будет иметь нужду, как и все, в снисхождении и поможет ей пройти приятно путь жизни. Впрочем, я не ручаюсь, не было ли все это сделкою самолюбия: потому что, вы знаете, гордость наша очень часто заставляет нас толковать и чувствования наши совсем в превратном виде даже при глазах собственной совести нашей; мы торгуемся с самолюбием и вертим головку ему то вправо, то влево, смотря по тому, как это нужно, чтоб скрыть настоящую цель нашу. Может быть — но что до этого!— Она любила опять Мстислава, и счастие улыбалось ей. Будущее казалось ей светлою, прекрасною страной, и об ней она любила мечтать, ходя по берегу. Но с некоторого времени она приметила, что какая-то дама, казалось, ожидала ее всегда на одном месте; дама была одетая в темном плаще и закрытая черным вуалем; взоры ее встречали Катю и следовали за нею до тех пор, пока она скрывалась из глаз. Вид этой женщины производил странное впечатление на душу Ильменевой: она казалась ей каким-то страшным предвестником несчастия; взоры ее обливали ее холодом, и она напрасно старалась освободиться от их враждебного влияния. Катя смеялась над собою, но сердце ее невольно замирало всякий раз, как она выходила утром. Мысль, что черная дама ждет ее, приводила в смущение душу ее, и, нарочно для того, чтоб победить этот ребяческий страх, она ходила каждый день в ту сторону, где была уверена найти незнакомку. Она сердилась на себя, досадовала, боялась точно так же, как человек, который, не умея сам себе отдать отчет в странном предрассудке, всегда невольно содрогается, увидя новый месяц с левой стороны или сон, который по замечанию его предвещает недоброе.

Недели через две после приключения в Екатерингофе, накинув, по обыкновению, плащ, Катя вышла рано утром на набережную, и первый предмет, встретившийся ей, был граф. На этот раз она забыла черную даму и подала ему руку, не думая совершенно о предвещаниях. Не самое ли лучшее встретило ее сегодня, любовь? Однако, подходя к месту, где обыкновенно стояла черная дама, Катя с невольным страхом посмотрела туда: ее не было; но в ту же минуту с противоположной стороны улицы раздался голос ребенка. Трехлетний мальчик бежал к ним с письмом в руках; черные локоны прыгали по плечам его; он запинался о камни, останавливался, опять бежал, спотыкался и кричал: «Папа! Папа!» Катя остановилась, граф побледнел. По какому-то странному чувству Катя остановила руку его и поспешно пошла навстречу мальчику. Он остано-

вился, робко посмотрел на нее, еще сказал «папа» и протянул руки к графу.

Надпись конверта, который мальчик держал в руке, обратила внимание Ильменевой; она увидела свое имя.

— Это письмо... ко мне, миленький? — спросила она мальчика.

— Мама велела отдать.

— Мне?

— Нет; даме, что ходила с папой.

Ильменева взяла письмо и посмотрела на подпись; она не ошиблась: письмо было на ее имя.

Трепеща всем телом, она сорвала печать. В эту минуту граф, как бы опомнясь, бросился к ребенку и схватил его на руки. «Мы увидимся, Катерина Ивановна!» — сказал он, бросая беглый взгляд на Катю, и исчез.

Катя оперлась на гранит, как бы желая собраться с силами; лицо ее было совершенно бледно, и ни малейшее движение не изменяло чувствам ее. Она была недалеко от Летнего сада.

— Что с вами, Катерина Ивановна? — спросила наконец англичанка, испуганная ее бледностью.

Катя приподняла голову, не говоря ни слова, взяла руку мистрис Б*** и пошла к саду скорыми шагами; поворотя налево, они вошли в узкую аллею. В саду никого не было; изредка проходил по аллеям молодой чиновник или девушка, посланная наскоро в магазин; солнце рисовало светлую сетку по дорожке, пробиваясь косвенным лучом сквозь листья лип; с площади слышались «ура» солдат, собравшихся к ученью, иногда военный марш раздавался под сводами деревьев.

Дойдя до первой скамеечки, Катя и молчаливая спутница ее сели. Катя взяла письмо:

«Пять дней тому назад, вечером в Екатерингофе, на берегу взморья, прекрасная женщина спрашивала товарища своего, почему он не должен любить ее. Ему помешали отвечать.

Так, он не должен был любить вас! Вы не знали этого, но подле беседки находилось другое существо, которое имеет на него права, может быть, священнее ваших, которое любит его, которое он должен был любить. Это существо — женщина, которая всем ему обязана, которая любила его, была с ним счастлива; женщина, мать дитяти его, этого дитяти, прекрасного, милого, которого вы видите, моего Милия, бедного, оставленного Милия. О, если б вы знали, как я несчастлива!

Не подумайте, чтоб он обманул меня. О, нет! Я знала, что он любил вас; он мне сказал это. Но я любила его, я легко поверила собственному моему сердцу, которое говорило мне, что прошедшее не возвратится; я думала, что вы замужем. Я надеялась пробудить в нем любовь моею любовию; но он не переставал любить вас, он обманывал самого себя, он сохранял кольцо ваше.

Вы великодушны, вы добры, вы любите его давно: я все это узнала; узнала тогда, когда, как безумная, в отчаянии прибежала из Екатерингофа к нему в дом, в кабинет его. Камердинер его мне все рассказал. Я хотела убить его, себя; не знаю, чего хотела я. О, я ненавидела вас! И теперь ненавижу вас... Нет; я простила вам, простите и вы мне и будьте матерью моего Милия. Понимаете ли вы силу любви, которая заставила молчать ревность, ненависть, которая заставляет меня предпочесть счастие Мстислава всему? Если вы то, чем я представляю вас себе, если вы стоите любви его, вы возьмете моего Милия, вы будете матерью его, вы сделаете счастие Мстислава. Смотрите, я вам отдаю все, что было моего на земли! О, для чего я не могла с собою унести моего Милия! Для чего внутренний голос, голос божий, говорит мне, что я не могу располагать его участию и жизнию?

Я расспрашивала об вас, я изучала вас как мать; нашла силы переносить взор ваш и собственную жизнь в течение двух долгих недель. Вот он! Возьмите моего Милия. На коленях молю вас. О, я прощаю вам, будьте матерью ему! Знаете ли, что значит отдавать дитя свое? Но я отдаю вам мое драгоценнейшее, мое священнейшее, моего Мстислава.

Он знал, что любовь его была душою моей, необходимостью, воздухом; что он для меня все; вот почему он сказал: «Я не должен бы любить вас».

Но если вы отвергнете Милия, вы отвергнете и отца его. Все равно! Все равно! Ему уж не любить меня».

Вечером того же дня граф сидел в знакомом нам голубом готическом кабинете, облокотясь на стол и закрыв обеими руками лицо. Темные кудри его прекрасно рассыпались по рукам. Милий строил на ковре карточный домик посреди комнаты.

— Ничего еще? — спросил с беспокойством граф, вскочив при появлении Анджиолины.

Она была бледна как мрамор и молча подала ему письмо, присланное по городской почте. Граф прочел.

«Не теряй времени в напрасных поисках, Мстислав!

Я не сетую на тебя: будь счастлив. Если воспоминание мое не нарушит твоего спокойствия, думай иногда о матери твоего Милия. Лаурета.

P. S. Мстислав, не переставай любить моего Милия! У него не будет матери: замени ему бедную Лаурету! В последней просьбе не отказывают, Мстислав! Я прошу тебя, люби его».

Как громом пораженный, Мстислав бросился в креслы, и обильные слезы полились по щекам. Подобные минуты не мне описывать. Скажу одно: гроб примиряет все; одна любовь сияет над могилою; чистый дух оставляет землю, земное и сияет ясно в небесах, посылая к нам прощение. Между тем тягость всего, чем бы мы могли упрекать себя в отношении к утраченному, упадает на сердце наше. Для нас нет средства загладить прошедшего, когда гроб положил печать на вины наши.

Что сделалось с нею? Этого никто и никогда не узнал. Она исчезла, как светлый метеор, который прокатился в блеске по темному небу, никем не замеченный, и исчез незнаемый; как полевой цветок, который несколько часов наполнял пустыню ароматом и наутро исчез, и никто не узнал, куда девался он с засохшего стебля; как голос, раздавшийся в горах, который мгновенно сотряс воздух, влился тихою мелодиею в душу путника и затих, и путник не узнал, откуда он и куда скрылся.

Наутро Мстислав получил еще письмо:

«Мы не должны более видеться, граф. Я не виню вас; нам не суждено взаимное счастие. Расстанемся без упрека и, если возможно, забудем прошедшее.

Но между нами остается еще связь: сын ваш принадлежит мне; именем матери его я его требую. На нас обоих лежит обязанность воспитания его: загладим вину нашу против несчастной, составив его благополучие!

Вы не откажете в последней просьбе, которую произнесла она, может быть... страшусь сказать!.. на краю могилы. Пришлите мне вашего сына, граф! Он будет моим. Вы сообщите мне письменно намерения ваши; я буду сообразжаться с ними; буду писать к вам о сыне. Граф! Ужели вы откажете в последней просьбе женщине, которая любила вас так бескорыстно? Ужели вы думаете, что Милий может найти сердце, которое заменило бы сердце его матери, и что ему где-либо будет лучше, чем у женщины, которая, может быть, любила не менее ее?.. Я жду вашего ответа, граф, но, помните, мы увидимся не прежде, как

когда Милий будет иметь возраст своей матери. Прощайте».

Горский остановился.

— Что же, мой милый Горский,— сказала Наталия Дмитриевна,— что же с ним сделалось?

— Граф отдал Милия прекрасной Ильменевой; она удалилась в деревню и там посвятила себя совершенно его воспитанию; об ней более не слышно в залах большого света; граф с тех пор путешествует: я встретил его в Тифлисе, где познакомился с ним. Я часто видал его и полюбил душою.

— Так эта история истинная?— сказала печально Любинька.

— Конечно; он сам рассказывал мне ее.

— И что же?— спросили дамы в несколько голосов.— Он все еще печален? Любит ли, вспоминает ли он свою Лаурету? И не виделся более с Катею? А она? Что она пишет к нему? Вы читали ее письма? Хорошо ли она пишет? А граф? Он все еще хорош? Только похудел, бледен?

— Он бледен; но глаза его выразительны, более молчалив, никогда не говорит о прошедшем, убегает случая говорить о любви и женщинах; в обществе, часто под резкою насмешкою, скрывает свое истинное мнение; его почитают холодным, говорят, что он неспособен к чувству; но я часто видал, как тихая слеза трепетала на реснице его и иногда катилась по бледной щеке, когда, забывая обо всем, что окружает его, он предавался за клавикордами прелести своей фантазии и передавал в звуках, чего не хотел вверить словам.

— Бедный граф! Тогда он думал о Лаурете.

— А может быть, о Кате: он, верно, любит еще ее!

— Не люблю я ваших повестей без конца,— сказала Наталия Дмитриевна,— что это? Играет на фортепьяно и живет где-то и теперь, так что, может быть, случится когда-нибудь встретится с ним! Я хотела бы знать, что еще случится с ним.

— То есть вам надобно поплясать на свадьбе или поплакать на похоронах?

— Ну да; я это лучше люблю.

— В свете не так бывает: в жизни каждого человека бывают минуты, часы, годы истинно поэтического существования; они проходят, и человек вступает в обыкновенный круг жизни, совершенно прозаический, не обращая на себя ничьего внимания,— вот как эти пылинки,— продолжал он, указывая на светлый столб, в котором мириады

пылинок вращались, освещенные солнечным лучом, проникавшим в комнату сквозь отверстие между шторою и стеною,— видите, как блестят! Следуйте за ними взором. Вот меркнут! И вот исчезли в темноте!

— Пусть так, но я недовольна концом; как хотите.

— Вот видите, мой любезнейший Александр Иванович,— сказал доктор, выпрямляясь,— вы умели занять этих дам, видели их внимание и, зная, может быть, вкус их, погрешили немного против истины, и я обличу вас.

— Иван Карлович! Вспомните, что придет же очередь и вам рассказывать.

— Что ж делать? Правда прежде всего, как говорится.

— Что это значит? Что такое?— закричали дамы.

— А вот что; в прошлом году, один раз вечером, я только что собрался было ехать к вам, Наталия Дмитриевна: это было осенью, помните? Вы один раз очень долго меня ждали, и я приехал в одиннадцать часов.

— Помню, помню! Я думала, что вы занемогли: помнишь, Любинька? Ну так что же?

— За мною прислали к приезжей даме; она остановилась в «Лондоне»: это недалеко от меня, как вы знаете; у ней сделались спазмы, кажется, оттого, что она обкушалась с дороги невской лососинки: а ведь это хорошо, Наталия Дмитриевна?

Наталья Дмитриевна улыбнулась, погрозила пальцем и просила продолжать.

— Дама лежала на диване; безобразный мопс бросался на меня с лаем; служанка обмахивала мух над головою дамы; старушка, повязанная платком, живая и проворная, терла ей ноги. Дама показалась мне очень полновесною, и, несмотря на страдание, лицо ее было красно...

— Ах, это Надежда Карповна!— вскричала Любинька.— И моська тут! Посудите, Вельский, все это правда!

— Что же вам кажется странным в этой повести? Разве постоянная любовь Кати?— сказал Вельский вполголоса.

— Нет; а переменчивость Мстислава.

Они начали говорить что-то тихонько.

— Да слушай же, Любинька!

— Я взял руку больной, у ней был жар, лихорадочка, маленькое раздражение... ну, это ничего! Я сел подле нее и старался ее успокоить. Между тем как мы говорили, двери отворились; мальчик, черноглазый, кудрявый, как Амур, вбежал в комнату и остановился, когда моська бросилась на него. За ним вошла дама, стройная и прекрасная; не-

смотря на бледность, она показалась мне немножко слишком полною; больная моя вскочила и забыла болезнь.— «Ах, моя матушка! Моя Катенька! Сокровище мое! Насилу-то я вижу тебя! Умерла было без тебя! Ах, радость моя!» — «Я рада сама, сестрица! Право, рада, позвольте мне представить вам моего мужа; ведь вы обещали мне полюбить его».

— Как мужа?— спросил кто-то из дам (поверьте, только не я).

— Ну да, мужа; за нею шел прекрасный молодой мужчина, и черноглазый мальчик называл его папою, когда прижался к нему, испугавшись моськи.

— Так-то вы нас обманываете, Горский!

— Боже мой, да если люди переменяют сегодня, что говорят вчера, так придется лгать, чтоб придать им характер!

— Уж не воскреснет ли и Лаурета?

— Нет,— сказал Горский,— и поверьте мне, это не выдумка, Мстислав часто по целым часам просиживает у памятника, который поставил в саду, в деревне, где они живут и теперь, и что Катя и до сих пор еще не забыла своей московской поездки; но смотрите, доктор, долг платежом красен. Я припомню вам этот вечер.

— Увидим! А теперь покойной ночи, Наталия Дмитриевна!

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Dames! oyez l'histoire lamentable*.

Прощаясь накануне с Любинькою, я поцеловала ее нежнее обыкновенного; следы глубокой печали на молодом личике всегда казались мне каким-то противоречием, нарушением обыкновенного порядка вещей. Это безвременный мороз, свернувший листики едва распустившейся фиалки. Молодость — цвет жизни, блестящий и кратковременный; мне хотелось бы, чтоб духи стерегли его от влияния недоброго глаза, ветру северного, росы-медяницы. Несмотря на притворную улыбку Любиньки, я видела, что сердце ее непокойно; несколько раз навертывались слезы на глазах ее: я не знаю, слышала ли она и половину повести Горского. Во весь вечер я смотрела на нее с участием, и старание казаться веселою делало ее еще трогательнее в глазах моих. Горесть, которая скорбит слух, уже вполовину утешена; когда же печаль тишком и невидимкою

* Сударыни! послушайте горестную повесть *(фр.)*.

гнездится в сердце, мне кажется оно святилищем, в котором совершается очистительная жертва. Я ничего не говорила с Любинькою; мне не хотелось нескромным словом показать, что читаю в душе ее, и одно пожатие руки, поцелуй, может быть более дружественный, показывали мое участие. Любинька поняла меня.

— Не забудьте же, завтра вечером! — шепнула она мне.

Я приехала и нашла одного Горского и артиллериста. Сказали, что Проновский не может быть, но ожидали доктора.

— Ваш кружок сегодня очень невелик,— заметила я Наталье Дмитриевне.

— Не оттого ли, что время хорошо?— отвечала она.— Друзья собираются к столику моему, как ласточка под кровлю в дурную погоду. Летом не заманите ни одной птички из лесу, а посмотрите-ка, когда нападет первый снег, увидите их сотнями на каждой ветке под окном.

— Это оттого, что беды напоминают нам о друзьях, которых забываем в счастье. Таков свет! — заметил Горский.

— Не сетуйте на него, любезный Горский. Ведь дружба нам дана взамен счастия, как месяц взамен солнца в темные осенние ночи. Кто из нас не грешит против него, забывая присутствие его в короткую летнюю ночь? Это очень естественно. Поверьте, прекрасна доля, предоставленная дружбе: она утешительница несчастия! Если б ангелы были способны завидовать, то нам должно было бы быть поосторожнее: они унесли бы ее на небо, откуда она пришла. Нет, друзья мои, собирайтесь ко мне в ненастье, разлетайтесь, как птицы в ясный день по белу свету; я буду веселиться издали радостной песнью вашей; ударит опять непогода — и я с радостью отогрею вас.

Горский взял руку старушки; мне кажется, что слеза выкатилась из глаз его, когда он поцеловал ее.

— Как вы ни добры, Наталья Дмитриевна,— сказал он,— а должны участвовать в заговоре нашем.

— Против кого?

— Против доктора. Я не могу простить ему развязку моей повести. Полно ему отговариваться: надобно его заставить что-нибудь рассказать.

— Это совсем не по-христиански, мой любезный Горский.

— Может быть. Мне хочется, чтоб и он помучился над развязкою. Не так ли, Вельский?

— Вы поможете ему, как и он вам,— отвечал поручик.

— Ну что же, Наталия Дмитриевна! Вы из наших?

— Так и быть, ведь я не первая буду рыть яму другу.

В эту минуту послышался голос и походка Ивана Карловича. Он вошел. Наталья Дмитриевна встретила доктора с значительною улыбкою. В глазах ее видно было, что она что-то таит от него. Заставьте добрых притворяться! Где взять им навыку? Они так редко имеют нужды скрываться от людей! Сердце их выигрывает, когда является в полном свете.

Доктор остановился посреди комнаты и, внимательно посмотрев на старого друга своего, прищурил левый глаз и погрозил пальцем:

— Здесь что-то затевается без меня,— сказал он,— но Наталья Дмитриевна в заговоре — и я не боюсь.

— Вот что значит баловать друзей! Бойтесь, сударь, бойтесь. Я против вас, и вы расскажете нам повесть.

— Ну вот, Наталья Дмитриевна! Вы испортили все дело,— закричали мы в один голос.

Бедная старушка смешалась; она подумала, что и в самом деле наделала бед.

— Да что же, друзья мои? Вы сами хотели, чтоб доктор рассказал что-нибудь.

— Почему же нет?— сказал доктор.— И даже прежде чаю, хотите ли? Я сейчас встретил Проновского: он обещал быть сюда, а если хотите подождать его к чаю, я расскажу вам повесть.

— Хотим, хотим!

Доктор придвинул кресла, поставил в уголок, подле камина, палку, сел и, положа одну руку на стол, другою подпер подбородок и посмотрел в потолок, как человек, который припоминает что-то.

— Это было... Любовь Ивановна! Вы работаете.

— Я вас слушаю, Иван Карлович.

— Я начинаю. Это было... увольте меня от заглавия и эпиграфов.

— Боже мой, да рассказывайте.

— Очень хорошо. Это было в 1810 году; я был тогда проездом в Саратове. Не знаю, Наталья Дмитриевна, бывали ли вы в этом городе; наверно, много наслышались и о плодоносных полях, его окружающих, и о степях заволжских, и о киргизах, то там, то сям разбивающих свои походные города, и о бахчах с сочными дынями... Ах, Любовь Ивановна! Вам бы туда! Уж мы с вами покушали бы!

— Вы бы мне не дали, Иван Карлович; сказали бы, что вредно.

— Ничего, немножко можно,— сказал доктор, подмигивая.— В самом деле, это благословенный край и любопытный для всякого новоприезжего. Город выстроен на берегу реки, в лощине, образованной горами, как нарочно отступающими в этом месте от реки полукружием, в виде подковы. Горы, Сокол и Увек, возвышаясь над прочими, стоят как два сторожа у входа в долину со стороны реки, которая, круто обогнув последнюю, величаво течет широким зеркалом к Астрахани. Часто взбирался я на вершину Сокола и любовался городом, раскинутым у подошвы его; прислушивался к шуму этого муравейника, хлопотливо роящегося внизу, между тем как по другую сторону безмолвно возвышался высокий гребень прибрежных холмов, пересекаемый рвами, ущельями, в которых по местам виднелись плодовитые сады, красивые домики, а вдали белелись стены церквей и колоколен. На противоположном берегу рассеян небольшой городок, населенный малороссиянами; далее перелески, пересекаемые светлыми озерами — садками, образованными разливом реки, где деятельный купец бережет жирного осетра и аршинную стерлядь, чтоб зимою попотчевать какого-нибудь строгого постника или лакомку на берегах Невы, в Москве, Риге, Харькове или Вологде; и потом далее кругом все степь, широкая, гладкая степь, приволье и глазам и воображению. Сядьте на холм, прислушивайтесь к плеску волн, бегите взором за струей, когда солнце рядит в золотую броню богатыря реку, или когда вечер ляжет на водах и песня бурлаков раздастся с подплывающего на всех парусах судна, и огни замелькают в рыбачьих челнах, реющих невидимкою по волнам; тогда воля ваша! Я менее всего поэт и по прогрессии, и по природе, может быть, а эта картина разбудит воображение. Поневоле вспомнишь и разгульные ладьи Разина с его бесчисленной удалой шайкой, когда-то нагрянувшей на Саратов, и Пугачева, громившего его с своей вольницей, а вот вам и степь, древний Кипчак, где татарин, властелин русской земли, разбивал свой кочевой намет. Много тяжелых дум, много утешительных дум пробудят эти образы в душе вашей. Вся поэзия русской жизни, как говорите вы, Любовь Ивановна, живет на берегах Волги. Я не русский родом, хотя Россия и мать мне, ребенком лепетал не на русском языке, а сердце бьется при одном имени Волги. С нею сроднили меня и песни, и рассказы, и предания. Люблю Волгу, как что-то святое, родное, милое!

Я должен был по делам прожить несколько времени в Саратове. Дворяне как-то полюбили меня, прибегали к помощи моей, и я нередко даже езжал по деревням их. Это познакомило меня со внутренностию этой по многому замечательной губернии, в которой образованность европейца, досужество сарептского гернгутера и азийская дикость кочевого киргиза сталкиваются так близко. В одно из подобных путешествий встретился я с приятелем моим, человеком, с которым мы росли вместе, учились, проказничали, хотя я был его и постарше; но он был рассудителен не по летам, я смолоду шаловлив не по летам, и таким образом разница становилась незаметна. Он после надел военный мундир, а я, оставя университет, отправился в чужие края для усовершенствования себя, как говорил батюшка, и мы потеряли друг друга из виду. Знакомство наше возобновилось в одну минуту.

По приезде в город мы остановились на одной квартире. Редко, я думаю, можно встретить человека честнейшего, образованнейшего и приятнейшего в дружеской беседе и вместе с тем столько молчаливого в обществе. Он был еще молод, но холоден и никогда не говорил о себе; никогда не замечал я, чтобы взоры женщины произвели малейшее впечатление на душу его, никогда не слыхали, чтоб он принял участие в разговоре, в котором бы худо или хорошо говорили о них, как будто бы женщины не существовали для него. Взоры его были всегда мрачны, разговор отрывист, в словах нередко вырывались негодование или насмешка; по всему было видно, что он пострадал на свою долю и что свет ознакомил его с сердцем человеческим не с хорошей стороны. Но никогда я не слыхал ни жалобы, ни ропота: он принимал зло как неминуемое условие жизни и недостатки и пороки людские как наследственные болезни нравственного мира. Он страдал без ропота, говоря, что жалобы не отвращают тяжелой руки необходимости. С удивлением открывал я в душе его прекраснейшие черты, между тем как он не верил в возможность добра. Он всегда говорил, что человек столько слаб и несовершен, что никогда не может быть добрым вопреки своим наклонностям. «Если я делаю добро, то это потому, что оно приятно мне; если избегаю зла, то потому, что оно противно природе моей»,— говорил он; и часто я спорил с ним, представляя, что он уничтожает, таким образом, свободу человека, нравственное достоинство его, и подкапывает до основания многие верования; он горько улыбался и качал головою. Я знал, что он много делал добра, был ревност-

ным покровителем, хорошим другом, но всегда постоянно уклонялся от всякой благодарности и никогда сам не искал дружбы для себя: сердце его было затворено для всех. «Мне приятно облегчать страдания, а не умножать число неблагодарных»,— говаривал он мне, когда я упрекал его, что он лишает себя наилучшего удовольствия в жизни — слез признательности; о дружбе отчеты его были подобны этому.

Мы жили недалеко от женского монастыря, почти на самом берегу Волги. Один раз, поздно вечером, я сидел за письменным столиком и читал, кажется, последний номер медицинского журнала, как приятель мой вошел ко мне в комнату; я назову его просто Александром. «Надо ехать, Шварц,— сказал он мне,— здесь, верстах в пятнадцати, умирает женщина. Ты ведь не испугаешься бури?» Молния сверкает со всех сторон; я взглянул на него, потом в окно; лицо его было мрачнее тучи, которая висела над городом, и реки, по которой начинали уже ходить беляки.

Я встал, закурил трубку, взял фуражку и молча пошел за ним. Мы сели в крытые дрожки и поехали. Я терпеливо смотрел, как надвигались тучи, и иногда взглядывал на моего товарища, в котором замечал внутреннюю борьбу, никогда еще не виданную на его покойном лице. Мы проезжали полями, перелесками; воздух был душен, но запах скошенного сена и цветов наполнял его ароматами истинно упоительными. Мы оба молчали; один конский топот по каменистой дороге, отдаленный гром и непрестанное «Пошел!» моего товарища прерывали тишину, царствовавшую вокруг нас. Мы миновали деревню Увек, рассеянную у подошвы горы этого же имени; оставили вправо церковь в полугоре, куда набожные собираются на поклонение чудотворной иконе, и остановились у калитки сада, расположенного на самом берегу реки, и густою вишневою аллеею пошли вдоль берега. Река расстилала перед нами темное зеркало, по временам отражающее багровый отблеск молнии; от Астрахани летело судно, и распущенные паруса его белелись в темноте, когда молния, раздирая тучи, осыпала его синеватым блеском. Вершины лип глухо шумели, и река сердилась, начиная вздымать грозные валы. Паруса начинали опадать; судно становилось на якорь, и совершенная темнота облекла окрестности, когда мы подошли к небольшому домику. Право, я восхищался бы этою картиною, если б мог думать о чем-нибудь кроме умирающей женщины. «Я буду ждать тебя здесь»,— сказал мне Александр, прислонясь к дереву, с видом человека,

принявшего твердое намерение, и показал мне дверь. Что было говорить? Я видел, что в душе его была буря, сильнее той, которая готовилась. В небольшой комнатке нижнего жилья я нашел женщину в страданиях невероятных...

Через три часа она разрешилась мальчиком; не знаю, как природа дала ей силы, которых, казалось, давно уже не было в ней. Это был остов человеческий, изнуренный страданием и болезнию.

Я не слыхал, как миновалась гроза; было уже давно светло, когда я вышел. Александр сидел на крыльце, закрыв лицо руками; взор его ожидал моего ответа.

— Она и ребенок живы,— сказал я.

Александр не спрашивал меня более; мы возвратились в город; целое утро я не видал его. В двенадцать часов мне сказали, что готовы лошади. «Ведь ты поедешь»,— сказал мне Александр, входя в комнату и указывая мне на синеющийся Увек. Я благодарил его в душе за доверенность, которую он оказывал мне, почитая излишним малейшую просьбу: это много значило с его стороны.

В течение четырех недель я видал каждый день молодую женщину. Кашель сухой, частый, то постоянный, то периодический, трудность дыхания, непрестанная лихорадка, живой румянец и раздражительность нрава, вместе с другими признаками, ясно показывали мне, что не было надежды спасти ее. Кажется, нравственные страдания, в совокупности с другими причинами, ускорили ход болезни...

Но это была прекрасная женщина. Несмотря на сухость и свинцовую белизну, лицо ее было приятно, черты правильны, взор необыкновенно скромен и все движения тихи. Она была молчалива, и физиономия ее редко выражала какое-нибудь чувство. Казалось, жизнь ее была светлый источник, на берегу которого молчит самый ветерок, чтоб не возмутить его тихой поверхности, и если б иногда краска не разгоралась на щеках ее, можно было бы подумать, что никакое чувство не возмущало еще ее механической жизни. Она говорила со мною единственно о болезни, отвечала отрывисто на вопросы и заботилась единственно о сыне, которого, однако ж, не кормила. Главным беспокойством ее было, чтоб не передать болезни ребенку.

— Бедный мой Саша!— говорила она.— Неужели и он должен будет умереть, как мать его.— И слеза навертывалась на глазах ее, тем более трогательная, что чувство было редким явлением на лице ее.

Вокруг нее было довольство, все показывало достаток; но никогда не мог я убедить ее употреблять в пищу что-нибудь дорогое: она решительно во всем отказывала себе. Я жаловался Александру, и на другой же день, заставши ее за столом, нашел значительную перемену. «Я сердита на вас, доктор,— сказала она мне,— вы нескромны». И этим кончился разговор. Никогда не видал я у нее Александра.

Какие были отношения их? Кто была эта женщина, отчего молчал Александр — все это было для меня тайною, но не оскорбляло меня; потому что я довольно знал Александра, чтоб не приписывать недоверчивости молчания его.

В одно утро я нашел мою больную веселее обыкновенного. Она сказала мне, что чувствует себя гораздо лучше. Увы! Я видел, что это была песнь лебедя. Я сел подле нее и напрасно хотел подавить в себе чувство сострадания. Мне жалко было видеть этот прелестный цветок добычею близкого разрушения.

— Мне сегодня лучше, а вы смотрите на меня невесело, Иван Карлович,— сказала она.

Это начало удивило меня; никогда не слыхал я от нее ничего, кроме вопросов о погоде и сыне.

Я принял веселый вид.

— Не обманывайте меня,— продолжала она,— ведь я знаю, что мне немного осталось жить. Скажите: две, три, четыре недели?

О надежда! Я не дал бы ей и четырех дней.

— Четыре недели?— сказал я.— Да я надеюсь, что вы переживете и меня.

Видно, улыбка моя была, как ее веселость, обманчива.

Она покачала головою. Мы оба замолчали.

— Мне давно хотелось поговорить с вами, доктор,— сказала она, не смотря на меня и вертя в руке гибкую ветку фуксии,— говорил ли с вами обо мне... Александр?— Ей было трудно выговорить это имя.

— Очень мало.

— Я понимаю его!— Грудь ее волновалась, холодный пот выступил на лице. Я взял ее руку.

— Не беспокойтесь,— продолжала она.— Все равно: это не ускорит и не остановит смерти.

— Смерти? К чему тут смерть? Но волнение замедлит выздоровление ваше.

— Видите, Иван Карлович, мне не хотелось бы умереть

без того, чтоб он узнал, по крайней мере, чего стоила мне... неблагодарность.

— Мы поговорим об этом после; право, вам это сделает вред, вам нужно спокойствие.

— Разве вам скучно выслушать меня?— Так много было горестного в этом полуупреке, что я положил шляпу, сел подле нее и предоставил ей волю говорить. Впрочем, бояться было уже нечего.

Она поправила подушку; собралась с духом и начала очень тихо, оживляясь постепенно.

«В гусарском П........... полку были два офицера, которые, несмотря на разницу лет, могли служить образцом дружбы. Старший из них был давно уже вдов. Жена его лишилась жизни, подарив его дочерью. Девочке минуло шесть лет, когда по несчастию он был вовлечен в ссору, имел дуэль и был сослан на Кавказ. Последним словом его при прощанье с другом, когда он прижимал его к груди, покрытой солдатским мундиром, было: «Не отставь дочери моей». Он более не возвращался с Кавказа.

У девочки не было ни родных, ни состояния. Молодой офицер отвез ее к матери, которая приняла ее как дочь. Ее и воспитывали как дочь; развили способности ее, украсили талантами, познаниями, и в пятнадцать лет она слыла красавицею.

В это время приехал в отпуск благодетель ее; он любил ее как сестру, но скоро чувство нежнейшее поселилось в душе его; она сделалась предметом любви пламенной, исключительной.

Но он любил не так, как любят все; до сих пор он чуждался легких связей, не расточал чувства единственно от его избытка и сохранил его во всей полноте и совершенстве, как чувство юноши.

И я была предметом подобной любви!»

Она закрыла лицо руками; но, успокоясь, продолжала:

«Я любила Александра, как только могла любить, но я не понимала его. В любви его было что-то глубокое, таинственное; он смотрел на меня как на божество, окружал меня вниманием, какою-то святостию. Мне тяжела была подобная любовь: она налагала на меня обязанность казаться совершенною. Иногда даже мне казалось, что он мало любит меня: мне хотелось более страсти, более простоты; я не смела предаваться при нем всей живости чувств моих.— Вы улыбаетесь? Ах! Холодная наружность не всегда порукою за холодное сердце: вспомните, что нередко льды покрывают вершины волканов.

Назначен был день свадьбы нашей, и за два дни — о судьба!— за два дни на руках моих скончалась мой ангел-хранитель, мать Александра. Он отвез меня на все время траура к тетке своей.

У нее были три дочери; всегда большое общество, занимались музыкою, пели; любя страстно музыку, я также участвовала в общих веселостях. Голос мой нравился Александру и... не одному Александру.

Надобно вам сказать, что мы жили в деревне, в трех верстах от города, в котором стоял полк Александров. Между посетителями нашими вскоре я отличила одного молодого офицера, который почитался другом его. Он восхищался голосом моим, пел со мною, был весел и не смущал меня превосходством, как Александр... Ах! Он и любил не так, как Александр! Любовь его была пламя, пожар; выражения страстны, увлекательны; он изумлял меня силою страсти, и, прежде чем я успела оказать ему неудовольствие за первое нескромное слово, он выказал уже всю страсть свою; нет! более: он открыл мне, что я любила его, увлек воображение мое, и в день, назначенный для свадьбы, Александр нашел в комнате моей письмо — но меня уже не было.

Мы обвенчались в первом селении; я писала к Александру; просила его простить мне и давала ему чувствовать, что я не думаю, чтоб расторжение союза нашего могло сделать его несчастливым, приписывая намерение его, отдать мне руку свою, более великодушному его желанию сделать меня счастливой, чем любви. О! Как я мало знала его!

Он предложил мне часть имения, назначенного мне матерью его, и вместе с тем говорил, что никогда не увидит меня. Я не хотела взять, но он прислал мне через почту ломбардные билеты; узнав, что он уехал за границу, я решилась сохранить подарок его до возвращения его. О, нет! Мне нужно было прощение его, любовь, а не деньги. Муж мой взялся сохранить их.

Описывать ли вам жизнь нашу, мое счастие, мое блаженство? Муж мой вышел в отставку; мы поселились в Петербурге. Жили не в большом кругу, конечно; но общество наше было приятно и даже слишком многочисленно.

Счастие мое было непродолжительно. Не стану вам говорить, как медленно расходился туман, покрывавший глаза мои. Нелегко разуверить сердце; еще тяжелее отучить его любить: прежде надобно заставить его — презирать.

В одно утро пришли люди и сказали мне, что муж мой посажен под арест, что именье наше будет описано и что я должна оставить квартиру, за которую давно уже не было заплачено. Я полетела к мужу, нашла его печальным, мрачным, но ни следов раскаянья, ни малейшего признака прежней любви. Он судил как игрок; мы были в бедности, в нищете; билеты Александра были проиграны... презрение грозило нам.

Я наняла маленькую комнатку, нуждалась во всем, работала ночи; в один вечер, когда я сидела с ночником за работою, вдруг раздался звонок; я отворила: незнакомый человек, закутанный в шинели, подал мне пакет и скрылся. В пакете было несколько ломбардных билетов на имя неизвестного: это была — милостыня! Кто мог подать ее, кроме Александра? Доктор! Тягость благодеяния облегчает одна любовь. «Прости мне бог!» — так говорит гордость в сердце человека; но Александр! Ты сам населил во мне это чувство! Судьба унизила меня; но оно не умерло. Я не стыдилась благодеяний твоих и незабвенной матери твоей, когда вы любили меня: теперь...»

Слеза скатилась с ресницы больной. Я хотел прервать рассказ ее, но она знаком наложила на меня молчание.

«Я заплатила долги мужа моего; дело его кончилось: его послали в Вологду, под присмотр полиции. Он мало исправился; нужда часто посещала нас, но помощь неизвестного всегда приходила вовремя. Меня убивала не нищета, но необходимость пользоваться этою помощью. Муж мой умер скоропостижно. О! Тогда я вздохнула свободнее. Желая укрыться от благодеяний неизвестного, я тайно оставила Вологду и поселилась в Саратове, будучи уверена, что здесь никто не узнает меня, и надеясь, что при помощи дешевизны проживу моею работою. По приезде сюда я узнала, что была беременна.

Болезнь, страдания и несчастие изнурили силы мои; я слегла в постелю и с радостью видела постепенное разрушение жизни. Я потеряла самое чувство моих бедствий; будущее ограничивалось для меня следующим утром или вечером, от которого я ждала облегчения страдания или конца; смерть казалась мне близкою. Но душевные страдания уступают телесным, и болезнь отделяет нас от всего; я это испытала. Поверите ли? Когда страдания дошли до высшей степени, я стала желать жизни, тогда как недавно еще призывала смерть. Я забыла все, что жизнь имеет горького, и она стала являться мне в прелестном виде. Мне хотелось опять подышать воздухом, опять увидеть зелень

и поля. Мне было жаль природы. О! Кто потерял жизнь в медленном страдании, тот знает цену ее! На пороге смерти я узнала тайну земного счастия; бог дал нам обильный источник благополучия; он в сердце нашем и в красотах природы, а не в свете, где мы ищем счастия, воображая людей ангелами, как будто зло не было условием природы их, как громы и волканы условием органической жизни мира! И между тем, как легко могли бы быть счастливыми независимо от людей, от обстоятельств, в недрах природы и в глубине нашего сердца! Мне казалось, что теперь я умела бы быть счастливою; но жизнь угасала, а я даже не имела возможности искать пособия врача. В это время явился ко мне ангел-женщина; я вам не назову ее: награда ее в добродетели, а не в известности. Она окружила меня довольством, ходила за мною как за сестрою, призвала ко мне врачей, возвратила мне жизнь, пеклась обо мне как о дитяти во время медленного выздоровления моего. Я открыла ей мое сердце и нашла в ней обильный источник утешения. Она довершила начатое болезнию и примирила меня с жизнию. Ясное спокойствие души ее перешло в мою душу. Ах! Истинно доброй есть роза Саади; нельзя не сделаться лучшим в обществе его.

К несчастию, она приезжала в Саратов ненадолго и должна была скоро уехать. Я осталась одна, но не без помощи: она научила меня, как легка благодарность к существу, которое благодетельствует как божество, по свойству природы своей.

Выздоровление мое было медленно; но я оправилась и уже могла выходить и гулять по берегу реки. Однажды прекрасная погода вызвала меня из комнаты; я с упоением наслаждалась красотами природы и восхищалась тем, на что прежде не обращала внимания. Ясный свод неба, луч солнца, теплое дыхание ветерка были уже для меня источниками удовольствия. Несчастие сближает с природою и заставляет дорожить наслаждением. Я жила недалеко от старинной церкви Николая Чудотворца, и любимою прогулкою моею был берег реки. В этот раз я пошла туда же и села на берег: вершина Увека тонула в синеватом тумане, освещенная лучами солнца, и светлое небо гляделось в великолепном зеркале реки. Все было так тихо, так торжественно, так прекрасно! Я устремила взоры к небесам, и спокойствие лилось в грудь мою вместе с теплым воздухом; я не мыслила, а наслаждалась чувством бытия. В это время раздался благовест к вечерне. Кто не знает, как могущественно потрясает душу нашу этот звук,

знакомый с детства, пробуждая в душе воспоминания целой жизни! Мы слыхали его в счастливые и горестные минуты; он сотрясает все струны сердца, на которых разыгрывается поэма его жизни; он пробудил в душе моей давно забытые картины моего детства, образ моей благодетельницы, ее кроткие советы, ее ласки! Как часто слова ее служили для меня приготовлением к молитве, когда при звуке колокола я шла подле нее в церковь, и Александр... Я вспомнила любовь его, счастие, так безрассудно отвергнутое, оскорбление, нанесенное превосходному его сердцу; я плакала, плакала горько! О! Как тяжело чувствовать себя виновною против любимого человека и не иметь возможности загладить вины своей! Знать, что добровольно отвергнули чашу блаженства, которую добрый ангел подавал нам так добродушно, и не иметь возможности остановить возвратный полет его к небесам!..

Я чувствовала нужду в утешении, и звук колокола указывал мне путь к нему. Я вошла в старый собор, находящийся на самом берегу; церковь была пуста, и один голос читал молитвы перед алтарем. Я упала на колени и молилась; но слезы лились на каменный помост храма, не облегчая тоски моей. Ах! Я оплакивала мой потерянный рай! Тот не поймет меня, кто не знал подобного чувства, чья безрассудность не затворяла неба необдуманным поступком. Прошедшее невозвратимо! Слезами вымолишь прощение, а не забвение; раскаянье отворяет небо, но не возвратит потерянной доверенности и не смоет с памяти оскорбление. Александр погиб для меня!

Не знаю, что сделалось со мною; светильники, алтарь, храм — все пропало в глазах моих; мне стало тяжело, и потом все стихло, как будто глубокий сон овладел мною: это было совершенное уничтожение. Когда чувство жизни начало возвращаться, я ощутила на лице прикосновение воздуха; открыла глаза: передо мною было небо в огнях солнечного заката, река, над головою свод. Я была на галерее, окружающей церковь; кто-то поддерживал мне голову; я обернулась: это... но нет... это был призрак моего расстроенного воображения; я опять лишилась чувств.

Возвратясь к жизни, я увидела себя в хорошенькой, совершенно незнакомой мне комнатке; какая-то старушка стояла надо мною; но она упорно отказывалась отвечать на мои вопросы. Я припомнила все, что было со мною: этот призрак — это был Александр; я узнала благородное лицо его; он держал мою голову, и мне показалось, что слеза упала с ресницы его на лицо мое. О! Это был он!

Как описать вам, что я чувствовала? Я хотела бы броситься в объятия его, но меня удерживало воспоминание вины моей. Он не забыл ее! Может быть, сердце его и простило мне, но мы уже не поймем друг друга!

На другое утро я получила от него письмо. Вот оно (доктор вынул письмо из записной книжки и прочел):

«Ужели время и обстоятельства до того изменили сердца наши, что мы совершенно перестали понимать друг друга и, подобно другим, станем приписывать действия и поступки наши причинам, вымышленным нашим неудовольствием? Прочь от нас это обыкновенное средство людей мелочных! Сердцу благородному трудно предполагать что-нибудь недостойное его в существе, которое некогда любило оно. Так, Елена, я понимаю тебя, понимаю причины, по которым ты так упорно убегаешь меня. Ужели ты не поймешь меня, когда я скажу тебе: Елена, я не мог перестать любить тебя; годы проходят, не изменяя сердца моего. Жизнь моя бесцветна и безрадостна; одно, что еще украшает ее несколько, это — надежда быть тебе полезным. Ужели ты захочешь отнять у меня последнее наслаждение? Мне необходимо любить тебя; отдай мне право тебе покровительствовать и позволь... не видать тебя! Прости мне слабость сердца моего!..

Забудем все, что разделяло нас, пускай непроницаемый покров ляжет на наши заблуждения, мечты, надежды и потери. Воспоминания счастливой молодости нашей, образ незабвенной матери, не разделявшей нас в душе своей, наше одиночество в мире — все должно соединять нас. Мы пойдем каждый особенным путем; но он будет не одинок, и когда тоска наляжет на душу, уверенность в сочувствии другого озарит нас светлым лучом. Тихо придем мы к пристани, где, освобожденные от страстей и предрассудков, простим, как ангелы, забвением!

Не забудь, что брат ожидает твоего ответа».

Что было мне делать? Чем могла я заплатить за подобное великодушие?— продолжала молодая женщина.— Я покорилась воле его и предоставила ему попечение о моей участи.

Он нанял мне эту дачу и привез ко мне моего доброго Ивана Карловича,— сказала она едва внятным голосом, но еще с улыбкою и подала мне руку.— Передадите ли вы ему мое желание, последнее желание: видеть его один раз, хотя в минуту смерти? Я весело бы оставила землю, унося с собою его прощение!»

Последние слова совершенно истощили ее силы; она

забылась тихим сном; я взял шляпу и, еще посмотря на ее прекрасное, покойное лицо, на котором играл обманчивый румянец, вышел тихо. Желание ее скоро исполнилось: в тот же вечер она видела Александра, и взор ее угас на лице его.

Доктор остановился; это воспоминание потрясло душу его; он отер слезу и, помолчав несколько, начал совершенно в другом тоне.

Александр взял с собою ребенка, оставшегося после Елены круглым сиротою, без пристанища и состояния. Он занимался сам его воспитанием, учил его и потом поместил в одно из лучших наших учебных заведений.

Несколько времени тому назад я приехал, в необыкновенный мой час, в один дом, где принят как у вас, более как друг, чем доктор. Хозяйка, женщина очень почтенная, богатая, хорошей фамилии, имеет только одну дочь невесту, которая может надеяться лучших женихов. Я вошел в залу; человек сказал мне, что барыня нездорова, и я пошел прямо к ее спальной. Войдя в гостиную, я остановился: молодая девушка, единственная дочка, сидела у фортепьяно, одна рука на клавишах, другая... другою завладел молодой офицер с едва прорезавшимися усиками; он сидел рядом с девушкою,— верно, они разыгрывали концерт в четыре руки,— и лицо его было так близко к розовой щечке ее, что, право, я не побожился бы, что его черные усики не щекотали тонкой кожицы ее личика. Я долго смотрел на них, и они меня не замечали; наконец я подошел к фортепьяно и взял тихонько в обе руки тонкую талию Оленьки, так зовут девушку.

Она вздрогнула и бросилась ко мне на шею. Нечего было делать: пришлось старику выслушивать исповедь их грешных сердец. Они любили, как любил и я, и вы, Наталья Дмитриевна, в старые годы. Но мы напрасно ломали голову: надежды не было ниоткуда. Я рассказал им историю матери Александра; офицер был сын Елены, которая назвала его по имени моего друга; представил им, что он не имеет ничего, кроме надежды на своего благодетеля, что мать Оленьки никогда не согласится на их соединение; хотя, между нами сказать, это совершенно несправедливо. Она сама подала им повод надеяться и была причиною этой взаимной склонности, допустив короткость между молодыми людьми. Сашенька, ребенком, приходил каждое воскресенье из школы, читал с Оленькою Пушкина, Жуковского; бегал с нею по саду, разыгрывал Россини и Обера, пел с нею: «Мне до нее, как до звезды небес-

ной, далеко!» Что же мудреного, что привычка быть вместе сократила расстояние, и он забыл, что до звездочки далеко! Если не хотят, чтоб девушки выбирали сами женихов, не должно давать им случаю к тому; а то сердце не спрашивает: сколько душ, какого чину, какого роду! Часто одна звездочка милее густой бахромы на эполетах. Если б у меня была дочь, я не позволил бы ей видеть ни одной звездочки даже и на небе! А если бы увидел за ее пяльцами поручика с черными усиками, разбирающего ее наперстки, ножницы и тому подобное...

Злой доктор взглянул на Любиньку: она сидела пурпуровая, а артиллерист совсем наклонился к пяльцам, и преступная рука его держала Любинькину иголку... Наталья Дмитриевна заметила движение доктора.

— Что ж бы вы сделали, доктор?

— Что должен бы я сделать, Наталья Дмитриевна?

Любинька и Жуаник упали к ногам ее.

— Как?— вскричала старушка, и глаза ее заблистали. Она встала с своего места и, право, была прекрасна в эту минуту душевного волнения. Сердце мое трепетало, предчувствуя развязку. Наталья Дмитриевна казалась чрезвычайно рассерженною.

Несколько минут она молчала, смотря на нас. Дверь отворилась, и Проновский вошел. Теперь, когда мы узнали в нем благородного Александра, вид его и бледное, задумчивое лицо произвели на нас сильное впечатление. Ужели этот великодушный человек, думала я, должен будет еще страдать в единственном предмете своей привязанности?

Он остановился против Натальи Дмитриевны и молча смотрел на молодых людей. Любинька плакала и умоляла его взором.

Наталья Дмитриевна подошла с торжественным видом к Проновскому и, взяв его руку, сказала с выражением обыкновенной доброты своей: «Довольно, друг мой! Они все наказаны за недоверчивость и заговоры против меня; я позволила себе маленькую комедию; посмотрите на эти слезы: это действие моего мщения».

Она обратилась к доктору:

— И ты, Брут? Цезарь должен был пасть. Старый друг мой! Ужели думали вы, что я допустила бы короткость между молодыми людьми, если б не имела особенных намерений? Я знала Елену прежде, чем вы; я была та приезжая, которой, по доброте своей, она приписывала так много. Я не знала еще вас тогда, но была знакома с Проновским; узнавши его историю от Елены, по приезде моем из Сара-

това я открыла ему ее убежище. Давно уже я решила в уме моем, что Любинька будет за Вельским, но никому не говорила о том: это был мой каприз. Я видела их любовь, их горе, видела и ваши хитрости и притворилась, что вдаюсь в обман. Один Проновский знал мое намерение; я должна была ему открыться, потому что он, заметя склонность Вельского, хотел удалить его. Теперь довольно. Любинька! Вот портрет Елены: подари им жениха твоего!..

ОБ АВТОРЕ «ВЕЧЕРОВ НА КАРПОВКЕ»

Небольшая, изящно изданная книжечка повестей «Вечера на Карповке» появилась в столичных книжных лавках в самом конце 1837 года и почти сразу же была распродана. «Успех неожиданный!» — удивлялись записные рецензенты[1]. Действительно, выход этого анонимно изданного сборника русских повестей явился одним из самых заметных событий литературного года еще и потому, что со смертью Пушкина русская словесность как бы объявила год молчания, и лишь отдельные поэтические голоса нарушали это печальное безмолвие... «Успех необыкновенный и — надо сказать правду — очень и очень не незаслуженный!» — напишет в своей рецензии на вторую часть «Вечеров на Карповке», вышедшую в начале следующего года, скупой на похвалы и весьма строгий даже к маститым авторам Белинский, добавив с удовлетворением: «Теперь едва ли в какой книжной лавке можно найти ее»[2].

Открывая сборник, читатель сразу же окунался в особенную атмосферу петербургской жизни, бродил по улицам столицы, заглядывал в чудесный Ботанический сад, выслушивал нескончаемые жалобы на скверный петербургский климат, наблюдал за пестрой толпой на островах и в парках города. От речки Карповки — дачной местности под Петербургом (куда собираются герои повести, чтобы послушать друг друга) — рукой подать до Черной речки, и, кто знает, не о роковом ли поединке Пушкина с Дантесом вспоминал читатель, пробегая глазами первую же страницу:

«Северная природа в прошлом 1836 году, столько страшном в предсказаниях, как бы сообразуясь с угрозами предвещателей, была скупа на ясные дни. Непрестанные бури, дожди, солнышко ленивое, редко выглядывавшее из-за туманных покровов своих, темные ночи и безвкусные поздние плоды — вот все, однако ж, чем окончились опасения, с которыми многие ожидали его. Впрочем, несмотря на дурное лето, окрестности Петербурга не были пусты; острова, дачи, деревни — все было наполнено переселенцами из столицы, все кипело жизнию и многолюдством, и стук эки-

---

[1] Библиотека для чтения.— 1837.— Т. 29.— Отд. VI.— С. 1; Литературные прибавления к Русскому инвалиду.— 1837.— № 19; 1838.— № 21; Северная пчела.— 1838.— № 94, № 121; Сын отечества.— 1838.— Т. 1.— С. 49.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. II.— С. 566.

пажей не умолкал на Каменноостровском проспекте. Не раз милые обитательницы красивых, полувоздушных дач, просыпаясь утром с различными планами и надеждами в голове и увидя сквозь кисейные завесы окон свинцовое небо и березы, склоняющиеся под усилиями дождя, закутывались снова в одеяла и подушки, браня и климат, и Петербург, и целый свет»[1].

Итак, «петербургские вечера» — вслед за многими другими, ставшими знаменитыми «вечерами»: «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Вечерами на Хопре» Загоскина, «Вечерами на бивуаке» Марлинского и другими сборниками повестей, шутливых, «страшных», «военных» и простонародных, хотя и не объединенных в особые циклы. Но у этого сборника была еще одна особенность — его автором выступила женщина, а изданные ею повести явились первым ее печатным произведением. Как ни сложны были те общественно-культурные условия, в которых пробивало себе дорогу женское литературное творчество, литературный дебют состоялся, в русскую прозу явилась новая талантливая писательница. «Мы прочли «Вечера на Карповке»,— скажет Белинский,— с живейшим удовольствием, с живейшим наслаждением. И они — произведение женщины, но дай бог, чтоб у нас побольше мужчин, которые бы так хорошо писали. Но мы далеки от мысли о снисхождении, которое по праву принадлежит даме: теперь комплименты и в гостиных становятся дурным тоном, а в литературе они решительно пошлы. В умственной деятельности нет ни званий, ни полов; есть сила, а сила эта — талант. Снисхождение обидно, оскорбительно для таланта; в нем нуждается одна бездарность. Поэтому мы ничем не можем выразить автору «Вечеров на Карповке» нашего уважения, как высказавши ему всю правду»[2].

Вот так, «на равных», без малейшей скидки на женское авторское самолюбие, начался творческий путь Марии Семеновны Жуковой, ибо именно эта скромная и ничем не знаменитая «провинциалка» и была создательницей нашумевших повестей.

1

Мария Семеновна Жукова родилась в 1804 г. в Арзамасе (городе, который дал название известному литературному обществу пушкинской поры) в семье уездного стряпчего Семена Семеновича Зевакина. В этом поэтичном, по-своему живописном, хотя и захолустном городке, а также в небольшой деревеньке отца (вблизи Саровской пустыни) прошли детские и юные годы будущей писательницы. Здесь породнилась она навсегда со скромной, неброской

[1] Здесь и далее цитаты из «Вечеров на Карповке» даются по настоящему изданию.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. II.— С. 574.

красотой нижегородского края, впервые познакомилась с маленькими усадьбами соседей, мелкопоместных дворян и запаса этих впечатлений ей хватило на всю жизнь. Они и создали тот удивительный поэтический настрой, с которым писательница всегда описывает родные места. Одной из своих любимых героинь — Наталье Дмитриевне (на даче которой и проходят «Вечера на Карповке») — она отдает эти, дорогие ей воспоминания об Арзамасе и о запомнившихся ей картинах жизни в нем. В повести «Инок», открывающей «Вечера на Карповке», читаем: «Деревня, в которой жили мы, отстояла верстах в двадцати от уездного города; но местоположение его было так высоко, что мне нередко случалось из окон дома нашего любоваться светлыми маковками колоколен, когда, освещенные лучами заходящего солнца, они рисовались белыми призраками на синих тучах, облегавших горизонт. Это был небольшой, хорошенький городок, на высокой горе, омываемой речкою, которая многочисленными изгибами отделяла от него прекрасное село одного из богатейших наших помещиков. Красивая церковь, в которую я часто заходила, чтоб любоваться образом распятия итальянской работы, подаренным церкви отцом нынешнего владетеля, одним из вельмож двора Екатерины Второй, находилась подле самого моста, перекинутого через весь луг с его змеистою, светлою речкою и соединявшего город с селом, которое служило ему как бы предместием. В летние жаркие дни жители находили приятное гулянье в саду, разведенном помещиком, некогда жившим тут и повсюду оставившим следы барской жизни роскошного хозяина. Белые зубчатые стены монастырей с их башнями и каменными кельями, множество также каменных обывательских домов с их темными садами, куполы церквей и светлые шпицы колоколен придавали городу, особенно издали, действительно прекрасный вид; многочисленные же заводы, рассеянные по берегу реки, казались пестрою каймою, окружавшею подошву горы, которая служила ему как бы пьедесталом. Главное население города составляло купечество, деятельное, оборотливое, трудолюбивое, между которым были люди, истинно понимавшие важность и достоинство своего сословия и, несмотря на просвещение, которого цену начинали уже узнавать, не пренебрегавшие патриархальными нравами отцов своих». В круге подобных впечатлений следует искать истоки творчества писательницы. Запавшие с детства в душу поэтические картины природы, наблюдения над патриархальными нравами, услышанные в детстве истории и рассказы о необычных происшествиях в купеческой и дворянской среде формировали наблюдательность и живую восприимчивость как важнейшие свойства «дара» будущей писательницы, опиравшейся в своем творчестве на реально происходившие события или воспоминания о них, сохранившиеся в памяти ее собеседников и лю-

дей ее круга. Арзамасские впечатления положены в основу «Инока»: купеческий быт воссоздается здесь в идиллическом освещении, в ореоле детской еще мечтательности, не прошедшей трезвого анализа зрелых лет. «Инок» создается как бы в предчувствии драм А. Н. Островского, предвещая острые драматические коллизии его пьес: это своего рода романтическая увертюра к ним.

К арзамасским годам относится и пробуждение в Марии таланта художественного, развитие у нее наклонностей к живописи и рисованию. В зрелые годы, по воспоминаниям близко знавших ее лиц, нуждавшаяся в средствах писательница «зарабатывала нередко на жизнь» как художница, выполняя копии со знаменитых портретов. Есть все основания полагать, что свое первоначальное художественное образование она получила именно в Арзамасе, в котором еще в 1812 г. была открыта первая в России провинциальная рисовальная школа. Ее основателем был А. В. Ступин, который воспитал таких учеников, произведения которых, как пишет в ««Иноке» Мария Жукова, «принимаются с похвалою на нашей столичной выставке художеств»[1].

Едва достигши совершеннолетия, М. С. Зевакина вышла замуж за нижегородского помещика Разумника Васильевича Жукова, уездного судью в Арзамасе, человека, внутренне ей чуждого, к тому же не отличавшегося твердостью нравственных правил. Разъехавшись с мужем в 1830 году, М. С. Жукова с маленьким сыном на руках оказалась в стесненных материальных обстоятельствах. Так началась ее самостоятельная жизнь, которую можно считать временем окончательного формирования дарования будущей писательницы, временем вызревания ее творческих замыслов. К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточных данных, чтобы судить о том, как протекал самый процесс становления Жуковой как писательницы, какие встречи, впечатления, знакомства в литературной среде определяли направление ее деятельности. На протяжении 1830—1837 гг. она часто бывает в Петербурге, но достоверных сведений о ее знакомстве с петербургским литературным миром нет. Неизвестны и ее первоначальные литературные опыты. Но одно можно сказать с уверенностью: постоянными учителями Жуковой в «российской словесности», особенно в прозе, были такие великие ее мастера, как Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь. Испытала она и влияние кумира тогдашней молодежи А. Марлинского, но наибольшее воздействие оказал на нее Пушкин. Ко времени создания «Вечеров на Карповке» (буквально пропитанных «духом» пушкинской поэзии, прямыми и скрытыми цитатами из его творений) М. С. Жукова настолько «владеет» профессиональным

---

[1] Коноплева М. С. Мария Семеновна Жукова//Голос минувшего.— 1913.— № 7.— С. 24.

литературным письмом, в частности приемами «белкинского» повествования, что не приходится сомневаться в том, что Пушкин-прозаик (и поэт, разумеется) ею не просто прочитан, но и внимательно, досконально изучен. Ее память вмещает также сотни поэтических строк из Жуковского, Козлова, Вяземского и других современных ей русских поэтов. Чувствуется и прекрасное знание европейской (романтической по преимуществу) литературы — эпиграфы из Шатобриана, Гюго и других поэтов помогают автору «Вечеров на Карповке» ярче и выразительнее донести свой замысел до читателя, увлечь его высказываниями лучших европейских мыслителей. Пытаясь объяснить, почему молодая писательница оказалась в своем творчестве на уровне современной ей литературной образованности, М. Коноплева, автор наиболее обстоятельного биографического очерка о Жуковой, высказывает предположение, что видная роль в этом отношении принадлежала меценатке, княгине С. А. Голицыной (урожд. Корсаковой), видимо, помогавшей небогатой Марии Семеновне восполнить пробелы своего «провинциального» воспитания. Голицыной, между прочим, посвящены «Вечера на Карповке», и это, разумеется, не случайно.

«Родственники М. С. Жуковой,— указывает Коноплева,— подтверждают, что она в Петербурге часто бывала и даже жила в доме Голицыных на Владимирской. По-видимому, это была долгая дружба, уравнявшая неравенство их общественного положения. И если предположить, что она началась с детства, что весьма вероятно, так как Корсаковы — нижегородские помещики и имя это часто мелькает в адрес-календарях одновременно с именами Зевакина и Жукова, то вопрос об образовании М. С. значительно проясняется»[1]. Очевидно, однако, что взаимоотношения Жуковой и Голицыной отличались значительной внутренней противоречивостью,— благодарность за поддержку и помощь сковывала молодую писательницу, вынужденную даже в своем творчестве с большой осторожностью касаться темы благотворительности. Сквозь призму дружелюбия и горячей признательности «благодетельнице» проступает горечь осознанного социального неравенства, и эта тема не случайно становится одной из важнейших в повестях Жуковой. Излюбленная коллизия: жизнь бедной девушки (взятой на воспитание сироты или бедствующей родственницы) в доме богатых аристократов («Медальон»), либо появление в свете прекрасной, но небогатой героини («Провинциалка», «Наденька»), мучительные внутренние переживания, разрушенное личное счастье девушки.

Надо полагать, что богатый петербургский дом и связи кня-

---

[1] Коноплева М. С. Мария Семеновна Жукова//Голос минувшего.— 1913.— № 7.— С. 28.

гини С. А. Голицыной помогли будущей писательнице ближе познакомиться с жизнью, нравами и обычаями великосветского общества, ввели ее в светский петербургский круг, пытливой наблюдательницей которого она выступает в своих многочисленных повестях, высказывая по ходу действия множество тонких и метких критических суждений о светских людях, светской этике, разоблачая их фальшь и пустоту. Трудно сказать с определенностью, указывает М. Коноплева, где провела М. С. Жукова годы после отъезда из Арзамаса. Скорее всего, она перебралась в Петербург (необходимость дать сыну надлежащее образование, видимо, понуждала ее поселиться в столице), но не исключено, что с 1830 по 1837 год она наездами и подолгу жила и в Саратове, куда переехал отец писательницы после замужества дочери. Во всяком случае, «Вечера на Карповке» свидетельствуют о прекрасном знании и Петербурга и Саратова, которому писательница посвящает в повести «Последний вечер» исполненные восхищения строки. Она поселяет в этом городе старого доктора Ивана Карловича и его глазами любовно воспринимает и красоту волжских просторов, и неоглядную ширь раскрывающихся с вершины горы Сокол далей, заслушивается песнями волжских бурлаков. «Сядьте на холм,— приглашает она своего читателя,— прислушайтесь к плеску волн, бегите взором за струей, когда солнце рядит в золотую броню богатыря реку или когда вечер ляжет на водах и песня бурлаков раздастся с подплывающего на всех парусах судна, и огни замелькают в рыбачьих челнах, реющих невидимкою по волнам; тогда воля ваша! <...>эта картина разбудит воображение. Поневоле вспомнишь и разгульные ладьи Разина с его бесчисленной удалой шайкой, когда-то нагрянувшей на Саратов, и Пугачева, громившего его с своей вольницей, а вот вам и степь, древний Кипчак, где татарин, властелин русской земли, разбивал свой кочевой намет. Много тяжелых дум, много утешительных дум пробудят эти образы в душе вашей». В этих словах доктора безусловно звучит голос самой Жуковой, и эта особенная, задушевная, глубоко интимная интонация неизменно сопровождает лирическую партию автора во всех почти произведениях писательницы. В Петербурге она с теплотой вспоминает Арзамас и Саратов, противопоставляя суете и сутолоке столичного существования жизнь простую и вольную, открытую всем «ветрам и бурям». Недаром герои ее повестей, не страшась непогоды и ненастья, спешат, рискуя жизнью, спасать близких и просто попавших в беду людей. Но в обстановке провинциального быта, косного и замкнутого в сферу мелочных и будничных забот, писательнице тоскливо, одиноко, тесно, и, подобно своим любимым героям, она спешит обратно в Петербург, где лучше пишется, где разнообразнее и шире круг деятельности. Однако жительницей столицы М. С. Жукова

не стала: петербургский климат подорвал и без того слабое здоровье писательницы, и в 1838 году она уезжает лечиться на юг Франции и в Италию. Вскоре после ее возвращения из первого заграничного путешествия выходят из печати ее «Повести» (в двух частях), вызвавшие целый поток одобрительных, хотя и не без критических замечаний, рецензий и откликов[1]. И снова, как и при появлении «Вечеров на Карповке», подал свой голос в поддержку новых произведений писательницы Белинский. «Одним из лучших литературных явлений нового года по справедливости должно назвать повести г-жи Жуковой... Русская публика живо еще помнит первые повести г-жи Жуковой, появившиеся в 1837 и 1838 г., в двух частях, под именем «Вечеров на Карповке». И вот теперь у г-жи Жуковой еще набралось две части повестей, из которых две, впрочем, уже прочтены публикою в журналах»[2]. На титульном листе книги стоит полное имя автора: писательница выступает перед читателем не в облике скромной собирательницы «чужих историй», но как полноправная участница литературной жизни своего времени. В том же 1840 году по совету докторов М. С. Жукова снова уезжает за границу, где проводит два года, вдали от родины и сына, который учится в одной из петербургских гимназий. Путешествуя по Италии и Южной Франции, М. С. Жукова не прекращает литературной деятельности. Итогом этой поездки стали «Очерки Южной Франции и Ниццы», вышедшие в 1844 году особой книгой (и снова — в двух частях) и иллюстрированные другом писательницы художником Ф. Берже, автором известного портрета Жуковой, относящегося к середине 1830-х годов. Удивительно тонко передана на этом портрете красота ее духовного облика: доброта, скромность, душевность.

Заграничные путешествия способствовали дальнейшему росту Жуковой как писательницы. В путевых очерках она является не просто внимательной наблюдательницей быта, нравов и картин природы (в них множество живых и талантливо выполненных зарисовок с натуры), но серьезной ценительницей культурной жизни европейских народов. Продолжая лучшие традиции литературы путешествий (начиная с «Писем русского путешественника» Карамзина, путевых зарисовок в заграничных письмах Жуковского, «Путешествия в Арзрум» Пушкина), Жукова предвосхищает в них и новые тенденции русской демократической прозы второй половины XIX века. В сатирических, остро гротесковых тонах пишет она о путешествующей публике; с теплым сочувствием рисует трудовой люд, в частности крестьянок из Оверни, в описании которых неожиданно, казалось бы, сближается с Чернышев-

---

[1] См.: Лит. газ.— 1840.— № 26; 1841.— № 112; Сын отечества.— 1840.— Т. II.— С. 194; Русский вестник.— 1841.— Т. I.— С. 234 и др.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. IV.— С. 111.

ским, писавшим впоследствии в своей докторской диссертации о красоте как сословно-классовом понятии: «Женщины нехороши, и большие чепцы с широкими оборками, которые носят здесь и молодые, и старые, и девушки, и замужние, очень их старообразят. Они свежи, румяны, здоровы,— но это уже не Арлезианки! <...> Нет! Здесь маленькие глазки часто тонут под толстыми веками, широкая спина и смелые ухватки рабочей женщины, привыкшей к трудам, не пробуждают в воображении никакого образа древних богинь Олимпа. О! совсем никакого! Но эти женщины так свободно, так ребячески смеются! так ласковы, так добродушны и таким славным молоком потчуют по деревням!.. везде есть вознаграждения»[1].

Книга путевых очерков М. С. Жуковой для русской публики стала живо написанным и обстоятельным «путеводителем» по историческим местам и памятникам юга Европы, описанием богатых сокровищниц европейского искусства. Сохраняет эта книга немалый интерес и для сегодняшнего читателя. В подробных описаниях достопримечательностей Авиньона, Ниццы, Гренобля содержится ценнейший познавательный материал. Многое из того, что успела увидеть Жукова, кануло в прошлое, и ее книга является, таким образом, одним из источников воссоздающих исторический облик этих мест.

Выход из печати этой книги снова приветствовал Белинский, назвавший очерки лучшим из всего, что «написано в этом роде после «Писем русского путешественника». Вместе с тем Белинский указал, что в путевых очерках Жуковой «нет современной исторической картины», «не говорится о предметах общественных». Упрек справедливый, ибо автор «Очерков» почти не коснулся в своей книге злободневных политических проблем, острых классовых противоречий современного мира, что, вполне естественно, в первую очередь интересовало критика-демократа. Впрочем, подобные проблемы и ранее часто оставались вне сферы интересов Жуковой. Ее привлекало общение с кругом сугубо частных лиц, весьма далеких от политики. И это не могло не сказываться на содержании ее очерков.

Вернувшись из-за границы, писательница подолгу живет в Саратове, где у нее завязываются теснейшие связи с местной, демократически настроенной интеллигенцией,— с семьей Фадеевых, Н. И. Костомаровым, а также с И. Палимпсестовым, назвавшим позднее М. С. Жукову «женщиной необыкновенной теплоты сердца, светлого ума, с увлекательным даром слова»[2]. Продолжает она

---

[1] Жукова М. С. Очерки Южной Франции и Ниццы.— Ч. II.— Спб., 1844, с. 247.

[2] Палимпсестов И. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове// Русское обозрение.— 1895.— № 7.— С. 159.

появляться и жить в Петербурге, где ее сын уже поступил в университет и куда призывают ее литературные занятия и труды. В поздних повестях Жуковой («Две сестры», 1843; «Дача на петергофской дороге», 1845; «Эпизод из жизни деревенской дамы», 1847 и др.) больше мастерства, профессиональной выучки; они тщательнее отделаны для печати, чем «Вечера на Карповке». Их охотно печатает лучший из петербургских журналов «Отечественные записки». Ее творчество 40-х годов привлекает внимание Тургенева и молодого Толстого; последнюю из прижизненных повестей, «Наденьку», напечатал уже «Современник», что свидетельствовало о признании Жуковой новым поколением русских писателей, поколением революционной демократии. И несмотря на все это, именно «Вечера на Карповке» — первая книга писательницы — осталась в ее творческом наследии лучшей книгой. В ней выпукло и самобытно выразились новые тенденции в развитии русской прозы 30-х годов и индивидуальные свойства М. Жуковой как рассказчицы, по преимуществу, а главное, эта книга сконцентрировала основные идеи, сюжетные ситуации и эстетические принципы творчества писательницы в целом. С годами дарование Жуковой совершенствовалось, возрастало литературное мастерство, расширялся эстетический кругозор, но творческое ее развитие протекало в тех рамках, которые были определены ее первой книгой. Поздние повести — лишь на разные лады варьируют, углубляют и совершенствуют мотивы, образы, сюжетные ситуации «Вечеров», полнее, глубже и совершеннее реализуют заключенный в них творческий потенциал, не внося существенно новых элементов в ее творчество. На фоне больших достижений русской прозы 40-х и в особенности 50-х годов повести М. С. Жуковой воспринимаются как явления второго ряда, хотя и продолжают пользоваться значительным читательским спросом. Глубже и точнее всех определил характер ее дарования Белинский, причислив ее произведения к области беллетристики, имеющей, по мнению критика, все права гражданства в литературе и играющей важную роль в развитии нравственного и эстетического чувства в русском читателе, и подчеркнув национальное начало, пронизывающее ее повести из русской жизни.

2

«Вечера на Карповке» — произведение с продуманной и целостной художественной структурой. Даже в самом расположении материала выдержан принцип строгой симметрии: две книги сборника включают по три повести каждая. Подобное построение подчеркивает значимость целого и взаимосвязь составляющих его частей. Перед нами цикл в обычном для того времени понимании,

когда каждая повесть имеет сюжетную самостоятельность и одновременно включается в более широкий художественный контекст. М. Жукова, следуя общей тенденции прозы 30-х гг. к циклизации, организует и самый контекст по законам сюжетного повествования.

На вечера к почтенной старушке Наталье Дмитриевне собираются ее знакомые, которые, коротая время, рассказывают или читают друг другу повести. Благодаря тому, что рассказчики эти — не условные маски, а живые персонажи, наделенные не только индивидуализированным внешним обликом, но и особой биографией, сцепление их характеров, влечений, личных судеб становится завязкой нового сюжетного повествования («петербургской повести»). Личность каждого из рассказчиков сообщает его повести особый эмоциональный настрой, проявляет себя в самом выборе сюжетов и тем: чувствительная Наталья Дмитриевна рассказывает о трагическом происшествии в купеческой семье («Инок»), скептически настроенный Проновский — светскую повесть «Барон Рейхман», восторженный Горский — две самые романтичные повести («Медальон» и «Провинциалка»), юный Вельский — историческую повесть «Немая, или Записки отшельника», рассудительный доктор — последнюю из повестей («Последний вечер»). Следуя «духу времени», сама М. Жукова уклоняется от прямого авторства, выдавая себя за собирательницу и издателя этих повестей: «Я не переменила в них ни одного слова и выдаю так, как они были написаны для больной старушки». (Ср. с пушкинским предисловием «От издателя» в «Повестях Белкина»: «Они (т. е. повести), как сказывал Иван Петрович большей частию справедливы и слышаны им от разных особ». Далее следует перечень этих особ (скрытых инициалами) — титулярный советник А. Г. Н., подполковник И. Л. П., приказчик Б. В., девица К. И. Т.).

М. Жукова, вслед за Пушкиным, использует разные формы выражения, разные воплощения авторского «я», в то же время ее герои оказываются связанными между собой личными, дружескими, даже родственными отношениями. В конце повествования выясняется, что юный Вельский — воспитанник Проновского, который, в свою очередь, выступает одним из героев повести «Последний вечер» (под именем Александра).

«Реальность» и «литература» постоянно соотносятся в книге М. Жуковой. Действительность питает литературу, предлагает ей свои сюжеты (их множество в окружающей жизни, нужно только уметь увидеть и разглядеть их— считает писательница), но и литература — в свою очередь — дает уроки самой жизни, насыщает ее человечностью, духовностью, высокой нравственностью. Именно в этом состоит смысл «счастливого финала книги», противостоящего трагическим развязкам повестей рассказанных. Участники

дружеских встреч и, в первую очередь, хозяйка дачи на Карповке, помогли соединиться Вельскому и Любиньке, устранив по своей доброй воле все возникающие на их пути препятствия (бедность, зависимость и многое другое, через что так и не смогли переступить герои повестей). «Действительность» Марии Жуковой оказалась добрее ее «литературы», и в этом, может быть, нагляднее всего проявились романтические иллюзии писательницы, обратившейся в своем творчестве к миру жизни реальной, но еще не преодолевшей до конца инерции романтизма.

Реальность и вымысел, проза жизни и ее поэзия, действительность и ее художественный эквивалент — литература, причудливо переплетаясь, живут на страницах «Вечеров на Карповке» в картинах природы и в шуме столичного города, в монастырском уединении и на блестящем светском рауте. Писательница искренне верит в то, что любой из ее читателей может сам обратиться к литературному творчеству, ибо материал для него дает сама жизнь. В предисловии к книге она решительно отстаивает право современного художника на новые формы литературного творчества. «Я уверена, что каждый из нас, если только захочет порыться в памяти,— заявляет она,— то найдет в ней многое слышанное, виденное; происшествия, в которых был сам действующим лицом или зрителем — словом, что-нибудь, могущее приятно занять праздную лень полубольного или досуг деревенского жителя». Художественные несовершенства такого рода повествований М. Жукова считает понятными и извинительными: «Если всякий захочет, чтоб первое сочинение его было образцовым, то писателей будет немного. Ломоносов начал, подражая Тредьяковскому, Богданович — мадригалами и поэмою «Сугубое блаженство», теперь забытою; творец «Российской истории» — «Бедною Лизою». Нельзя надеяться первым опытом поставить имя свое наряду с именами знаменитых талантов. Пусть ищут, труд пролагает дорогу к цели». Здесь формулируется новое понимание задач литературы, эстетически закрепившее опыт русской прозы конца 1820-х— 1830-х гг.

Поэт, писатель, художник — творец, согласно эстетическим теориям романтиков, выражает в своем творчестве идеальные стремления человечества. М. Жукова, оставляя в стороне высшее назначение искусства, говорит о возможности творчества на основе личного наблюдения в узкой сфере, связанной с жизнью автора, но это еще не реализм, это подступы к нему со стороны романтизма, это осознание значения реальных жизненных впечатлений для творчества, но еще не сама действительность во всех ее противоречиях и острых контрастах. Это жизнь, увиденная сквозь призму литературы глазами ее великих творцов и авторов второстепенных, но популярных в 30-е годы. Это жизнь, выстроенная по

по Пушкину и Гоголю, то по канонам самого крайнего «марлинизма». В повести «Провинциалка» писательница, следуя урокам пушкинского «романа в стихах», избирает своей героиней «уездную» барышню Катеньку. Она наделяет ее биографией пушкинской Татьяны (вплоть до мужа — генерала, участника Отечественной войны 1812 года), но романтизирует внешний облик героини и драматизирует ее судьбу, усложняет интригу, вводит несколько новых сюжетных линий. Не ограничиваясь подражанием Пушкину, М. Жукова вводит в повесть соперницу героини — итальянку Лаурету, любовницу героя (графа Мстислава С...). История отношений графа с юной итальянкой затрагивает острую в социальном отношении проблему судьбы женщины, оказавшейся за пределами общества и преступившей в своем чувстве рамки дозволенного (Лаурета не только любовница графа, но и мать его маленького сына). И в этом случае М. Жукова вводит еще новую для русской прозы сюжетную коллизию, правда уже получившую свое воплощение в «Невском проспекте» Гоголя, а позднее отразившуюся в романах Достоевского, стихах Некрасова (например, в «Еду ли ночью...» и др.). Однако ставит эту проблему писательница пока еще робко, пишет о трагической судьбе «жертвы общества» с явной оглядкой на «приличия», романтизирует ее внешний облик, вносит в драму, переживаемую героями, элемент мелодраматизма. Избегая резких слов осуждения в адрес общества, писательница расценивает драму своей героини как общечеловеческую, объясняя трагический финал этих отношений не столько социальными преградами, сколько роковым стечением обстоятельств.

Женская тема далеко не случайно становится центральной в творчестве М. Жуковой. Этому способствовала и особая природа таланта писательницы, исходившей в своем творчестве из личного опыта, живых впечатлений и восприятия литературных традиций по преимуществу в ракурсе интересовавших ее нравственно-психологических проблем, и свойственное ей умение уловить в общественной атмосфере подспудные настроения, новые живые веяния. Именно в пушкинскую эпоху уходит своими корнями движение в защиту прав и положения женщины, и Пушкин одним из первых в «Рославлеве», а затем и в незавершенном «Романе в письмах» обратился к проблеме женской эмансипации. Полина из «Рославлева» произносит гневную тираду в защиту своего права жить полноценной жизнью всего образованного общества, отказываясь «...вышивать по канве собачек». Уважение к мнениям и убеждениям мыслящей женщины звучит и в пушкинском «Отрывке» (1830), герой которого обретает себя в узком кругу истинных ценителей искусства и образованных женщин. Ратуя за широту умственного кругозора женщины. Пушкин еще не ставил

(да и не мог ставить!) вопроса об изменении ее общественного положения, однако эпоха 30-х гг. подводила литературу и к этой проблеме, и характерно, что наиболее веские, наиболее громкие голоса в защиту женской эмансипации раздались из среды женщин-литераторов. Поэтесса, писательница уже на рубеже 20—30-х годов стала заметной фигурой в русском обществе (А. Готовцева, Е. Тимашева, С. и Н. Тепловы, Е. Кульман, С. Толстая). Однако постепенно на смену салонным поэтессам, «гениальным натурам», изумлявшим современников своими исключительными дарованиями («русским Коринпам, русским мадам де Сталь») приходит скромная фигура женщины-литератора, посвятившей свою жизнь профессиональному творчеству (Е. Ган, Н. Дурова, Е. Ростопчина). В этом ряду Марии Жуковой принадлежит одно из первых мест. Ей вместе с другими талантливыми ее современницами приходилось отстаивать право на профессиональную литературную работу, преодолевать высокомерие и даже грубые насмешки над приверженностью к далеко не женскому роду деятельности. Журнал «Русский вестник» отвращал женщину от «желания сравняться с мужчиной» и угрожал ей лишением нынешних преимуществ, выражавшихся в формах внешней почтительности. Автор особого памфлета «Женщина-литератор» Рахманный (Веревкин) пугал женщин участью своей героини, в характере которой из-за приверженности к писательству постепенно атрофировались все женские качества и добродетели (мягкость, деликатность, любовь к сыну, забота о муже); даже красота ее поблекла. И в это же время за выход женского творчества на арену большой литературы ратовал Белинский, он же высоко оценил творчество Марии Жуковой, ее способность подметить и схватить «такие тонкие черты, такие невидимые оттенки в характере и положении женщины», «которых мужчина никогда не подметит». Белинский отказался применить к ее произведениям особенные, заниженные эстетические критерии, разъяснял читателям смысл и содержание ее выступления в защиту бесправного положения женщины не только в литературе, но и в области общественных, семейных и личных отношений.

Сложившаяся традиция и бытовой уклад русской жизни лишали женщину права распоряжаться своей участью, самой устанавливать свое семейное положение — такова социальная подоплека многих, на первый взгляд, сугубо романтических коллизий повестей М. Жуковой. Ее героини глубоко несчастливы в личном плане, они жертвы разного рода нравственных компромиссов и сделок, недопустимых, как считает писательница, в тонкой сфере чувства, где дружеская привязанность, верность долгу и благодарность не заменяют любви. Подобная жертва оставляет ее героинь глубоко несчастливыми. Но писательница не решается на

открытый протест, ее героини идут в своем чувстве чаще всего лишь до определенной черты, дозволенной «светскими приличиями». В повести «Барон Рейхман» герои прекрасно осознают возможность выхода из своего положения. Наталья Васильевна предлагает Левину разрыв со «светом», зовет его уехать с нею за границу, уйдя в отставку. Но она не свободна: Наталья Васильевна — жена, мать ребенка, о котором Левин несколько раз напоминает ей во время решительного объяснения. Перед нами — ситуация будущего романа Толстого «Анна Каренина», но в разрешении наметившегося конфликта и проявилась слабость писательницы. Заблуждающейся героине противостоит добродетельный барон Рейхман (человек прекрасной биографии, герой войны, уважаемый своими подчиненными генерал), готовый простить жене ее заблуждения. Будучи не в силах опозорить благородного барона, Левин отказывается от своей любви. Семья барона Рейхмана сохраняется, а любящие оказываются навеки разлученными. Для романтической повести подобная ситуация была источником глубокого внутреннего трагизма героев. В «Бароне Рейхмане» писательница вплотную подходит к такому решению проблемы взаимодействия личности со средой, которое вскоре предложит реалистическая повесть. Герои Жуковой не только полностью подчиняются обстоятельствам, но по существу обретают себя в условиях среды, примиряются с нею: баронесса возвращается к мужу; Левин женится на Езерской; в эпилоге нет и намека на внутренние мучения героев.

М. Жукова — и в этом состоит еще одна, характернейшая особенность ее творческого облика — предпочитает темы современные, остро злободневные, откликаясь на запросы своей эпохи. Из ее сборника, например, полностью исчезает фантастическая повесть (волна увлечения которой схлынула к концу 1830-х гг.). Историческая тема явно оттесняется на второй план, хотя М. Жуковой не чужд исторический жанр. Повесть «Немая, или Записки отшельника» занимательно написана (в ней широко использованы введенные в русскую прозу Пушкиным приемы и принципы «вальтерскоттовского» исторического повествования), однако, по верному замечанию Белинского, писательнице не хватает духа подлинности, умения вжиться в прошлое, понять неповторимое своеобразие психологического склада людей иной исторической эпохи. Вместе с тем строгий приговор критика кажется не во всем справедливым: выбор темы (сложный период династической борьбы за русский престол в преддверии царствования Елизаветы Петровны), занимательность интриги, живая наблюдательность не могут не привлечь и нашего читателя, заинтересовать его увлекательно описанными приключениями вымышленных героев, страстных приверженцев великого Петра. И все же в центре внимания авто-

ра «Вечеров на Карповке» — жизнь современная, героями ее повестей становятся русские дворяне пушкинской поры, хотя писательница не ограничивается изображением только этого социального типа, а описывает людей иных сословий — купцов («Инок») и даже разночинцев (доктор Вельский в «Медальоне»); впрочем, герои эти оказываются на периферии ее творчества и не определяют главного в нем.

Повести, вошедшие в первый сборник М. Жуковой, как мы могли убедиться, отражают борьбу противоречивых тенденций творчества писательницы, романтического в своей основе, но делающего шаги навстречу реализму. Таков в самых общих чертах творческий итог литературного дебюта М. Жуковой.

«Мы не скажем,— заметил критик,— чтобы повести г-жи Жуковой, герои которых не русские, а место действия не Россия, были не только не хороши, но и не прекрасны; однако ж нам больше нравятся те из повестей г-жи Жуковой, герои которых русские, а место действия Россия: в них талант ее свободнее, больше у себя дома»[1]. Русские впечатления, живые типы современных ей русских людей дают содержание и краски всему творчеству М. Жуковой.

В способности подметить, уловить, выразить (пусть еще несовершенно и робко) то, что обозначилось в самой действительности, но еще не стало общим художественным достоянием, М. Жукова — при всей скромности своих литературных заслуг — выступает одной из предшественниц великих русских реалистов XIX века.

Р. Иезуитова

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— Т. IV.— С. 117.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Жукова М. С.

Ж86 Вечера на Карповке/Сост. и послесл. Р. В. Иезуитовой.— М.: Сов. Россия, 1986.— 288 с.

Мария Семеновна Жукова (1804—1855) вошла в русскую литературу циклом повестей «Вечера на Карповке», получившим широкое читательское признание и заслужившим сочувственный отзыв современной критики, в первую очередь Белинского. Исполненные тонкого психологизма, написанные увлекательно и живо, повести М. Жуковой обозначили новые тенденции в развитии русской прозы 30—40-х годов, вызревание в рамках условно-романтического сюжета элементов реалистического отображения жизни, что получило художественное воплощение в поздних произведениях писательницы.

Р1

Ж $\frac{4702010100-261}{М-105(03)86}$ 91—86

Мария Семеновна Жукова

ВЕЧЕРА НА КАРПОВКЕ

Редактор
Т. М. Мугуев
Художественный редактор
Г. В. Шотина
Технические редакторы
Т. С. Маринина, Л. А. Фирсова
Корректор
Т. Б. Лысенко

ИБ № 4397
Сдано в набор 16.09.86. Подп. в печать 18.11.86. А02476. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,54. Уч.-изд. л. 16,31. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 1—150 000 экз.) Заказ 1313. Цена 1 р. 50 к. Изд. инд. ЛХ-61.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

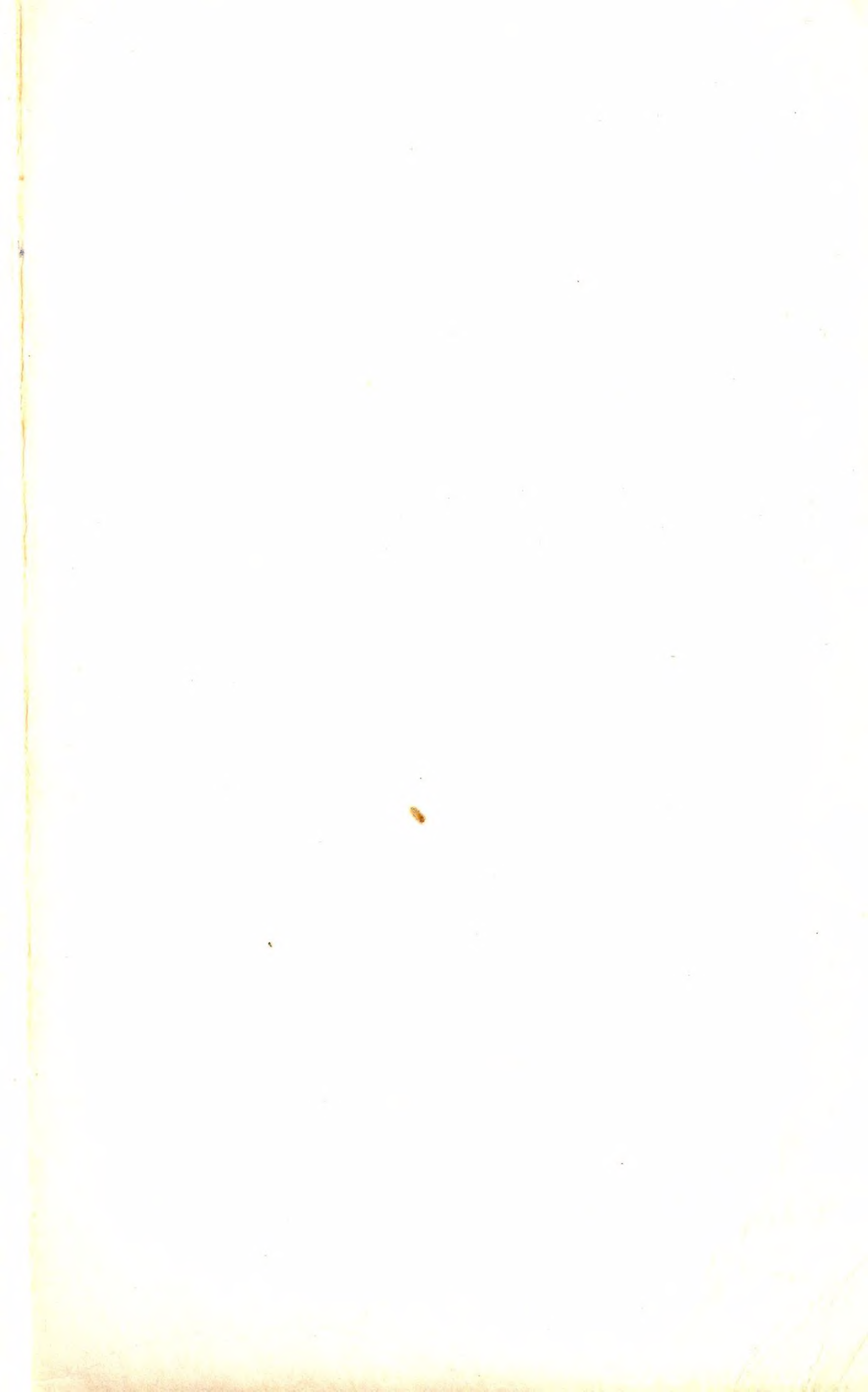
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:

Ломоносов М. В. **Избранная проза.**

Высокое искусство слова великого русского патриота, поэта и ученого нашло отражение в прозаических произведениях, среди которых и научные труды, и письма, и служебные документы (рапорты, представления).

Со страниц книги перед читателем раскрывается образ гениального сына русского народа, страстного патриота и подвижника.



1 р. 50 к.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ


М. С. ЖУКОВА
ВЕЧЕРА НА КАРПОВКЕ